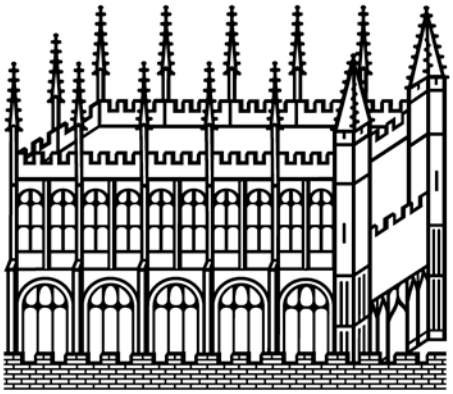


Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

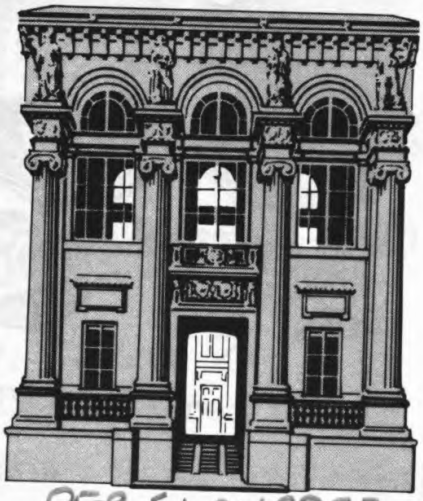
This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

TAYLOR
INSTITUTION
LIBRARY



REP. SLAV 2983
ST. GILES · OXFORD
PG3337. H4. A1. 1875 (2)

302577068

29 JAN 1959

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ II

Сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА (Искандера)

ДНЕВНИКЪ. — ДИЛЕТТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКѢ. БУДДИЗМЪ ВЪ НАУКѢ. Женева 1875.

СБОРНИКЪ ПОСМЕРТНЫХЪ СТАТЕЙ. 2-ое изд. Женева, 1874.

БЫЛОЕ И ДУМЫ. 4 тома. Лондонъ и Женева. 1861—1867.

ЕЩЕ РАЗЪ. (Сборникъ статей.) Женева, 1866.

КРЕЩЕНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Третье изданіе. Лондонъ, 1858.

КТО ВИНОВАТЪ? Романъ въ двухъ частяхъ. Лондонское изданіе.

ПИСЬМА ИЗЪ ФРАНЦІИ И ИТАЛІИ. (1847—52.) Съ портретомъ автора. Лондонъ, 1858.

ПРЕРВАННЫЕ РАЗСКАЗЫ. (Съ портрет. автора.) Лондонъ, 1857.

РУССКІЙ НАРОДЪ И СОЦІАЛИЗМЪ. Письмо къ И. Мишле. (Переводъ съ французскаго.)

СТАРЫЙ МІРЪ И РОССІЯ. Письма къ В. Линтону. (Переводъ съ французскаго.) Лондонъ, 1858.

СЪ ТОГО БЕРЕГА. Лондонъ, 1858.

ТЮРЬМА И ССЫЛКА. (Съ портретомъ автора.) Лондонъ, 1858.

ФРАНЦІЯ ИЛИ АНГЛІЯ? (Переводъ съ французскаго.) Лондонъ.

CAMICIA ROSSA. La chemise rouge, Garibaldi à Londres, (en français) Bruxelles, 1865.

DE L'AUTRE RIVE, (en français). Genève, 1871.

DU DEVELOPPEMENT DES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES EN RUSSIE. Londres. 1853.

LA CONSPIRATION RUSSE DE 1825, suivie d'une Lettre sur l'émancipation des paysans en Russie. Londres, 1858.

LA FRANCE OU L'ANGLETERRE? Variations russes sur le thème de l'attentat du 14 Janvier 1858. Londres, 1858.

FRANCE OR ENGLAND? London, 1858.

LA MAZOURKA. Un article du *Kolokol*, dédié avec profonde sympathie et respect à Edgar Quinet, (en français). Genève, 1869.

LE PEUPLE RUSSE ET LE SOCIALISME. Lettre à M. Michelet.

LES MÉMOIRES. Les volumes 1 à 3. Paris, 1860—62.

LETTRE adressée à l'empereur de Russie. Genève, 1866.

LETTRES SUR LA FRANCE ET L'ITALIE. Genève, 1871.

NOUVELLE PHASE DE LA LITTERATURE RUSSE. Bruxelles, 1868.

Соч. А. И. Герцена въ сотрудничествѣ съ Н. П. Огаревымъ и др.

ЗА ПЯТЬ ЛѢТЪ. (1855—60). Соціальныя и политическія статьи Искандера и Н. Огарева. Лондонъ, 1860—61.

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА. (1857—1869.) Лондонъ и Женева.

КОЛОКОЛЪ. 1857—68. Лондовъ и Женева.

ŒUVRES D'ALEXANDRE HERZEN

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ II

Гоффманнъ.— Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской Публичной Библіотеки.— Письма объ изученіи природы.— Разсказы о временахъ меровингскихъ.— По поводу одной драмы.

RUSSIAN SEMINARY
CANCELLED
304
LIBRARY

GENÈVE — BALE — LYON
H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR
GENÈVE. — IMP. RUSSE, CHEMIN DE LA CLUSE, 12

1876

Tous droits réservés.

Издатели напоминаютъ, что, имѣя полное право собственности на сочиненія покойнаго А. И. ГЕРЦЕНА, они будутъ преслѣдовать, на основаніи существующихъ законовъ и трактатовъ, всякія перепечатыванія сочиненій, вошедшихъ или имѣющихъ войти въ настоящее „Полное Собраніе.“

TAYLOR INSTITUTION
UNIVERSITY
19 FEB 1998
OF OXFORD
LIBRARY

РАННІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ

(1834—1840)

ЗНАМЕНИТЫЕ СОВРЕМЕННИКИ*)

ГОФФМАННЪ

Родился 24 января 1776.
Умеръ 25 іюня 1822.

(Н. П. О—у.)

I.

. . . . Die Künſtler und die Räuber, das
Iſt eine Art der Leuten. Beide meiden
Den breiten ſtaubigen Weg des Alltagslebens;
Oehlenſchläger. CORREGGIO.

Всякой Божій день являлся поздно вечеромъ какой-то человѣкъ въ одинъ винный погребъ въ Берлинѣ; пилъ одну бутылку за другой и сидѣлъ до разсвѣта. Но не воображайте обыкновеннаго пьяницу; нѣтъ! чѣмъ болѣе онъ пилъ, тѣмъ выше парила его фантазія, тѣмъ ярче, тѣмъ пламеннѣе изливался юморъ на все окружающее, тѣмъ обильнѣе вспыхивали остроты. Его странности, постоянство посѣщеній, его литературная и музыкальная слава привлекали цѣлый кругъ обожателей

*) *Телескопъ* XXXIII

въ питейный домъ, и когда иностранецъ пріѣжалъ въ Берлинъ, его вели къ Люттеру и Вегнеру, показывали непремѣннаго члена, и говорили: вотъ нашъ сумасбродный Гоффманнъ. Посмотримъ на эту жизнь, оканчивающуюся питейнымъ домомъ. Жизнь сочинителя есть драгоцѣнный комментарій къ его сочиненіямъ, но не жизнь германскаго автора: для нихъ злой Гейне выдумалъ алгебраическую формулу: „родился отъ бѣдныхъ родителей, учился теологіи, но почувствовалъ другое призваніе, тщательно занимался древними языками, писалъ, былъ бѣденъ, жилъ уроками и передъ смертью получилъ мѣсто въ такой-то гимназіи или въ такомъ-то университетѣ.“ Но „есть люди, подобные деньгамъ, на которыхъ чеканится одно и тоже изображеніе; другіе похожи на медали выбиваемыя для частнаго случая“; *) и къ послѣднимъ-то принадлежалъ сказавшій эти слова Гоффманнъ. Его жизнь нисколько не была похожа на прозябеніе, она самая странная, самая разнообразная изъ всѣхъ его повѣстей; или лучше въ ней-то зародышъ всѣхъ его фантастическихъ сочиненій.

Одиноко воспитывался Гоффманнъ въ чинномъ, чопорномъ домѣ своего дяди. Странное вліяніе на душу младенческую дѣлаетъ одиночество; оно навсегда кладетъ зародышъ какой-то робости и самонадѣянности, дикости и любви, а болѣе всего мечтательности. Посмотрите на такого ребенка: блѣдный, тонкій, едва живой, онъ такъ похожъ на растеніе выросшее въ парникѣ, такъ нѣжно, такъ застѣнчиво, такъ близко жмется къ отцу, такъ краснѣетъ отъ каждаго слова и при каждомъ словѣ такъ сосредоточенъ самъ въ себѣ, что если онъ только не лишенъ способностей, то изъ него необходимо

* Hoffmann's Lebensansichten des Kater Murr.

выйдетъ человѣкъ, непринадлежащій толпѣ; ибо онъ не въ ней воспитанъ ибо онъ не былъ въ передѣлѣ у толпы какого-нибудь пансіона, которая бы научила его завидовать чужимъ успѣхамъ, унизила бы его чувства, развратила бы его воображеніе. Вотъ такое-то дитя былъ Гоффманнъ.*) Главная отличительная черта подобнымъ образомъ воспитанныхъ дѣтей состоитъ въ томъ, что они, будучи окружены взрослыми людьми, рано зрѣютъ чувствами и умомъ, для того чтобъ никогда не созрѣть вполнѣ; теряютъ прежде времени почти все дѣтское, для того чтобъ послѣ на всю жизнь остаться дѣтьми. Ребенокъ Гоффманнъ, большой человѣкъ, мечтатель, страстный другъ Гиппеля и рѣшительный музыкантъ; но онъ скверно учится, и это слѣдствіе воспитанія, въ которомъ человѣкъ долженъ развиваться самъ изъ себя: надо непремѣнно побывать въ публичномъ заведеніи, чтобъ получить утиную способность пожирать равнымъ образомъ десять разныхъ наукъ, не любя ни которой, изъ одного благороднаго соревнованія. Гоффманнъ находилъ скучнымъ Цицерона и не читалъ его; призваніе его было чисто художническое; не форумъ, консерваторія была ему нужна. Въ томъ же домѣ, гдѣ воспитывался Гоффманнъ, жила сумасшедшая женщина, пророчившая въ изступленіи высокую судьбу своему сыну, Захаріи Вернеру! Какія странныя впечатлѣнія должна была она сдѣлать на младенческую душу сосѣда!

Гоффманна юношу отправили въ университетъ um die Rechte zu ſtudiren, назначая его на юридическое поприще. Но для него тягостенъ университетъ съ своими Пандектами и Брандербургскимъ Правомъ, съ своей латинью

*) И онъ очень хорошо зналъ огромное вліяніе своего воспитанія между четырьмя стѣнами, какъ видно изъ писемъ его къ Гиппелю.

и профессорами; его пламенная душа начинаетъ развиваться, его фантазія жаждетъ восторговъ, жизни; а что̀ можетъ быть наиболѣе удалено отъ всего фантастическаго, всего живаго, какъ не школьныя занятія!

Da wird der Geiſt noch wohl dreſſirt,
In Spaniſche Stiefeln eingeſchnürt*.

Онъ становится мраченъ, ибо начинаетъ разглядывать дѣйствительный міръ во всей его прозѣ, во всѣхъ его мелочахъ; это простуда отъ міра реальнаго, это холодъ и ужасъ навѣваемый дыханіемъ людей на грудь чистаго юноши. И тутъ-то раждается въ немъ потребность сорваться съ пути битаго, обыкновеннаго, пыльнаго, которую мы равно видимъ во всѣхъ истинныхъ художникахъ. Онъ все что̀ вамъ угодно, живописецъ, музыкантъ, поэтъ... только ради-Бога не юристъ — не буднишній, вседневный человѣкъ. И эта борьба между симпатіею и необходимостію заставляетъ его дѣлать пресмѣшныя вещи. Получивъ хорошее мѣсто въ Позенѣ, знаете ли чѣмъ онъ дебютировалъ? каррикатурами на всѣхъ своихъ начальниковъ; тѣ отвѣчали на нихъ доносомъ, и Гоффманнъ не успѣлъ привыкнуть къ Позену, какъ его отставили. Спустя нѣсколько времени, мы видимъ его важнымъ совѣтникомъ правленія въ Варшавѣ. Но онъ не перемѣнился; это все тотъ же музыкантъ: хлопочетъ, трудится, собираетъ деньги, чтобъ завести филармоническую залу; успѣлъ, и Regierungs-Rath Hoffmann, въ засаленной курткѣ, цѣлые дни на стропилахъ разрисовываетъ плафонъ залы; окончивъ, онъ же является капельмейстеромъ, бьетъ тактъ, дирижируетъ, сочиняетъ такъ усердно, что нисколько не замѣчаетъ, что вся Европа

* Göthe, Fauſt. 1 Th.

въ крови и огнѣ. Между-тѣмъ война, видя его невнимательность, рѣшается сама посѣтить его въ Варшавѣ; онъ бы и тутъ ее не замѣтилъ, но надо было на время прекратить концерты. Гоффманнъ въ горѣ; но черезъ нѣсколько дней пишетъ къ Гитцигу, что концерты снова продолжаются, что онъ побранился съ Наполеоновымъ капельмейстеромъ; „что̀-жъ касается до политическихъ обстоятельствъ, онѣ меня не очень занимаютъ... искусство, вотъ моя покровительница, моя защитница, моя святая, которой я весь преданъ“!... Должно-ли послѣ того удивляться, что Шлегель и Вильменъ розно понимаютъ литературу, что одинъ далъ ей самобытный полетъ, чтобъ не заставить ее дѣлить скучный покой своей родины, а другой приковалъ ее къ обществу, чтобы ускорить развитіе литературы, сообщивъ ей быстрое движеніе гражданственности. Шлегель и Вильменъ, это Германія и Франція: Германія мирно живущая въ кабинетахъ и библіотекахъ, и Франція толпящаяся въ кофейныхъ и Пале-Ройялѣ; Германія внимательно перечитывающая свои книги, и Франція два раза въ день пожирающая журналы. Гоффманнъ, занятый до того концертами, что не замѣтилъ приближенія Наполеона, есть типъ прошедшаго, сверхъ-земнаго направленія литературы Германской. По большой части сочинители, жившіе до 1813 года, воображали, что все земное слишкомъ низко для нихъ, и жили въ облакахъ; но это имъ не прошло даромъ. Теперь, когда Германія проснулась при громѣ Лейпцигской битвы, явилось новое поколѣніе, болѣе земное, болѣе національное. Теперь Гейне бичуетъ своимъ ядовитымъ перомъ направо и налѣво старое поколѣніе, которое разобщило себя съ родиной, прошлую эпоху, которая такъ колоссально, такъ величественно окончилась въ Веймарѣ 22 марта 1832 года. Впрочемъ

Гёте страшно причислять къ этому направленію: Гёте былъ слишкомъ высокъ чтобъ имѣть какое-либо направленіе, слишкомъ высокъ чтобъ участвовать въ этихъ гомеопатическихъ переворотахъ... Какъ бы то ни было, Гоффманнъ самъ очень чувствовалъ и очень хорошо представилъ односторонность германскихъ ученыхъ окопавшихъ себя валомъ отъ всего человѣчества, въ превосходной повѣсти своей „Datura Tastuosa“. Но обратимся къ его жизни.

Принужденный оставить Варшаву и свою *собственноручную* залу, онъ отправился въ Берлинъ съ шестью луйдорами, которые у него на дорогѣ украли; пристроился какъ-то къ Бамбергскому театру; и съ того-то времени (1809) собственно начинается литературное его поприще: тогда написалъ онъ дивный разборъ Бетховена и Крейслера. Впрочемъ, это еще не тотъ Крейслеръ, изъ жизни котораго макулатурные листы попались въ когти знаменитому Коту Мурру, а начальное образованіе, основа этого лица, которому Гоффманнъ подарилъ всѣ свои свойства, который нѣсколько разъ является въ разныхъ его сочиненіяхъ и который занималъ его до самой кончины. Вскорѣ узнала его вся Германія, и Гоффманнъ является формальнымъ литераторомъ. Этому дивиться не чего: Германія страна писанія и чтенія. „Что бы мы ни дѣлали одной рукой, въ другой непремѣнно книга, говоритъ Менцель. Германія нарочно для себя изобрѣла книгопечатаніе, и безъ устали все печатаетъ и все читаетъ“.*) Въ тоже время Гоффманнъ пишетъ музыкальныя произведенія, даетъ уроки, рисуетъ, снимаетъ портреты, и par dessus le marché остритъ, проситъ чтобъ ему платили не только за уро-

* Die deutsche Litteratur, von W. Menzel.

ки, но и за пріятное препровожденіе времени; сверхъ всего того онъ при театрѣ компонистъ, декораторъ, архитекторъ и капельмейстеръ. Впрочемъ финансовыя его обстоятельстса все не блестящи: 26 ноября 1810 г. въ дневникѣ его написана печальная фраза: „den alten Rock verkauft um nur essen zu können*“. Эта пестрая жизнь служитъ доказательствомъ, что безпорядочная фантазія Гоффманна не могла удовлетворяться *нѣмецкой болѣзнью*—литературой. Ему надобно было дѣятельности живой, дѣятельности въ самомъ дѣлѣ; и вы можете прочесть въ его журналѣ того времени, какъ онъ страстно былъ влюбленъ въ свою ученицу — „онъ женатый человѣкъ!“ (какъ будто женатымъ людямъ отрѣзывается всякая возможность любить!)

Съ 1814 года настаетъ послѣдняя эпоха жизни Гоффманна, обильная сочиненіями и дурачествами. Онъ поселился въ Берлинѣ, въ этомъ первомъ городѣ Брандербургскаго курфиршества, который сдѣлался первымъ городомъ Германіи, sauf le respect que je dois Вѣнѣ съ ея аристократической улыбкой, готическими нравами и церковью Св. Стефана. Берлинъ не Бамбергъ, Берлинъ живетъ жизнію, ежели не полной, то свѣжей, юной; онъ увлекъ, завертѣлъ Гоффманна, и Гоффманнъ попалъ въ аристократическій кругъ, въ черномъ фракѣ, въ башмакахъ, читаетъ статейки, слушаетъ пѣнье, аккомпанируетъ. Но аристократы скучны; сначала ихъ тонъ, ихъ пышность, ихъ освѣщенные залы нравятся; но все одно и тожъ надоѣстъ до нельзя. Гоффманъ бросилъ аристократовъ, и съ паркета, изъ душныхъ залъ бѣжалъ все внизъ, внизъ, и остановился въ питейномъ домѣ. „Отъ восьми до десяти,“ пишетъ онъ, „сижу я съ до-

*) Проданъ старый сертукъ, чтобъ ѣсть.

брыми людьми и пью чай съ ромомъ; отъ десяти до двѣнадцати также съ добрыми людьми, и пью ромъ съ чаемъ.“ Но это еще не конецъ; послѣ двѣнадцати онъ отправляется въ винный погребъ, сохраняя въ питьѣ тоже crescendo. Тутъ-то странныя, уродливыя, мрачныя, смѣшныя, ужасныя тѣни наполняли Гоффманна, и онъ въ состояніи сильнѣйшаго раздраженія схватывалъ перо и писалъ свои судорожныя, сумасшедшія повѣсти. Въ это время онъ сочинилъ ужасно много, и наконецъ торжественно заключилъ свою карьеру автобіографіей Кота Мурра. Въ Котѣ и Крейслерѣ Гоффманнъ описывалъ самъ себя; но впрочемъ, у него въ самомъ дѣлѣ былъ котъ, котораго называли Мурромъ и въ котораго онъ имѣлъ какую-то мистическую вѣру. Странно, что Гоффманнъ совершенно здоровый говаривалъ, что онъ не переживетъ Мурра, и дѣйствительно умеръ вскорѣ послѣ смерти кота. Страдая мучительную болѣзнію (tabes dorsalis), онъ былъ все тотъ же, фантазія не охладѣла. Лишившись ногъ и рукъ, онъ находилъ, что это прекрасное состояніе; его сажали противъ угольнаго окна, и онъ нѣсколько часовъ сидѣлъ, смотря на рынокъ и придумывая, за чѣмъ кто идетъ,*) а когда ему прижигали каленымъ желѣзомъ спину, воображалъ себя товаромъ, который клеймятъ по приказу таможеннаго пристава! Теперь, доведши его жизнь до похоронъ, обратимся къ его сочиненіямъ.

* Meines Vetters Eckfenſter.

II.

Wie heißt des Sängers Vaterland?
. . . . das Land der Eichen,
Das freie Land, das Deutſche Land,
So hieß mein Vaterland!
Körner.

Въ Англіи скучно жить: вѣчный парламентъ съ своими готическими затѣями, вѣчныя новости изъ Остъ-Индіи, вѣчный голодъ въ Ирландіи, вѣчная сырая погода, вѣчный запахъ каменнаго уголья, и вѣчныя обвиненія во всемъ этомъ перваго министра. Вотъ, чтобъ этой скукѣ помочь, и вздумалъ одинъ англійскій сиръ-тори, ужасный болтунъ, расказывать старыя преданія своей Шотландіи, такъ мило, что слушая его совсѣмъ переносишься въ блаженной памяти феодальные вѣка. Въ послѣднее время сомнѣвались въ исторической вѣрности его картинъ: въ чемъ не сомнѣвались въ послѣднее время? Не могу рѣшить, справедливо-ли это сомнѣніе; но знаю, что одинъ великій историкъ*) совѣтуетъ изучать исторію Англіи въ романахъ Валтеръ-Скотта. По моему, въ Валтеръ-Скоттѣ другой недостатокъ: онъ аристократъ, а общій недостатокъ аристократическихъ росказней есть какая-то апатія. Онъ иногда походитъ на секретаря уголовной палаты, который съ величайшимъ хладнокровіемъ докладываетъ самыя нехладнокровныя происшествія; вездѣ въ романѣ его видите лор-

*) Lettres sur l'histoire de la France, par Aug. Thierry.

да-тори съ аристократической улыбкой, важно повѣствующаго. Его дѣло описывать; и какъ онъ описывая природу не углубляется въ растительную физіологію и геологическія изслѣдованія, такъ поступаетъ онъ и съ человѣкомъ: его психологія слаба и все вниманіе сосредоточено на той поверхности души, которая столь похожа на поверхность геода, покрытаго земляною корою, по которой нельзя судить о кристаллахъ, въ его внутренности находящихся. Не ищите у Валтеръ-Скотта поэтическаго провидѣнія характера великаго человѣка, не ищите у него этихъ дивныхъ созданій пламенной фантазіи, этихъ ſchwankende Geſtalten, которые на вѣки остаются въ памяти: Фауста, Гамлета, Миньоны, Клода-Фролло; ищите расказа, и вы найдете прелестный, изящный. У Валтеръ-Скотта есть двойникъ, такъ какъ у Гоффманнова Медардуса: это Куперъ, это его alter ego — романистъ Соединенныхъ Штатовъ, этого alter ego Англіи. Американское повтореніе Валтеръ-Скотта совершенно ему подобно; иногда оно интереснѣе своего прототипа, ибо иногда Америка интереснѣе Шотландіи. Если романы Валтеръ-Скотта историческіе, то Куперовы надобно назвать статистическими; ибо Америка страна безъ исторіи, безъ аристократическаго происхожденія, страна parvenue, имѣющая одну статистику. Направленіе Валтеръ-Скотта было господствующее въ началѣ нашего вѣка; но оно никогда не должно было выходить изъ Англіи, ибо оно несообразно съ духомъ другихъ европейскихъ народовъ.

Во Франціи, въ концѣ прошлаго столѣтія, некогда было писать и читать романы; тамъ занимались эпопеею. Но когда она успокоилась въ объятіяхъ Бурбоновъ, тогда ей былъ полной досугъ писать всякую всячину. Знаете-ли вы, что̀ за состояніе называется *спо-*

хмѣлья, это состояніе, когда въ головѣ пусто, въ груди пусто, и между тѣмъ насилу подымается голова и дышать тяжело? Точно въ такомъ положеніи была Франція послѣ 1815 года; это было пробужденіе въ своей горницѣ, послѣ шумной вакханаліи, послѣ банка и дуэля. Тогда должна была развиться эта огромная потребность far niente, которая нисколько не похожа на квіетизмъ Востока, квіетизмъ основанный на мистической вѣрѣ въ себя; ибо на днѣ души было разочарованіе, раскаяніе. Начали было писать романы по подобію Валтера-Скотта; не удались. Юная Франція стольже мало могла симпатизировать съ Валтеръ-Скоттомъ, сколько съ Велингтономъ и со всѣмъ торизмомъ. И вотъ французы замѣнили это направленіе другимъ, болѣе глубокимъ; и тутъ-то явились эти анатомическія разъятія души человѣческой, тутъ-то стали раскрывать всѣ смердящія раны тѣла общественнаго, и романы сдѣлались психологическими разсужденіями.*) Но не воображайте, чтобъ этотъ родъ родился во Франціи; нѣтъ! психологія дома въ Германіи: французы перенесли его къ себѣ цѣликомъ, прибавивъ свое разочарованіе и свой слогъ.

Психологическое направленіе романа несравненно прежде явилось въ Германіи; но не въ такой судорожной формѣ, не съ такимъ страшнымъ опытомъ въ задаткѣ, какъ у за-рейнскихъ сосѣдей. Нѣмца не скоро разшевелишь: прпвыкнувшій съ юности къ огню Шиллера, къ глубинѣ Гёте, онъ никогда не могъ высоко цѣнить чуть теплую прозу Валтеръ-Скотта**;) ему надобно бурю

*) Бальзакъ, Сю, Ж.-Жаненъ, А. де Виньи.

**) Когда Гитцигъ далъ Гоффманну читать Валтеръ-Скотта, онъ возвратилъ не читавши; на-оборотъ Валтеръ-Скоттъ въ Гоффманнѣ находилъ только сумасшедшаго!

и громъ, чтобъ восхищаться природою, ему надобно, чтобъ революція выплеснула Наполеона съ легіонами Республики, для того чтобъ оставить отеческій кровъ, закрыть книгу и подумать о себѣ. Сообразно духу народному, на нѣмецкихъ романахъ лежитъ особая печать глубины фантазіи и чувствъ. Однажды романъ и драма приняли было ложное направленіе, затерялись въ скучныхъ подробностяхъ всѣхъ пошлостей частной жизни обыкновенныхъ людей и, будучи еще пошлѣе самой жизни, впали въ приторную, паточную сантиментальность: это Лафонтенъ, Иффландъ, Коцебу. Ихъ читаютъ теперь die Stubenmädchen по субботамъ, набирая оттуда цѣлый арсеналъ нѣжностей для воскресенья. Но это отклоненіе романа было обильно вознаграждено прелестными сочиненіями таинственнаго Жанъ-Поля, наивнаго Новалиса, готическаго Тика. Гёте, этотъ Зевсъ искусства, поэтъ Буонаротти, Наполеонъ литературы, бросилъ Германіи своего „Вертера,“ пѣснь чистую, высокую, пламенную, пѣснь любви, начинающуюся съ самаго тихаго adaggio и кончащуюся бѣшенымъ крикомъ смерти, раздирающимъ душу addio! За „Вертеромъ“ поетъ Гёте другую дивную пѣснь, пѣснь юности, въ которой все дышитъ свѣжимъ дыханіемъ юноши, гдѣ всѣ предметы видны сквозь призму юности, эти вырванныя сцены, рапсодіи безъ соотношенія внѣшняго, тѣсно связанныя общей жизнію и поэзіей. И что̀ за созданія наполняютъ его „Вильгельма Мейстера!“ Миньона, баядерка, едва умѣющая говорить, изломанная для гаерства, мечтающая о странѣ лимонныхъ деревьевъ и померанца, о ея свѣтломъ небѣ, о ея тепломъ дыханіи: Миньона, чистая, непорочная какъ голубь; и съ другой стороны сладострастная, огненная Филена, роскошная какъ страна юга, пламенная, бѣшеная какъ юношеская вакханалія, Филена, ненавидящая днев-

ной свѣтъ и вполнѣ живущая при тайномъ, неопредѣленномъ мерцаніи лампады, пылая въ объятіяхъ *его*; и тутъ же величественный барельефъ старца, лишеннаго зрѣнія, арфиста, которому хлѣбъ былъ горекъ и котого слезы струились въ тиши ночной!

III.

Die Kunſt iſt meine Beſchützerin, meine Heilige.
Hoffmann's Brief an Hitzig, 1812.

Въ началѣ нынѣшняго вѣка явился въ нѣмецкой литературѣ писатель самобытный, Теодоръ Амедей Гоффманнъ: покоренный необузданной фантазіи, съ душою сильной и глубокой, художникъ въ полномъ значеніи слова, онъ смѣлымъ перомъ чертилъ какія-то тѣни, какіе-то призраки, то страшные, то смѣшные, но всегда изящные; и эти-то неопредѣленныя, набросанныя тѣни —его повѣсти. Обыкновенный, скучный порядокъ вещей слишкомъ тѣснилъ Гоффманна; онъ пренебрегъ жалкимъ пластическимъ правдоподобіемъ. Его фантазія предѣловъ не знаетъ; онъ пишетъ въ горячкѣ, блѣдный отъ страха, трепещущій передъ своими вымыслами, съ всклокоченными волосами; онъ самъ отъ чистаго сердца вѣритъ во все, и въ „песочнаго человѣка,“ и въ колдовство, и въ привидѣнія, и этой-то вѣрою подчиняетъ читателя своему авторитету, поражаетъ его воображеніе и на долго оставляетъ слѣды. Три элемента жизни человѣческой служатъ основою бо̀льшей части сочиненій Гоффманна, и эти же элементы составляютъ душу самаго автора: внутренняя жизнь артиста, дивныя пси-

хическія явленія, и дѣйствія сверхъ-естественныя. Все это съ одной стороны погружено въ черныя волны мистицизма, съ другой растворено юморомъ живымъ, острымъ, жгучимъ. Юморъ Гоффманна весьма отличенъ, и отъ страшнаго, разрушающаго юмора Байрона, подобнаго смѣху ангела, низвергающагося въ преисподнюю, и отъ ядовитой, адской, змѣиной насмѣшки Вольтера, этой улыбки самодовольствія, съ сжатыми губами. У него юморъ артиста, падающаго вдругъ изъ своего Эльдорадо на землю, артиста, который среди мечтаній замѣчаетъ, что его Галатея кусокъ камня, артиста, у котораго, въ минуту восторга, жена проситъ денегъ дѣтямъ на башмаки. Этимъ-то юморомъ растворилъ Гоффманнъ всѣ свои сочиненія и безпрестанно перебѣгаетъ отъ самаго пылкаго паѳоса къ самой злой ироніи. Этотъ юморъ натураленъ Гоффманну; ибо онъ больше всего художникъ истинный, совершенный. Посмотрите на его статьи объ музыкѣ; назову двѣ: „разборъ Бетховена“ и „разборъ Донъ-Жуана“.*) Тамъ вы увидите, что̀ для него звуки, увидите, какъ они облекаются въ формы, оставаясь безтѣлесными.

„Музыка есть искусство наиболѣе *романтическое*, ибо характеръ ея безконечность. Лира Орфея растворила врата Орка. Музыка открываетъ человѣку невѣдомое царство, новый міръ, не имѣющій ничего общаго съ міромъ чувственнымъ, въ которомъ пропадаютъ всѣ опредѣленныя чувства, оставляя мѣсто невыразимому страстному увлеченію.

„Въ сочиненіяхъ Гайдна выражается дѣтская, свѣтлая душа. Его симфоніи ведутъ насъ на необозримые, зеленые луга, въ пестрыя толпы счастливыхъ людей. Мель-

* Phantaſienſtücke in Callotsmanier.

кают юноши и дѣвы; смѣющіеся дѣти прячутся за деревья и за розовые кусты, бросаются цвѣтами. Жизнь исполненная любви, блаженства, жизнь до грѣхопаденія, вѣчно юная; нѣтъ страданья, нѣтъ мученій, одно томное, сладкое стремленіе къ милому образу, несущемуся въ блескѣ вечерней зари; онъ и не приближается и не улетаетъ, и пока не изчезнетъ, не настанетъ ночь.

„Въ глубины царства духовъ ведетъ Моцартъ. Страхъ объемлетъ насъ, но безъ мученія; это предчувствіе безконечнаго. Любовь и нѣга дышатъ въ прелестныхъ голосахъ существъ неземныхъ; ночь настаетъ при яркомъ пурпурномъ свѣтѣ, и съ невыразимымъ восторгомъ стремимся мы за призраками, которые зовутъ насъ въ свои ряды, летая въ облакахъ.

„Музыка Бетховена раскрываетъ намъ царство безконечнаго и необъятнаго. Огненные лучи мелькаютъ въ этомъ царствѣ ночи, и мы видимъ тѣни великановъ, которые все болѣе и болѣе приближаются, окружаютъ насъ, подавляютъ, уничтожаютъ; но не уничтожаютъ безконечной страсти, въ которую переливается всякій восторгъ, въ которомъ сплавлена любовь, надежда, удовольствіе, и въ которой тогда мы только продолжаемъ жить.

„Гайднъ беретъ человѣческое въ жизни романтически; онъ соизмѣримѣе, понятнѣе для толпы.

„Моцартъ беретъ сверхъ-естественное, чудесное, обитающее во внутренности нашего духа.

„Музыка Бетховена дѣйствуетъ страхомъ, ужасомъ, изступленіемъ, болью, и раскрываетъ именно то безконечное влеченіе, которое составляетъ собственно сущность романтизма. Посему-то онъ компонистъ чисто романтическій; и не оттого-ли происходитъ плохой успѣхъ его въ вокальной музыкѣ, уничтожающей сло-

вами этотъ характеръ неопредѣленности и безконечности?..“

Не правда-ли, въ этомъ нѣбольшомъ отрывкѣ видна непомѣрная глубина артистическаго чувства! Какъ полны, многозначущи нѣсколько словъ, мелькомъ брошенныя о романтизмѣ!

Хотите-ли вы знать, что̀ такое душа художника, на сколько она отдѣлена отъ души обыкновеннаго человѣка, души съ запахомъ земли, души, въ которой запачкано божественное начало? Хотите-ли взойти во внутренность ея, въ этотъ храмъ идеала, къ которому рвется художникъ и котораго никогда во всей чистотѣ не можетъ исторгнуть изъ души своей? Хотите-ли видѣть, какъ бурны его страсти, слѣдовать за нимъ въ буйную вакханалію и въ объятія дѣвы? Читайте Гоффманновы повѣсти: онѣ вамъ представятъ самое полное развитіе жизни художника во всѣхъ фазахъ ея. Возьмемъ его Глюкка, напримѣръ: развѣ это не типъ художника, кто бы онъ ни былъ — Буонаротти или Бетховенъ, Дантъ или Шиллеръ? Послушайте, вотъ Глюккъ разсказываетъ о минутахъ восторга и вдохновенія:

„Можетъ быть полузабытая тема какой нибудь пѣсни, которую мы поемъ на другой манеръ, есть первая мысль намъ принадлежащая, зародышъ великана, который все пожретъ около себя и все превратитъ въ свою кровь, въ свое тѣло! Путь широкій, на немъ толпится народъ, и всѣ кричатъ: мы посвященные! мы достигли цѣли! Чрезъ врата изъ слоновой кости входятъ въ царство видѣній, малое число замѣчаютъ эти врата, еще меньшее проходятъ въ нихъ! Здѣсь все страшно: безумные образы летаютъ тамъ и сямъ, и эти образы имѣютъ свои характеры болѣе или менѣе опредѣленные. Все вертится, кружится; многіе засыпаютъ, и та-

ютъ, уничтожаются въ своемъ снѣ, и нѣтъ тѣни отъ нихъ, тѣни, которая бы сказала имъ о дивномъ свѣтѣ, которымъ озарено это царство. Нѣкоторые проснувшись идутъ далѣе и достигаютъ истины. Высокое мгновеніе! минута соприкосновенія съ вѣчнымъ невыразимымъ! Посмотрите на солнце: это троезвучіе (Dreiklang), изъ котораго сыплются аккорды подобно звѣздамъ и обвиваютъ васъ нитями свѣта.

„Когда я былъ въ томъ дивномъ царствѣ, меня терзали и страхъ и боль! Это было ночью; я боялся безобразныхъ чудовищъ, которыя то повергали меня на дно океана, то подымали на воздухъ. Внезапно лучи свѣта прорѣяли въ мракѣ, эти лучи были звуки, освѣтившіе меня какой-то ясностью, исполненной нѣги. Я проснулся: большое, свѣтлое око было обращено на органы, и доколѣ оно было обращено, лилися тоны изъ него, мерцали, сливались въ прелестныхъ аккордахъ, недоступныхъ прежде для меня. Волны мелодій неслись; я погрузился въ этотъ потопъ, уже тонулъ въ немъ, какъ око обратилось на меня, и я остался на поверхности волнъ. Снова мракъ, и явились два гиганта въ блестящихъ доспѣхахъ: основный тонъ (Grund-Ton) и квинта! Они устремились на меня, увлекли. Но око улыбалось: я знаю, что̀ твою грудь наполняетъ страстью; придетъ кроткій, нѣжный юноша — терца; онъ пріобщится къ великанамъ, ты услышишь его сладкій голосъ, и мои мелодіи будутъ твоими.“

Возьмемъ Крейслера, капельмейстера Іогана Крейслера, котораго нѣмецкій принцъ Ириней называлъ **Mr** Kröſel: этотъ Mr Kröſel есть лучшее произведеніе Гоффманна, самое стройное, исполненное высокой поэзіи. Тутъ болѣе нежели гдѣ либо Гоффманнъ высказалъ все, что̀ могъ, чѣмъ душа его была такъ полна о любимомъ

предметѣ своемъ, о музыкѣ. Крейслеръ, пламенный художникъ, съ дѣтскихъ лѣтъ мучимый внутреннимъ огнемъ творчества, живущій въ звукахъ, дышащій ими, и между тѣмъ неугомонный, гордый, бросающій направо и налѣво презрительные взгляды. Ему придалъ Гоффманнъ свой собственный характеръ, или лучше въ немъ описалъ онъ самого себя, и быстрые, внезапные переливы Крейслера отъ высокихъ ощущеній къ сардоническому смѣху придаютъ ему какую-то неуловимую физіономію. И этотъ Крейслеръ поставленъ между двумя существами дивнаго изящества. Одна дочь Сѣвера, дочь туманной Германіи, что-то томное, неопредѣленное, таинственное, неразгаданное—Гедвига. Другая дышетъ югомъ, Италіей—пѣснь Россини, пѣснь пламенная, яркая, влюбленная—Юлія. А тутъ для тѣни принцъ Ириней, предобрѣйшій God save the King. Но въ Крейслерѣ еще не вся жизнь художника исчерпана. Глубже понимала ее мрачная фантазія Гоффманна. Она сошла въ тѣ заповѣдные изгибы страстей, которые ведутъ къ преступленіямъ; и вотъ его „Jeſuiten-Kirche“. Художникъ живетъ только идеаломъ, любовью къ нему, онъ не дома на землѣ, не между своими съ людьми ; для него вся земля огромная собачья пещера, въ которой онъ задыхается. Художникъ въ пылу мечтанья создалъ идеалъ, хранилъ его, лелѣялъ ; его идеалъ святъ, чистъ, высокъ, небесенъ : и вдругъ онъ нашелъ его въ женщинѣ, и это женщина матеріальная, и ѣстъ и пьетъ, словомъ, женщина изъ костей и мяса, земная жена его! Идеалъ затмился, унизился ; порывы творчества исчезли ; виновата жена, и онъ убійца ея! Но и тутъ, въ самомъ преступленіи, Гоффманнъ умѣлъ столько разлить изящнаго въ своемъ живописцѣ ; и тутъ можно отыскать опять божественное начало художника, такъ что вы не

можете ненавидѣть его. Во многихъ другихъ повѣстяхъ представлены прочіе элементы жизни художника; мы не станемъ разбирать ихъ.

Два другіе элемента его повѣстей, явленія психическія и чудесное, по большей части переплетены между собою. Но здѣсь надо сдѣлать яркое раздѣленіе. Однѣ повѣсти дышатъ чѣмъ-то мрачнымъ, глубокимъ, таинственнымъ; другія, шалости необузданной фантазіи, писанныя въ чаду вакханалій. Сперва нѣсколько словъ о первыхъ.

Идіосинкрасія, судорожно обвивающая всю жизнь человѣка около какой-нибудь мысли, сумасшествіе ниспровергающее полюсы умственной жизни, магнетизмъ, чародѣйная сила мощно подчиняющая одного человѣка волѣ другаго — открываетъ огромное поприще пламенной фантазіи Гоффманна. Но тутъ еще не все: есть люди, одаренные какой-то невѣдомою силой, заставляющей трепетать передъ ними. Не случалось ли вамъ когда встрѣчать взоръ незнакомца, взоръ удушливый и страшный, отъ котораго вы съ ужасомъ должны отворотиться, и доселѣ помните его? Не случалось-ли встрѣтить цѣлаго человѣка, похожаго на этотъ взоръ, человѣка съ блѣднымъ лицемъ, съ тусклыми глазами, съ судорожной улыбкой, который васъ отталкиваетъ, и въ тоже врѣмя привлекаетъ? Вотъ въ эти-то темныя, недоступныя области психическихъ дѣйствій, не побоялся спуститься Гоффманнъ, и вышелъ — смѣло скажу — торжествующимъ. Это ужъ не Жюль-Жанена натянутыя, вытянутыя, раскрашенныя повѣсти — дѣти страннаго соединенія философіи XVIII вѣка съ германской поэзіей; нѣтъ! это волчья долина „Фрейшюца“ со всѣми ея ужасами, съ заколдованными пулями, съ блѣднымъ мерцающимъ свѣтомъ, съ неистовой музыкой, съ дья-

вольскимъ аккомпаниментомъ, съ запахомъ ада. Въ этихъ повѣстяхъ вы уже разстаетесь съ обыкновенными людьми, то есть съ людьми, которые во время ѣдятъ, во время спятъ, во время умираютъ, проводя жизнь въ добромъ здоровьи, съ людьми, которые по донесенію Парижской Академіи имѣютъ столь счастливую комплексію, что *не могутъ быть магнетизированы.* Нѣтъ, тутъ являются другіе люди, люди съ душою сильной, обманомъ заключенною въ эту тюрьму,*) съ ея маленькимъ свѣтомъ, съ ея цѣпями, съ ея сырымъ воздухомъ. Такая душа не-дома въ тѣлѣ, она безпрестанно ломаетъ его и кончитъ тѣмъ, что сломаетъ самое-себя; она-то дѣлается необыкновеннымъ человѣкомъ: великимъ мужемъ, великимъ злодѣемъ, сумасшедшимъ — это все равно. У такихъ людей своя жизнь, свои законы. Это кометы, пренебрегающія однообразнымъ эллипсисомъ планетныхъ орбитъ, не боясь раздробиться на пути своемъ. Для того чтобъ ихъ узнать, разсмотрите у Гоффманна ихъ странныя, исковерканныя черты, ихъ огромныя отклоненія отъ обычнаго прозябенія людей. Вообразите себѣ несчастнаго юношу, котораго разстроенная фантазія облекла въ какой-то страшный образъ дѣтскую сказку о „песочномъ человѣкѣ," и этотъ „песочной человѣкъ" преслѣдуетъ его вездѣ, и въ отеческомъ домѣ, и въ университетѣ, и ночью, и днемъ, то въ видѣ алхимика, то въ видѣ итальянскаго кіарлатано. Вообразите послѣднюю минуту его изступленія, когда онъ съ неистовымъ восторгомъ бросаетъ свою невѣсту съ колокольни и съ безумнымъ хохотомъ кричитъ: „Feuerriel

* Du weißt daß der Leib ein Kerker iſt,
Die Seele hat man hinein betrogen.
Goethe, W.-O. Diwan Saki-Nameh.

dreh' dich! Feuerkreis dreh' dich!" У Гоффманна цѣлый рядъ этихъ страшныхъ людей: „Der unheimliche Gast" *, „Der Magnetiseur". Наконецъ, онъ собралъ всѣ отдѣльные лучи этого направленія и слилъ ихъ въ одинъ адскій, сѣрный огонь: это „Die Elixire des Teufels", монахъ Медардусъ. Гоффманну мало было одной жизни, онъ взялъ четыре поколѣнія, наслѣдовавшія другъ отъ друга злодѣйства, и собралъ ихъ всѣ на главѣ Медардуса. Гоффманну мало было одной жизни: онъ представилъ цѣлую семью, рожденную въ гнусныхъ кровосмѣшеніяхъ, и поразилъ ее слѣпымъ мечемъ рока, который вручилъ Медардусу. Этотъ рокъ влечетъ Медардуса отъ преступленія къ преступленію, и никому нѣтъ пощады; у этого рока чистая кровь Аврелiи въ свою очередь брызнула на алтарь Божій, какъ кровь невинной жертвы искупленія. Гоффманну все еще было мало: онъ раздвоилъ, разсѣкъ самаго Медардуса на-двое; и какъ страшенъ его двойникъ, съ своей всклокоченной бородою, съ своимъ изодранымъ рубищемъ, съ своимъ окровавленнымъ лицемъ: верхъ ужаса! Я трепеталъ всѣми членами, читая, какъ лже-Медардусъ гнался въ лѣсу за настоящимъ; мнѣ казалось, я слышалъ его пронзительный, скрыпящій какъ ржавое желѣзо голосъ, которымъ онъ звалъ его на бой съ безумнымъ хохотомъ. Этотъ двойникъ Медардуса, братъ его, котораго Медардусъ не знаетъ; онъ сошелъ съ ума на мысли, что онъ Медардусъ, и вотъ онъ преслѣдуетъ Медардуса, который, терзаясь угрызеніями совѣсти, думаетъ, что его существо раздвоилось! — Какая смѣлость фантазіи, и посмотрите, какъ выдержалъ Гоффманнъ всѣ сцены ихъ встрѣчъ, какъ онъ переплелъ эти двѣ жизни, такъ

*) „Недобрый Гость," перевед. въ *Телеск.* 1836, кн. 1 и 2.

что онѣ и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ розныя! — Это самое сильное произведеніе его фантазіи!

Перейдемъ теперь къ шалостямъ, дурачествамъ его сильнаго воображенія.

Опомнилась — глядитъ Татьяна....
И что же видитъ.... за столомъ
Сидятъ чудовища кругомъ:
Одинъ въ рогахъ, съ собачьей мордой,
Другой съ пѣтушьей головой,
Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,
Тутъ шевелится хоботъ гордый,
Тамъ карла съ хвостикомъ, а вотъ
Полу-журавль и полу-котъ...

Кому не случалось видать подобныхъ сновъ? Хотите-ли ихъ видѣть на-яву? Вотъ вамъ „Meister Floh", Принцесса Брамбилла, Цинноберъ, Золотой Горшокъ..." Это все сны, одинъ безсвязнѣе другаго. Тутъ нѣтъ ни мыслей, ни завязокъ, ни развязокъ, но занимательность ужасная. Сны вообще занимательны, а то кто бы велѣлъ человѣку спать ежедневно? Да и какъ не быть имъ занимательнымъ? живи до ста лѣтъ, никогда не встрѣтится ничего мудренѣе. Тутъ вы познакомитесь съ принцемъ, который сдѣлался изъ піявки; иногда задумается, вспомнитъ жизнь былую, и вытянется до потолка и съежится въ кулакъ. Тутъ увидите принцессу, которая спитъ въ вѣнчикѣ прекраснаго цвѣтка, мила до крайности; но что проку: oculis non manibus..... и вотъ ее увеличиваютъ въ микроскопъ, и дѣлаютъ изъ ней препорядочную барышню. Но пуще всего прошу васъ ненавидѣть Циннобера: онъ, право, злодѣй, мой личный врагъ, и еслибы онъ не утонулъ въ рукомойникѣ, я убилъ бы его. Вообразите: уродъ въ нѣсколько вершковъ, съ тремя рыжими волосами на головѣ, попалъ въ фаворъ къ колдуньѣ; и что-же? Что кто ни

сдѣлай хорошаго klein Zaches Zinnober genannt получаетъ похвалу. Однажды кто-то даетъ концертъ на контръ-басѣ, а публика апплодируетъ, благодаритъ Циннобера. Взойдите въ это положеніе: вообразите, что вы Даль-Онно, что вы всякой постъ съ 1700 года ѣздите въ Москву съ контр-басомъ, и вдругъ вмѣсто васъ хвалятъ Циннобера, а можетъ быть — я не отвѣчаю за него — что всего хуже, ему отдадутъ и деньги за билеты. O horrible! O horrible! Право, я съ робостью узналъ, что Алоизій чернокнижникъ вступилъ съ нимъ въ бой. Алоизій человѣкъ хорошій, живетъ аристократомъ, строусъ въ ливреѣ швейцаромъ, двѣ лягушки у воротъ дворниками, жукъ ѣздитъ за каретой. За то рекомендую вамъ Ансельма; онъ женатъ на зеленой змѣѣ съ голубыми глазами, нужды нѣтъ: съ чужими женами не надобно знакомиться; но онъ васъ познакомитъ съ своимъ свекромъ архиваріусомъ Линдгорстомъ: чудакъ преестественный, былъ когда-то саламандромъ, въ юности напроказилъ, его прямо изъ Индіи, за нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, въ наказаніе и сослали архиваріусомъ въ Дрезденъ. Гоффманнъ самъ былъ у него въ гостяхъ; онъ ему далъ санскритскую грамоту и стаканъ ямайскаго рома, да вдругъ снялъ сапоги, раздѣлся, и давай купаться въ стаканѣ. Вѣдь я говорилъ вамъ, что чудакъ. Словомъ вообразите себѣ отдѣльныя сцены Гётевой „Вальпургиснахтъ“: это вѣрный образъ, типъ Гоффманновыхъ сказокъ. Еще къ вамъ просьба—забылъ было совсѣмъ—сходите поклониться праху Кота Мурра. Во-первыхъ, былъ онъ человѣкъ ученый, не смотря на то, не былъ никогда человѣкомъ; но я увѣренъ, что со временемъ ясно докажутъ, что прилагательное „ученый“ уничтожаетъ существительное „человѣкъ.“ Далѣе, этотъ котъ самъ Гоффманнъ, котораго, я надѣюсь, вы

любите, хоть par courtoisie ко мнѣ. Сходите же, какъ будете въ той сторонѣ, къ нему на могилу.

Теперь, слегка начертавши характеръ Гоффманна, мы окончимъ. Можетъ быть, на досугѣ поговоримъ и о другихъ прозаикахъ Германіи. Въ заключеніе скажу, что Гоффманнъ превосходно переведенъ Леве-Веймаромъ на французскій языкъ и былъ принятъ въ Парижѣ съ восторгомъ. *Когда-нибудь* и у насъ его переведутъ съ французскаго.

1834, апрѣля 12.

РѢЧЬ

Сказанная при открытіи Вятской Публичной Библіотеки

6 декабря 1837 года

Милостивые Государи!

Съ тѣхъ поръ, какъ Россія въ лицѣ Великаго Петра совѣщалась съ Лейбницомъ о своемъ просвѣщеніи, съ тѣхъ поръ, какъ она царю передала дѣло своего воспитанія; — правительство подобно солнцу ниспослало лучи свѣта, тому великому народу, которому только не доставало просвѣщенія, чтобъ сдѣлаться первымъ народомъ въ мірѣ. Оно продолжало жизнь Петра выполненіемъ его мысли, постоянно, неутомимо, прививая Россіи науку. Цари какъ Великій Петръ стали впереди своего народа и повели его къ образованію. Ими были заведены академіи и университеты, ими быти призваны люди знаменитые на ученомъ поприщѣ; а они намъ передали европейскую науку и мы вступили во владѣніе ея, не дѣлая тѣхъ жертвъ, которыхъ она стоила нашимъ сосѣдямъ; они намъ передали изобрѣтенія, найденныя по тернистому пути, который сами прокладывали, а мы ими воспользовались и пошли далѣе; они передали прошедшее Европы, а мы отворили безконечный иподромъ въ будущемъ. Свѣтъ распространяется бы-

стро, потребность вѣдѣнія обнаружилась рѣшительно во всѣхъ частяхъ этой вселенной, называемой Россія. Чтобъ удовлетворить ей, учебныхъ заведеній оказалось недостаточно; аудиторія открыта для нѣкоторыхъ избранныхъ, массамъ надобно другое. Сфинксы, охраняющіе Храмъ Наукъ, не каждаго пропускаютъ и не каждый имѣетъ средство войдти въ него. Для того, чтобъ просвѣщеніе сдѣлать народнымъ, надобно было избрать болѣе общее средство и размѣнять, такъ сказать, на мелкія деньги. И вотъ нашъ великій царь предупреждаетъ потребность народную заведеніемъ Публичныхъ Библіотекъ въ губернскихъ городахъ. Публичная Библіотека—это открытый столъ идей, за который приглашенъ каждый, за которымъ каждый найдетъ ту пищу, которую ищетъ; это запасной магазеинъ, куда одни положили свои мысли и открытія, а другіе берутъ ихъ вростъ. Въ той странѣ, гдѣ просвѣщеніе считается необходимымъ, какъ хлѣбъ насущный,—въ Германіи, это средство давно уже извѣстно: тамъ нѣтъ маленькаго городка, гдѣ бы не было Библіотеки для чтенія; тамъ всѣ читаютъ: работникъ, положивъ молотъ, беретъ книгу, торговка ожидаетъ покупщика съ книгою въ рукѣ, и послѣ этаго обратите вниманіе ваше на образованность народа германскаго и Вы увидите пользу чтенія. Это-то вліяніе вмѣстѣ съ положительной пользой распространенія открытій, поселило великую мысль учредить Публичныя Библіотеки на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ связываются узлы гражданской жизни нашей обширной родины. Августѣйшимъ утвержденіемъ своимъ, государь императоръ далъ жизнь этой мысли и въ большей части значительныхъ городовъ Имперіи открыты Библіотеки. Пожертвованія ваши, милостивые государи, доказываютъ, что здѣшнее общество оправдало попеченія пра-

вительства. Нѣтъ мѣста сомнѣнію, что святое начинаніе наше благословится Богомъ.

Теперь позвольте мнѣ, милостивые государи, обратиться исключительно къ будущимъ читателямъ; не новое хочу я имъ сказать, а повторить извѣстныя всѣмъ вамъ мысли о томъ, что такое книга.

Отецъ передаетъ сыну опытъ, пріобрѣтенный дорогими трудами, какъ даръ для того, чтобъ избавить его отъ труда уже совершеннаго. Точно такъ поступали цѣлыя племена, такъ составились на Востокѣ эти преданія, имѣющія силу закона, одно поколѣніе передавало свой опытъ другому, это другое, уходя, прибавляло къ нему результатъ своей жизни, и вотъ составилась система правилъ, истинъ, замѣчаній, на которую новое поколѣніе опирается какъ на предыдущій фактъ и который хранитъ твердо въ душѣ своей, какъ драгоцѣнное отцовское наслѣдіе. Этотъ предыдущій фактъ, этотъ-то опытъ написанный и брошенный въ употребленіе *есть книга.* Книга, это духовное завѣщаніе одного поколѣнія другому, совѣтъ умирающаго старца юношѣ, начинающему жить, приказъ передаваемый часовымъ отправляющимся на отдыхъ, часовому заступающему его мѣсто. Вся жизнь человѣчества послѣдовательно осѣдала въ книгѣ: племена, люди, государства исчезали; а книга оставалась. Она росла вмѣстѣ съ человѣчествомъ, въ нее кристализовались всѣ ученія, потрясавшія умы, и всѣ страсти, потрясавшія сердца; въ нее записана та огромная исповѣдь бурной жизни человѣчества, та огромная Аутографія, которая называется Всемірной Исторіей. Но въ книгѣ не одно прошедшее, она составляетъ документъ, по которому мы вводимся во владѣніе настоящаго, во владѣніе всей суммы истинъ и усилій, найденныхъ страданіями, облитыхъ иногда кровавымъ

пòтомъ; она программа будущаго. И такъ будемъ уважать *книгу!* Это мысль человѣка, получившая относительную самобытность, это слѣдъ, который онъ оставилъ при переходѣ въ другую жизнь.

Было время когда и букву и книгу хранили тайной, именно потому, что массы не умѣли оцѣнить того, что онѣ выражали. Жрецы Египта, желая пламенно высказать свою Теодицею, исписали всѣ храмы, всѣ обелиски, но исписали іероглифами, для того, чтобъ одни избранные могли понимать ихъ. Левиты хранили въ Святой Скиніи, Небомъ вдохновенныя книги Моисея. Настали другія времена. Христіанство научило людей уважать Слово человѣческое, народы сбѣгались слушать учителей и съ благоговѣніемъ читали писанія Св. Отцовъ и Легенды. Слово было оцѣнено, а между тѣмъ мысль окрѣпла, Наука двинулась впередъ, ей стало тѣсно въ школѣ, народы почувствовали жажду познаній, недоставало токмо средствъ распространять мысль быстро, мгновенно, подобно лучамъ свѣта. Германія подарила роду человѣческому книгопечатаніе и мысль написанная разнеслась во всѣ четыре конца міра и отзывалась тысячу разъ повторенная въ тысячи сердцахъ.

Вспомнивъ это, не грустно ли будетъ думать, что праздность можетъ инаго заставить приходить сюда, вялой рукой оборачивать страницы, какъ будто книга назначена токмо для препровожденія времени. Нѣтъ, будемъ съ почтеніемъ входить въ этотъ Храмъ мысли, утомленные заботами вседневной жизни; придемъ сюда отдохнуть душею и укрѣпленные на новый трудъ всякій разъ благословимъ нынѣшній день, столь близкій русскому сердцу, столь торжественный и съ памятью котораго соединяется *день рожденія* нашей Библіотеки.

ЖУРНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ

(1841—1845)

ПИСЬМА ОВЪ ИЗУЧЕНІИ ПРИРОДЫ

Природа — баядера, являющаяся передъ очами духа. Онъ упрекаетъ ее въ безстыдствѣ, съ которымъ она обнажаетъ себя и отдается очамъ зрителей; но, выказавъ себя, она удаляется, потому что ее видѣли, и зритель удаляется — потому что видѣлъ ее.

COLEBROOK. *Sank-hia, Philos. of the Hindous.*

... Doch der Götter Jüngling hebet
Aus der Flamme ſich empor,
Und in ſeinen Armen ſchwebet
Die Geliebte mit hervor.

Göthe. Bayadere.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Эмпирія и Идеализмъ

Слава Церерѣ, Помонѣ и ихъ родственникамъ! я наконецъ не съ вами, любезные друзья! — я одинъ въ деревнѣ. Мнѣ смертельно хотѣлось отдохнуть поодаль отъ всѣхъ.... Нельзя сказать, чтобъ почтенныя особы, которыхъ я сейчасъ славословилъ, очень изубытчились для моего пріема: дождь льетъ день и ночь, вѣтеръ рветъ ставни, шагу нельзя сдѣлать изъ комнаты, и,

странное дѣло! при всемъ этомъ, я ожилъ, поправился, веселѣе вздохнулъ — нашелъ то, за чѣмъ ѣхалъ. Выйдешь подъ-вечеръ на балконъ, ничто не мѣшаетъ взгляду; вдохнешь въ себя влажно-живой, насыщенный дыханіемъ лѣса и луговъ воздухъ, прислушаешься къ дубравному шуму — и на душѣ легче, благороднѣе, свѣтлѣе; какая-то благочестивая тишина кругомъ успокоиваетъ, примиряетъ... Вотъ такъ и кажется, что годы бы не выѣхалъ отсюда... Предвижу, что моя идиллическая выходка вамъ не понравится: „человѣкъ не долженъ жить особнякомъ, это — эгоизмъ, бѣгство; это — битыя фразы безумнаго Женевца, который считалъ современную ему городскую жизнь искусственною, какъ будто формы міра историческаго не такъ же естественны, какъ формы физическаго міра.“ Во-первыхъ, что касается до побѣга, позорно бѣжать войну во время войны; а когда благоденственно царитъ прочный міръ, отъ-чего не пожить въ отпуску? Во-вторыхъ, что касается до Руссо, я не могу безусловно принять за вранье того, что онъ говоритъ объ искусственности въ жизни современнаго ему общества: искусственнымъ кажется неловкое, натянутое, обветшалое. Руссо понялъ, что міръ его окружавшій, не ладенъ; но нетерпѣливый, негодующій и оскорбленный, онъ не понялъ, что храмина устарѣвшей цивилизаціи о двухъ дверяхъ. Боясь задохнуться, онъ бросился въ тѣ двери, въ которыя входятъ, и изнемогъ, борясь съ потокомъ, стремившимся прямо противъ него. Онъ не сообразилъ, что возстановленіе первобытной дикости болѣе искусственно, нежели выжившая изъ ума цивилизація. Мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, кажется, что нашъ образъ жизни, особенно въ большихъ городахъ — въ Лондонѣ, или Берлинѣ, все-равно, не очень естественъ; вѣроятно, онъ во многомъ

измѣнится,—человѣчество не давало подписки жить всегда какъ теперь; у развивающейся жизни ничего нѣтъ завѣтнаго. Знаю я, что формы историческаго міра такъ же естественны, какъ формы міра физическаго! Но знаете ли вы, что въ самой природѣ, въ этомъ вѣчномъ настоящемъ безъ раскаянія и надежды, живое, развиваясь, безпрестанно отрекается отъ миновавшей формы, обличаетъ неестественнымъ тотъ организмъ, который вчера вполнѣ удовлетворялъ? Вспомните превращеніе насѣкомыхъ, вѣчный примѣръ бабочки и куколки. Когда настоящее оперто *только* на прошедшее, оно дурно оперто. Петръ Великій торжественно доказалъ, что прошедшее, выражаемое цѣлой страной, несостоятельно противъ воли одного человѣка, дѣйствующаго во имя настоящаго и будущаго. Юридическая иронія многолѣтней давности не признается жизнію; совсѣмъ напротивъ, давность съ точки зрѣнія природы даетъ только одно право, право смерти.

Видите ли, я въ ударѣ резонёрствовать? Это дѣйствіе деревенскаго farniente. Но Богъ съ ней, съ городской жизнію! я и не думалъ объ ней говорить; лучше, благо есть время, начну нѣкогда обѣщанныя письма о современномъ состояніи естествовѣдѣнія.

Помните ли вы наши безконечные споры студенческой эпохи, въ которыхъ обыкновенно съ двухъ отвлеченныхъ точекъ зрѣнія мы стремились понять явленіе жизни и не могли никогда дойти не только до дѣльнаго результата, но даже до того, чтобъ вполнѣ понять другъ друга? Такъ относятся къ природѣ философія съ своей стороны—и естествовѣдѣніе съ своей, обѣ съ страннымъ притязаніемъ на обладаніе если не всею истиною, то единственно истиннымъ путемъ къ ней. Одна прорицала тайны съ какой-то недосягаемой вы-

соты, другое смиренно покорялось опыту и не шло далѣе; другъ къ другу онѣ питали ненависть; онѣ выросли въ взаимномъ недовѣріи; много предразсудковъ укоренилось съ той и другой стороны; столько горькихъ словъ пало, что, при всемъ желаніи, онѣ не могутъ примириться до сихъ поръ. Философія и естествовѣдѣніе отстращиваютъ другъ друга тѣнями и привидѣніями, наводящими, въ самомъ дѣлѣ, страхъ и уныніе. Давно ли философія перестала увѣрять, что она какими-то заклинаніями можетъ вызвать сущность, отрѣшенную отъ бытія? всеобщее, существующее безъ частнаго? безконечное, предшествующее конечному? и проч. Положительныя науки имѣютъ свои маленькія привидѣньица: это силы, отвлеченныя отъ дѣйствій, свойства, принятыя за самый предметъ, и вообще разные кумиры, сотворенные изъ всякаго понятія, которое еще не понято: exempli gratia — жизненная сила, эѳиръ, теплотворъ, электрическая матерія и проч. Все было сдѣлано, чтобъ не понять другъ друга, и они вполнѣ достигли этого. Между тѣмъ, стало уясняться, что философія безъ естествовѣдѣнія такъ же невозможна, какъ естествовѣдѣніе безъ философіи. Для того, чтобъ убѣдиться въ послѣднемъ, взглянемъ на современное состояніе физическихъ наукъ. Оно представляется самымъ блестящимъ; о чемъ едва смѣли мечтать въ концѣ прошлаго столѣтія, то совершено, или совершается передъ нашими глазами. Органическая химія, геологія, палеонтологія, сравнительная анатомія распустились въ нашъ вѣкъ изъ небольшихъ почекъ въ огромныя вѣтви, принесли плоды, превзошедшія самыя смѣлыя надежды. Міръ прошедшій, покорный мощному голосу науки, поднимается изъ могилы свидѣтельствовать о переворотахъ, сопровождавшихъ развитіе поверхности земнаго

шара; почва, на которой мы живемъ, эта надгробная доска жизни миновавшей, становится какъ бы прозрачною; каменные склепы раскрылись; внутренности скалъ не спасли хранимаго ими. Мало того, что полуистлѣвшіе, полуокаменѣлые остовы обрастаютъ снова плотью, палеонтологія стремится*) раскрыть законъ соотношенія между геологическими эпохами и полнымъ органическимъ населеніемъ ихъ. Тогда все нѣкогда-живое воскреснетъ въ человѣческомъ разумѣніи, все исторгнется отъ печальной участи безслѣднаго забвенія, и то, чего кость истлѣла, чего феноменальное бытіе совершенно изгладилось, возстановится въ свѣтлой обители науки, въ этой обители успокоенія и увѣковѣченія временнаго. Съ другой стороны, наука открыла за видимымъ предѣломъ цѣлые міры невидимыхъ подробностей; ей раскрылся тотъ monde des détails, о возможности котораго генералъ Бонапарте мечталъ, бесѣдуя въ Каирѣ съ Монжемъ и Жоффруа Сент-Илеромъ**). Естествоиспытатель, вооруженный микроскопомъ, преслѣдуетъ жизнь до послѣдняго предѣла, слѣдитъ за ея закулисной работой. Физіологъ на этомъ порогѣ жизни встрѣтился съ химикомъ, вопросъ о жизни сталъ опредѣленнѣе, лучше поставленъ, химія заставила смотрѣть не на однѣ формы и ихъ видоизмѣненія; она въ лабораторіи научила допрашивать органическія тѣла о ихъ тайнахъ. Сверхъ теоретическихъ успѣховъ, успѣхи физическихъ наукъ имѣютъ громкія доказательства внѣ кабинетовъ и академій; онѣ окружили, вмѣстѣ съ механикой, каждый шагъ нашей жизни открытіями и удобствами. Онѣ, машинами, прпзваніемъ въ дѣло силъ брошенныхъ и

*) Вспомните труды Агассиса надъ ископаемыми рыбами и труды Орбиньи надъ слизняками и другими началами.

**) Notions de Philos. naturele par Jeoffroy St-Hilaire. Paris. 1838.

теряющихся, упрощеніемъ сложныхъ и трудныхъ производствъ, указаніемъ возможности тратить не *болѣе* усилій, какъ сколько нужно для достиженія цѣли, — участвуютъ въ разрѣшеніи важнѣйшаго общественнаго вопроса: онѣ подаютъ средства отрѣшать руки человѣческія отъ безпрерывной тяжкой работы.

Казалось бы, послѣ этого, естествовѣдѣнію остается торжествовать свои побѣды, и въ справедливомъ сознаніи великаго совершеннаго трудиться, спокойно ожидая будущихъ успѣховъ; на дѣлѣ не совсѣмъ такъ. Внимательный взглядъ безъ большаго напряженія увидитъ во всѣхъ областяхъ естествовѣдѣнія какую-то неловкость; имъ *чего-то* не достаетъ, чего-то, незамѣняемаго обиліемъ фактовъ; въ истинахъ, ими раскрытыхъ, есть недомолвка. Каждая отрасль естественныхъ наукъ приводитъ постоянно къ тяжелому сознанію, что есть нѣчто неуловимое, непонятное въ природѣ; что онѣ, не смотря на многостороннее изученіе своего предмета, узнали его *почти, но не совсѣмъ*, и именно въ этомъ, недостающемъ чѣмъ-то, постоянно ускользающемъ, предвидится та отгадка, которая должна превратить въ мысль и, слѣдственно, усвоить человѣку непокорную чуждость природы. Сознаніе сказаннаго вкралось въ самое изложеніе естественныхъ наукъ; вы часто встрѣтите средь удачъ и открытій грустную жалобу; увеличеніе знаній, не имѣющее никакихъ предѣловъ, обусловливаемое извнѣ случайными открытіями, счастливыми опытами, иногда не столько радуетъ, сколько тѣснитъ умъ. Пребывающая и по-неволѣ признанная чуждость предмета, упорно не поддающаяся, сердитъ человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ влечетъ его къ себѣ на безпрерывную борьбу, на покореніе, котораго онъ сдѣлать не въ состояніи и оставить не можетъ. Это голосъ вопі-

ющаго разума, не умѣющаго останавливаться на полдорогѣ,—голосъ самой naturæ rerum, стремящейся вполнѣ просвѣтлѣть въ мышленіи человѣческомъ. Вѣроятно вы замѣчали, съ какою поспѣшностью естествоиспытатели предупреждаютъ о предѣлахъ своего возрѣнія, какъбы страшась услышать вопросы, на которые они отвѣчать не могутъ; но такого рода границы несостоятельны; поставленныя личной волей, онѣ столько же внѣшни предмету, сколько заборъ, поставленный правомъ собственности, чуждъ полю, на которомъ стоитъ. Цеховые натуралисты громко и смѣло говорятъ, что имъ дѣла нѣтъ до самыхъ естественныхъ и законныхъ требованій разума, что человѣкъ не долженъ заниматься тѣмъ, чего нельзя разрѣшить.*) Большей частію смѣлость эта подозрительна: она проистекаетъ или отъ ограниченности, или отъ лѣни; у иныхъ, однако, она имѣетъ высшее начало для нихъ—это ложныя утѣшенія, которыми человѣкъ хочетъ отвести свои собственные глаза отъ зла, считаемаго неисправимымъ. По несчастію, вопросамъ такого рода нельзя навязать каменьевъ на шею — бросить ихъ въ воду и потомъ забыть о нихъ; они, какъ упрекъ совѣсти, какъ тѣнь Банко, мѣшаютъ наслаждаться пиромъ опытовъ, открытій, сознаніемъ истинныхъ и прекрасныхъ заслугъ, напоминая, что нѣтъ полнаго успѣха, что предметъ не побѣжденъ.... Въ самомъ дѣлѣ, неужели можно успокоиться на предположеніи невозможности знанія? Тутъ человѣку науки остановиться и забыть такъ же не подъ-силу, какъ скупому стяжателю знать о кладѣ, зарытомъ на его дворѣ, и не искать его. Ни одинъ изъ великихъ естествоиспы-

*) Кому нельзя? когда? почему? гдѣ критеріумъ? — Наполеонъ считалъ пароходы невозможностію...

тателей не могъ спокойно пренебрегать этой неполнотой своей науки; таинственное ignotum мучило ихъ; они относили къ одному недостатку фактическихъ свѣдѣній неуловимостъ его. Мы думаемъ, что сверхъ этого недостатка имъ мѣшаетъ всего болѣе робкое и безсознательное употребленіе логическихъ формъ. Естествоиспытатели никакъ не хотятъ разобрать отношеніе знанія къ предмету, мышленія къ бытію, человѣка къ природѣ; они подъ мышленіемъ разумѣютъ способность разлагать данное явленіе и потомъ сличать, наводить, располагать въ порядкѣ найденное и данное для нихъ; критеріумъ истины—вовсе не разумъ, а одна чувственная достовѣрность, въ которую они вѣрятъ; имъ мышленіе представляется дѣйствіемъ чисто личнымъ, совершенно внѣшнимъ предмету. Они пренебрегаютъ формою, методою, потому что знаютъ ихъ по схоластическимъ опредѣленіямъ. Они до того боятся систематики ученія, что даже матеріализма не хотятъ, *какъ ученія*; имъ бы хотѣлось относиться къ своему предмету совершенно эмпирически, страдательно, наблюдая его; само собою разумѣется, что для мыслящаго существа это такъ же невозможно, какъ организму принимать пищу, не претворяя ея. Ихъ мнимый эмпиризмъ все же приводитъ къ мышленію, но къ мышленію, въ которомъ метода произвольна и лична. Странное дѣло! каждый физіологъ очень хорошо знаетъ важность формы и ея развитія, знаетъ, что содержаніе только при извѣстной формѣ оживаетъ стройнымъ организмомъ,—и ни одному не пришло въ голову, что метода въ наукѣ вовсе не ѣсть дѣло личнаго вкуса, или какого нибудь внѣшняго удобства, что она, сверхъ своихъ формальныхъ значеній, есть самое развитіе содержанія, эмбріологія истины, если хотите.

Этотъ странный силлогизмъ естественныхъ наукъ не прошелъ имъ даромъ. Идеалисты безпрерывно ругали эмпириковъ, топтали ихъ ученіе своими безтѣлесными ногами — и не подвинули вопроса ни на одинъ шагъ впередъ. Идеализмъ—собственно для естествовѣдѣнія ничего не сдѣлалъ... Позвольте обговориться! Онъ разработалъ, онъ приготовилъ безконечную форму для безконечнаго содержанія фактической науки; но она еще не воспользовалась ею: это дѣло будущаго... мы на сію минуту говоримъ, если не о совершенно-прошедшемъ, то о проходящемъ моментѣ. Идеализмъ всегда имѣлъ въ себѣ нѣчто невыносимо-дерзкое: человѣкъ, увѣрившійся въ томъ, что природа вздоръ, что все временное не заслуживаетъ его вниманія, дѣлается гордъ, безпощаденъ въ своей односторонности и совершенно-недоступенъ истинѣ. Идеализмъ высокомѣрно думалъ, что ему стоитъ сказать какую-нибудь презрительную фразу объ эмпиріи — и она разсѣется, какъ прахъ; вышнія натуры метафизиковъ ошиблись: они не поняли, что въ основѣ эмпиріи положено широкое начало, которое трудно пошатнуть идеализмомъ. Эмпирики поняли, что *существованіе* предмета *не шутка*; что взаимодѣйствіе чувствъ и предмета не есть обманъ; что предметы, насъ окружающіе, не могутъ не быть истинными, потому уже, что они существуютъ; они обернулись съ довѣріемъ къ тому, *что есть*, вмѣсто отъискиванія *того, что должно быть*, но чего, странная вещь, нигдѣ нѣтъ! Они приняли міръ и чувства съ дѣтской простотою и звали людей сойдти съ туманныхъ облаковъ, гдѣ метафизики возились съ схоластическими бреднями; они звали ихъ въ настоящее и дѣйствительное; они вспомнили, что у человѣка есть пять чувствъ, на которыхъ основано начальное отношеніе его къ природѣ, и выразили сво-

имъ воззрѣніемъ первые моменты чувственнаго созерцанія — необходимаго, единственно-истиннаго предшественника мысли. Безъ эмпиріи нѣтъ науки, такъ-какъ нѣтъ ея и въ одностороннемъ эмпиризмѣ. Опытъ и умозрѣніе — двѣ необходимыя, истинныя, дѣйствительныя степени одного и того же знанія; спекуляція — больше ничего, какъ высшая, развитая эмпирія; взятыя въ противоположности исключительно и отвлеченно, онѣ такъ же не приведутъ къ дѣлу, какъ анализъ безъ синтеза, или синтезъ безъ анализа. Правильно развиваясь, эмпирія непремѣнно должна перейдти въ спекуляцію, и только то умозрѣніе не будетъ пустымъ идеализмомъ, которое основано на опытѣ. Опытъ есть хронологически-первое въ дѣлѣ знанія, но онъ имѣетъ свои предѣлы, далѣе которыхъ онъ или сбивается съ дороги, или переходитъ въ умозрѣніе. Это два магдебургскія полушарія, которыя ищутъ другъ друга и которыхъ, послѣ встрѣчи, лошадьми не разорвешь. Не смотря на то, что правда сказаннаго нами довольно-проста, она далека отъ того, чтобъ быть познанною; антагонизмъ между эмпиріей и спекуляціей, между естествовѣдѣніемъ и философіей продолжается. Чтобъ понять это, надобно вспомнить время, когда естествовѣдѣніе отторглось отъ философіи: то было въ торжественную и великую эпоху возрожденія наукъ, когда поюнѣвшій человѣкъ снова почувствовалъ горячую кровь въ жилахъ и началъ своею мыслію обсуживать и изучать все, окружавшее его; съ негодованіемъ взглянули тогда всѣ положительные, практическіе умы на схоластику; они, какъ всегда бываетъ при переворотахъ, забыли всѣ ея заслуги, и помнили одинъ тяжкій яремъ, который она накладывала на мысль, — помнили какъ она, уничиженная, покорная, подавторитетная, занималась пустыми, формальными интереса-

ми — и съ ненавистію отвергли ее. Возстаніе противъ Аристотеля было началомъ самобытности новаго мышленія. Не надобно забывать, что Аристотель среднихъ вѣковъ не былъ настоящій Аристотель, а переложенный на католическіе нравы; это былъ Аристотель съ тонзурой. Отъ него, канонизированнаго язычника, равно отреклись Декартъ и Бэконъ. Посмотрите, съ какимъ запальчивымъ пренебреженіемъ химики XVIII вѣка говорятъ о школьныхъ метафизикахъ и какъ радостно провозглашаютъ права опыта, наблюденій, эмпиріи, какъ они ничего знать не хотятъ внѣ чувственной достовѣрности, какъ они трепещатъ всего, напоминающаго схоластическія кандалы. Имъ стало легко и привольно, потому-что они стали на землю, на которой человѣку суждено стоять; у нихъ была отъискана точка внѣшней опоры, точка отправленія; они ревниво ее отстаивали и пошли своей дорогой, дорогой трудной, песчаной; они не боялись труда — непреложная реальность ихъ занятій увлекала ихъ; природа, неистощимо-богатая явленіями, довлѣла надолго жадному любознанію; но, само собою разумѣется, натуралисты должны были неминуемо прійдти къ предѣламъ своего воззрѣнія, потому-что ихъ воззрѣнія были узки, и въ-самомъ-дѣлѣ пришли къ нимъ; но страхъ схоластики превозмогъ, они не выступаютъ изъ круга, добровольно ими самими замкнутаго. Философіи было легче дойти до истинныхъ и дѣйствительныхъ основаній логики, нежели поправить свою репутацію. Впрочемъ, это возстановленіе репутаціи она вполнѣ можетъ сдѣлать только въ наше время, — закваска схоластическая только теперь начинаетъ выдыхаться изъ нея. Идеализмъ не что иное, какъ *схоластика протестантскаго міра.* Онъ никогда не уступалъ въ односторонности эмпиріи; онъ никогда не хо-

тѣлъ понять ее, и когда понялъ по-неволѣ, съ важностью протянулъ ей руку, прощалъ ее, диктовалъ условія мира — въ то время, какъ эмпирія вовсе не думала у него просить помилованія. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что умозрѣніе и эмпирія равно виноваты во взаимномъ непониманіи, и дѣло теперь вовсе не въ томъ, чтобъ оправдать одну сторону на-счетъ другой, но въ томъ, чтобъ, объяснивъ, какъ они попали въ борьбу извѣстной притчи Менения Агриппы, показать, что это фактъ прошедшій, принадлежащій гробу и исторіи, что продолжать эту борьбу обѣимъ сторонамъ вредно и нелѣпо. И философія, и естествовѣдѣніе выросли изъ временнаго антагонизма своего, имѣютъ всѣ средства въ рукахъ понять, откуда онъ вышелъ и въ чемъ состояла его историческая необходимость — одно только унаслѣдованное чувство вражды можетъ поддерживать обветшалыя и жалкія взаимныя обвиненія. Имъ надобно *объясниться* во что бы то ни стало, понять разъ навсегда свое отношеніе, и освободиться отъ антагонизма: всякая исключительность тягостна; она не даетъ мѣста свободному развитію. Но для этого объясненія необходимо, чтобъ философія оставила свои грубыя притязанія на безусловную власть и на всегдашнюю непогрѣшительность. Ей, по праву, дѣйствительно принадлежитъ центральное мѣсто въ наукѣ, которымъ она вполнѣ можетъ воспользоваться, когда перестанетъ требовать его, когда откровенно побѣдитъ въ себѣ дуализмъ, идеализмъ, метафизическую отвлеченность, когда ея совершеннолѣтній языкъ отучится отъ робости передъ словами, отъ трепета передъ умозаключеніемъ; ея власть будетъ признана тогда болѣе, нежели признана она будетъ дѣйствительно; иначе, объявляй себя сколько хочешь абсолютной, никто не повѣритъ, и частныя науки останутся при своихъ фе-

деральныхъ понятіяхъ.*) Философія развиваетъ природу и сознаніе a priori, и въ этомъ ея творческая власть; но природа и исторія тѣмъ и велики, что онѣ не нуждаются въ этомъ a priori: онѣ сами представляютъ живой организмъ, развивающій логику a posteriori. Что тутъ за мѣстничество? Наука одна; двухъ наукъ нѣтъ, какъ нѣтъ двухъ вселенныхъ; споконъ-вѣка сравнивали науки съ вѣтвящимся деревомъ — сходство чрезвычайно-вѣрное; каждая вѣтвь дерева, даже каждая почка имѣетъ свою относительную самобытность; ихъ можно принять за особыя растенія; но совокупность ихъ принадлежитъ одному цѣлому, живому *растенію этихъ растеній* — дереву; отнимите вѣтви — останется мертвый пень, отнимите стволъ—вѣтви распадутся. Всѣ отрасли вѣдѣнія имѣютъ самобытность, замкнутость, но въ нихъ непремѣнно вошло нѣчто данное, впередъ-идущее, не ими узаконенное; онѣ собственно органы, принадлежащіе одному существу; отдѣлите органъ отъ организма, и онъ перестанетъ быть проводникомъ жизни, сдѣлается мертвою вещью: и организмъ, въ свою очередь лишенный органовъ, сдѣлается искаженнымъ трупомъ, кучею частицъ. Жизнь есть сохраняющееся единство многоразличія, единство цѣлаго и частей; когда нарушена связь между ними, когда единство, связующее и хранящее, нарушено, тогда каждая точка начинаетъ свой процессъ; смерть и гніеніе трупа — полное освобожденіе частей. Еще сравненіе. Частныя науки составляютъ планетный міръ, имѣющій средоточіе, къ которому онъ отнесенъ и отъ котораго получаетъ свѣтъ; но, го-

*) Въ исторіи все *относительно* абсолютно; безотносительно-абсолютное—логическое отвлеченіе, которое за предѣлами логики тотчасъ дѣлается относительнымъ.

воря такъ, мы не забудемъ, что свѣтъ дѣло двухъ моментовъ, а не одного; безъ планетъ не было бы солнца. Вотъ этого-то органическаго соотношенія между фактическими науками и философіей нѣтъ въ сознаніи нѣкоторыхъ эпохъ, и тогда философія погрязаетъ въ абстракціяхъ, а положительныя науки теряются въ безднѣ фактовъ. Такая ограниченность рано или поздно должна найти выходъ: эмпирія перестанетъ бояться мысли, мысль въ свою очередь не будетъ пятиться отъ неподвижной чуждости міра явленій; тогда только вполнѣ побѣдится внѣ-сущій предметъ, ибо ни отвлеченная метафизика, ни частныя науки не могутъ съ нимъ совладѣть: одна спекулятивная философія, выращенная на эмпиріи—страшный горнъ, передъ огнемъ котораго ничто не устоитъ. Частныя науки конечны, онѣ ограничены двумя впередъидущими: предметомъ, твердо стоящимъ внѣ наблюдателя, и личностію наблюдателя, прямо-противоположною предмету. Философія снимаетъ логикой личность и предметъ, но снимая, она сохраняетъ ихъ. Философія есть единство частныхъ наукъ; онѣ втекаютъ въ нее, онѣ ея питаніе; новому времени принадлежитъ воззрѣніе, считающее философію отдѣльною отъ наукъ; это послѣднее убійственное произведеніе дуализма; это одинъ изъ самыхъ глубокихъ разрѣзовъ его скальпеля. Въ древнемъ мірѣ, беззаконной борьбы между философіей и частными науками вовсе не было; она вышла рука-объ-руку изъ Іоніи и достигла своей апоѳеозы въ Аристотелѣ.*) Дуализмъ, составлявшій славу схоластики, носилъ въ себѣ необходимымъ послѣдствіемъ расторженіе на отвлеченный идеализмъ и отвле-

*) Сократъ смотрѣлъ на физическія науки какъ-то въ родѣ нашихъ филологовъ; но это была временная размолвка.

ченную эмпирію; онъ проводилъ свой безпощадный ножъ между самымъ неразрывнѣйшимъ, между родомъ и недѣлимымъ, между жизнію и живымъ, между мышленіемъ и тѣми, которые мыслятъ; и у него по той и другой сторонѣ ничего не оставалось, или, хуже, оставались призраки, принимаемые за дѣйствительность, философія, не опертая на частныхъ наукахъ, на эмпиріи, — призракъ, метафизика, идеализмъ. Эмпирія, довлѣющая себѣ внѣ философіи,—сборникъ, лексиконъ, инвентарій—или, если это не такъ, она невѣрна себѣ. Мы сейчасъ увидимъ это.

Фактъ, бросающійся съ перваго взгляда въ физическихъ наукахъ, состоитъ въ томъ, что естествоиспытатели только говорятъ, что они не выходятъ изъ эмпиріи; а въ сущности они почти никогда не остаются въ ней; они выходятъ изъ предѣловъ опытнаго вѣдѣнія, не давая себѣ отчета, что дѣлаютъ; безсознательно идти въ дѣлѣ наукъ невозможно, не сбившись съ дороги; для того, чтобъ дѣйствительно перейти предѣлы какого-либо логическаго момента, надобно, по крайней мѣрѣ, понять, въ чемъ именно ограниченность исчерпанной формы: ничто въ свѣтѣ не путаетъ такъ понятій, какъ безсознательный выходъ изъ одного момента въ другой. Пока естествовѣдѣніе въ самомъ дѣлѣ остается въ предѣлахъ эмпиріи, оно превосходно дагерротипируетъ природу, оно переводитъ сущее, частное, феноменальное на всеобщій языкъ; это подробный и необходимый кадастръ недвижимаго имѣнія науки, это матеріалъ, способный на дальнѣйшее развитіе, которое, однако, можетъ очень долго не быть: оставаться въ предѣлахъ такой эмпиріи въ самомъ дѣлѣ трудно, почти невозможно; на это надобно бездну воздержности, бездну самоотверженія, геніальность Кювье, или тупость

какого-нибудь недальняго спеціалиста. Естествоиспытателямъ, такъ громко и безпрерывно превозносящимъ опытъ, въ сущности описательная часть скоро надоѣдаетъ. Имъ явнымъ образомъ не хочется оставаться при одномъ добросовѣстномъ перечнѣ; они чувствуютъ, что это не наука, стремятся замѣшать мышленіе въ дѣло опыта, освѣтить мыслію то, что въ немъ темно, и тутъ обыкновенно они запутываются и теряются въ худопонятыхъ категоріяхъ, идутъ зря, не даютъ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, боятся выпустить изъ рукъ предметъ, данный чувственной достовѣрностью, не замѣчая, что онъ давно уже измѣнился; боятся довѣриться мышленію, и, невольно увлекаемые въ потокъ діалектическаго движенія, разлагаютъ предметъ на его противоположныя опредѣленія, утрачивая возможность соединить разъединенныя начала. Стремленіе выйдти изъ эмпиріи совершенно-естественно, — исключительность противна духу человѣческому. Чисто-эмпирическое отношеніе къ природѣ имѣетъ животное, но за то животное относится только практически къ окружающему міру; оно не довольствуется страдательнымъ разсматриваніемъ естественныхъ произведеній, и ѣстъ ихъ, или идетъ прочь. Человѣкъ чувствуетъ непреодолимую потребность всходить отъ опыта къ совершенному усвоенію даннаго знаніемъ; иначе это данное его тѣснитъ, его надобно *переносить* (subir), что несовмѣстно съ свободой духа. Отъ-того-то закоснѣлѣйшіе враги логики и философіи не могли уберечь себя отъ теоретическихъ мечтаній, иногда неуступающихъ въ нелѣпости самому трансцендентальному идеализму. Развѣ химики не имѣли своей „quinta essentia,“ своего „всемірнаго газа“, своихъ теорій происхожденія, своей теоріи металловъ, своей теоріи флогистонаи п р.? Дѣло въ томъ, что человѣкъ больше у себя

въ мірѣ теологическихъ мечтаній, нежели въ многоразличіи фактовъ. Собраніе матеріаловъ, разборъ, изученіе ихъ чрезвычайно важны; но масса свѣдѣній, непережженыхъ мыслію, не удовлетворяетъ разуму. Факты и свѣдѣнія представляютъ необходимые документы производимаго слѣдствія, — но судъ и приговоръ впереди; онъ оснуется на документахъ, но произнесетъ *свое*. Факты—это только скопленіе однороднаго матеріала, а не живой ростъ, какъ бы сумма частей ни была полна. Эмпирики, понимая это инстинктуально, переходятъ къ разсудочнымъ отвлеченіямъ, думая ими уловить цѣлое по частямъ; такимъ образомъ, они теряютъ предметъ, сущій на самомъ дѣлѣ, замѣняя его отвлеченіями, сущими только въ умѣ. Еслибъ они откровенно довѣрялись мышленію, оно ихъ вывело бы изъ односторонности той же діалектической необходимостью, которая заставила ихъ отъ непосредственнаго бытія перейдти къ разсудочнымъ посредствамъ; оно привело бы ихъ къ сознанію конечности такого знанія, къ сознанію нелѣпости — остановиться въ безвыходномъ круговоротѣ причинъ и дѣйствій, въ которомъ каждая причина дѣйствіе и каждое дѣйствіе причина, въ странномъ разъединеніи формы и содержанія, силы и проявленія, сущности и бытія. Но они не довѣряются мышленію; еще болѣе: видя неудачныя попытки добраться до истины путемъ разсудочнаго движенія, они сильнѣе предубѣждаются противъ всякаго мышленія; они раскаяваются въ томъ, что потеряли время внѣ эмпирической сферы. Но зачѣмъ же они употребляютъ логическія дѣйствія, не давая себѣ отчета въ ихъ смыслѣ? Они воображаютъ, что если они переходятъ изъ эмпиріи къ объясненіямъ, то весь предметъ у нихъ цѣлъ и сохраненъ; въ то время, какъ отвлеченныя категоріи не

имѣютъ силы зачерпнуть его такъ, какъ онъ есть, разсудокъ, какъ галваническій снарядъ, или вовсе не дѣйствуетъ, или дѣйствуетъ разлагая на двѣ противоположности,—который бы результатъ его ни взяли. Онъ одностороненъ, онъ — составная часть. Въ эту туманную среду разсудочнаго движенія поднимаются эмпирики и не идутъ дальше, — между-тѣмъ, эта среда истинна только какъ переходъ, какъ путь, цѣль котораго — быть пройденнымъ; еслибъ поняли смыслъ разсудочной науки, тогда призрачная преграда между опытомъ и умозрѣніемъ уничтожилась бы сама собою; теперь же эмпирія на философію и философія на эмпирію смотрятъ именно сквозь эту среду и видятъ другъ друга съ искаженными чертами: эмпирія, встрѣчая усѣченную, недѣйствительную разсудочную истину, думаетъ, что это вина самаго мышленія; философія ее же принимаетъ за результатъ опытнаго вѣдѣнія. Остановиться на рефлексіи — хуже, нежели остановиться на эмпиріи: все нелѣпое, все смѣшное, что вы встрѣтите въ физическихъ наукахъ, происходитъ именно отъ внѣшнихъ размышленій и объяснителъныхъ теорій.*)

*) Предоставляю себѣ впослѣдствіи показать нѣсколько разительныхъ примѣровъ теоретическихъ нелѣпостей наукъ положительныхъ; теперь укажу вамъ только на всѣ существующіе курсы физики Біо, Ламе, Ге-Люссака, Депре, Пулье, и пр., и пр. Химія занимается больше дѣломъ; ея предметъ конкретнѣе, эмпиричнѣе; но физика отвлеченнѣе по своимъ вопросамъ, и потому она представляетъ торжество ипотетическихъ объяснительныхъ теорій (т. е. такихъ, о которыхъ знаютъ, что онѣ вздоръ). Съ самаго начала въ физикѣ гибнетъ эмпирическій предметъ; являются одни общія свойства, матерія, силы, потомъ вводятся какіе-то внѣшніе агенты; электричество, магнетизмъ и проч., даже бѣдную теплоту попробовали олицетворить — въ теплотворѣ; греческій антропоморфизмъ природы — только сухой, неизящный. А теорія свѣта? Двѣ противоположныя теоріи свѣта, обѣ опровергаемыя, обѣ признанныя, потому что есть явленія, которыя объ-

Натуралисты, дошедшіе до разсудочнаго движенія, воображаютъ, что анализъ, аналогія и наконецъ наведеніе, какъ дальнѣйшее развитіе обоихъ,—единственныя средства узнать предметъ, оставляя его неприкосновеннымъ какъ онъ былъ; а этого-то именно и не нужно и невозможно. Во-первыхъ, анализъ не оставляетъ камня на камнѣ въ данномъ предметѣ и кончитъ всякій разъ тѣмъ, что сведетъ данное эмпиріей на отвлеченныя всеобщности; онъ правъ: онъ дѣлаетъ свое дѣло; не правы употребляющіе его безъ отчета о его дѣйствіи и останавливающіеся на немъ. Во-вторыхъ, желаніе оставить предметъ, какъ онъ есть, и понять его, не разрѣшая въ мысль, не только иллогизмъ, но просто нелѣпость: частный предметъ, явленіе, остается неприкосновеннымъ, если человѣкъ, не думая о немъ, смотритъ на него, когда онъ къ нему равнодушенъ; если

ясняются по одной, а другія по другой! И какъ его не опредѣляютъ: и жидкостью, и силой, и невѣсомымъ! Почему онъ жидкость, когда невѣсомый,—да такая легкая жидкость? отчего же гранитъ не считать претяжелой жидкостью? и что за жалкое опредѣленіе невѣсомости!— свѣтъ сверхъ того и не пахучее? *Сила*—тоже не лучше! Почему не сказать: свѣтъ—*дѣйствіе?* На силу все можно свести, какъ на достаточную причину явленія. Отчего звука никто не называетъ ни жидкостью, ни силой (хотя Гассенди и толковалъ объ атомахъ звука)? Отчего никто не называетъ очертанія тѣла невѣсомой формой его? На это возразятъ, что форма присуща тѣлу, звукъ—сотрясеніе воздуха. А развѣ кто нибудь видѣлъ все обществo imponderabilium внѣ тѣлъ, такъ самихъ по себѣ?—„Да это все одни временныя опредѣленія для того, чтобъ какъ нибудь не растеряться; мы сами этимъ теоріямъ не придаемъ важности.“ Очень хорошо; но вѣдь когда нибудь надобно же и серьезно заняться смысломъ явленій; нельзя все шутить; принимая для практической пользы неосновательныя ипотезы, наконецъ совершенно собьемся съ толку. Эта метода дѣлаетъ страшный вредъ учащимся, давая имъ *слова* вмѣсто понятій, убивая въ нихъ вопросъ ложнымъ удовлетвореніемъ. „Что есть электричество“? — „Невѣсомая жидкость.“ Не правда ли, что лучше было бы, еслибъ ученикъ отвѣчалъ: „не знаю“?..

онъ его назоветъ, то уже онъ не оставилъ его въ сферѣ частностей, а поднялъ во всеобщее. Какъ же понять смыслъ явленія, не вовлекая его въ логическій процессъ (не прибавляя ничего отъ себя, какъ обыкновенно выражаются)? Логическій процессъ есть единственное всеобщее средство человѣческаго пониманія; природа не заключаетъ въ себѣ всего смысла своего, — въ этомъ ея отличительный характеръ; именно мышленіе и дополняетъ, развиваетъ его; природа только существованіе, и отдѣляется, такъ сказать, отъ себя въ сознаніи человѣческомъ, для того, чтобъ понять свое бытіе: мышленіе дѣлаетъ не чуждую добавку, а продолжаетъ необходимое развитіе, безъ котораго вселенная не полна,— то самое развитіе, которое начинается со стихійной борьбы, съ химическаго сродства, и оканчивается самопознающимъ мозгомъ человѣческой головы. Хотятъ умъ сдѣлать страдательнымъ пріемникомъ, особаго рода зеркаломъ, которое отражало бы данное, не измѣняя его, то есть, во всей его случайности, не усвоивая тупо, безсмысленно; а данное, сущее во времени и пространствѣ, хотятъ сдѣлать дѣятельнымъ началомъ, — это прямо противоположно естественному порядку. Оттого оно, въ самомъ дѣлѣ, никогда и не удается: воображая ходить на головѣ, ходятъ на ногахъ. Объяснять внѣшнимъ образомъ предметъ — значитъ сознаваться, что нельзя его понять; объяснять предметъ подобіемъ — средство иногда полезное, но большей частію бѣдное: никто не прибѣгаетъ къ аналогіи, если можетъ ясно и просто высказать свою мысль. Не даромъ французы говорятъ: comparaison n'est pas raison. Въ самомъ дѣлѣ, строго-логически, ни предмету, ни его понятію дѣла нѣтъ, похожи ли они на что нибудь, или нѣтъ; изъ того, что двѣ вещи похожи другъ на друга извѣстными

сторонами, нѣтъ еще достаточнаго права заключать о сходствѣ неизвѣстныхъ сторонъ. Въ какія грубыя ошибки, напримѣръ, впадала геологія, желая обобщать факты, выведенные изученіемъ Альпійскихъ Горъ, къ другимъ полосамъ! Когда извѣстенъ общій законъ, то вы ищете его въ частномъ случаѣ не по одной аналогіи съ другими явленіями, но по логической необходимости. Часто аналогія вытѣсняетъ одно эмпирическое представленіе другимъ; это по-просту называется отводить глаза. Вы ждете, напрпмѣръ, объясненія, какимъ образомъ общее чувствилище передаетъ нерву, нервъ мышцамъ движеніе вашей души, а вамъ вмѣсто понятія подсовываютъ образъ музыканта, натянутыхъ струнъ, передающихъ фантазію художника; простой вопросъ усложняется; это подобное можно опять свести на что нибудь подобное, и первоначальный предметъ совершенно затеряется въ сходствѣ: это та самая метода, по которой человѣческій портретъ рядомъ подобныхъ копій сводится на изображеніе фрукта. Сюда же принадлежатъ насильно стѣсняемыя представленія, будто бы для вящей понятности: „Если мы представимъ себѣ, что лучъ свѣта состоитъ изъ безконечно-малыхъ шариковъ эѳира, касающихся другъ друга....“ Зачѣмъ же я стану себѣ представлять, что свѣтъ солнца падаетъ на меня такъ, какъ дѣти яйца катаютъ, когда я увѣренъ, что это не такъ? Въ физическпхъ наукахъ принято за обыкновеніе допускать подобнаго рода ипотезы, то есть, условную ложь для объясненія; но ложь не остается внѣ объясненія (иначе она была бы вовсе ненужна), а проникаетъ въ него, и вмѣсто истины получается странная смѣсь изъ эмпирической правды съ логической ложью; эта ложь рано или поздно обличается и по справедливости заставляетъ сомнѣваться въ истинѣ, спаянной съ нею:

химія и физика принимаютъ атомы, — лѣтъ двадцать тому назадъ атомы составляли основаніе всѣхъ химическихъ изслѣдованій. Принимая ихъ, васъ предупреждаютъ обыкновенно на первой страницѣ, что естествоиспытателямъ собственно дѣла нѣтъ, въ самомъ ли дѣлѣ тѣла состоятъ изъ крупинокъ чрезвычайно-недѣлимыхъ, невидимыхъ, но имѣющихъ свойства, объемъ и вѣсъ, или нѣтъ, — что ихъ принимаютъ такъ для удобства. Такимъ лѣнивымъ приниманіемъ они сами уронили свою теорію; они виноваты въ томъ, что прошедшая философія нападала на атомизмъ съ злымъ ожесточеніемъ; она разсматривала его въ томъ бѣдномъ видѣ, въ которомъ атомизмъ излагался въ введеніяхъ къ курсамъ физики и химіи. Древніе атомисты вовсе не шутили атомами; отправляясь отъ точки зрѣнія, хотя односторонней, но необходимой въ общемъ развитіи, стройно и послѣдовательно, дошли до атомизма; атомъ былъ ими противопоставленъ элеатическому воззрѣнію, распускавшему въ отвлеченіяхъ все сущее; въ атомахъ они видѣли повсюдную средоточность вещества, безконечную индивидуализацію его, *для себя бытіе*, такъ сказать, *каждой точки*. Это одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ, существенныхъ моментовъ пониманія природы: въ ея понятіи необходимо лежитъ эта разсыпчатость и цѣлость каждой части, такъ же, какъ непрерывность и единство; само собою разумѣется, что атомизмъ не исчерпываетъ понятія природы (и въ этомъ онъ похожъ на динамизмъ); въ немъ пропадаетъ всеобщее единство; въ динамизмѣ части стираются и гибнутъ; задача въ томъ, чтобъ всѣ эти, для себя сущія искры слить въ одно пламя, не лишая ихъ относительной самобытности. Динамизмъ и атомизмъ явились, при входѣ въ нашу эру, торжественно, громадно, во всепоглащающей сущ-

ности Спинозы и въ монадологіи Лейбница. Это двѣ величавыя грани, это два геркулесова столба возродившейся мысли, воздвигнутые не для того, чтобъ дальше нельзя было идти, а для того, чтобъ нельзя было возвратиться назадъ. Мы будемъ имѣть случай поговорить въ слѣдующихъ письмахъ о монадологіи, объ атомахъ Гассенди,—но вы ужь изъ этого видите, что атомизмъ для мыслителей не былъ шуткой, что атомы представляли для нихъ мысль, истину; атомизмъ составлялъ убѣжденіе, вѣрованіе Левкипа, Демокрита и др. Физики же съ перваго слова согласны, что ихъ теорія, можетъ быть, вздоръ, но вздоръ облегчительный. А почему же они предаютъ атомы и соглашаются, что можетъ быть вещество не изъ атомовъ? На томъ же прекрасномъ основаніи лѣни и равнодушія, на которомъ принимаютъ всякаго рода предположенія! Если откровенно выразиться, то это можно назвать цинизмомъ въ наукѣ. Пулье говоритъ: „можетъ быть вулканы выбросятъ когда нибудь такія тѣла, у которыхъ атомы будутъ видимы.“ Какое же понятіе послѣ этого сопрягаетъ Пулье съ словомъ „атомъ“? А между тѣмъ, рядомъ съ ними покровительница и благодѣтельница физики — математика такъ логически, такъ ясно показываетъ сознательное, раціональное пониманіе подобныхъ отвлеченій. Математика говоритъ, что линія—безконечное количество точекъ, въ извѣстномъ порядкѣ расположенныхъ; она принимаетъ возможность безконечной дѣлимости пространства; но она понимаетъ то, что говоритъ, она понимаетъ не *дѣйствительность*, а *отвлеченную возможность* дѣлимости; еще болѣе, она вмѣстѣ съ тѣмъ понимаетъ и непремѣнное протяженіе, и то, что дѣйствительная форма есть форма стереометрическая; она съ мыслію беретъ точку, линію, площадь и въ сознанныхъ

ею предѣлахъ. Оттого ни одинъ математикъ не ждетъ аэролита, у котораго точки были бы замѣтны, или у котораго бы поверхность отваливалась отъ тѣла. Отъ того математикъ никогда не станетъ дѣлать опытовъ *безконечнаго дѣленія,* не станетъ ни драть слюды, ни капать чернилъ въ бочку воды и послѣ пугать дѣтей разсчетомъ, какая доля чернилъ въ одной этой каплѣ воды. Онъ знаетъ, еслибъ безконечная дѣлимость была *фактически-возможною,* то она не была бы *безконечною.* Безъ всякаго сомнѣнія, математика ушла несравненно дальше въ мышленіи противъ физики; одна теорія безконечно-малыхъ доказываетъ это; она не могла стереть съ себя близость съ логикой, не смотря на всѣ старанія; впрочемъ, не надобно забывать (такъ какъ это дѣлаютъ математики), что она, отъ Пиѳагора начиная, была преимущественно развиваема философами; Декартъ, Лейбницъ, даже Кантъ оживили ее, и, конечно, Лейбницъ не случайно дошелъ отъ монадологіи до дифференціаловъ... Но возвратимся къ нашему предмету.

Натуралисты готовы дѣлать опыты, трудиться, путешествовать, подвергать жизнь свою опасности, но не хотятъ дать себѣ труда подумать, поразсудить о своей наукѣ. Мы уже видѣли причину этой мыслебоязни; отвлеченность философіи и всегдашняя готовность перейдти въ схоластическій мистицизмъ или въ пустую метафизику, ея мнимая замкнутость въ себѣ, ея довольство, ненуждающееся ни природой, ни опытомъ, ни исторіей, должно было оттолкнуть людей, посвятившихъ себя естествовѣдѣнію. Но такъ какъ всякая односторонность вмѣстѣ съ плодами производитъ и плевелы, то и естественныя науки должны были поплатиться за узкость своего воззрѣнія, не смотря на то, что оно было втѣснено узкостію противоположной стороны. Бо-

язнь ввѣриться мышленію и невозможность знать безъ мышленія — отразилась въ ихъ теоріяхъ; онѣ личны, шатки, неудовлетворительны; каждое новое открытіе грозитъ разрушить ихъ; онѣ не могутъ развиваться, а замѣняются новыми. Принимая всякую теорію за личное дѣло, внѣшнее предмету, за удобное размѣщеніе частностей, натуралисты отворяютъ дверь убійственному скептицизму, а иногда и поразительнымъ нелѣпостямъ. Явленіе гомеопатіи, напримѣръ, само по себѣ неудивительно: во всѣ времена и во всѣхъ отрасляхъ вѣдѣнія были странныя попытки новыхъ ученій, въ которыхъ непремѣнно гнѣздится маленькая истина въ огромной лжи; еще неудивительно, что дамамъ и парадоксальнымъ умамъ понравилось лечить зернышками: они потому и повѣрили въ гомеопатію, что она совершенно невѣроятна. Но какъ объяснить расколъ, овладѣвшій, лѣтъ десять тому назадъ, учеными врачами? Гомеопатическія лечебницы устраивались, издавались журналы, въ каталогахъ книгъ была особая рубрика Homeopatische Arzneikunde? Причина одна: медицина, какъ и всѣ естественныя науки, при всемъ богатствѣ матеріаловъ наблюденій, дойдетъ до того конца развитія, котораго жаждетъ человѣкъ, какъ животворнаго начала истины и которое одно можетъ удовлетворить его. Естествоиспытатели и медики ссылаются всегда на то, что имъ еще не до теоріи, что у нихъ еще не всѣ факты собраны, не всѣ опыты сдѣланы, и т. д. Можетъ быть, собранные матеріалы въ самомъ дѣлѣ недостаточны, даже навѣрное такъ; но не говоря о томъ, что фактовъ безконечное множество, и что сколько ихъ ни собирай, до конца все не дойдешь, это не мѣшаетъ поставить надлежащимъ образомъ вопросъ, развить дѣйствительныя требованія, истинныя понятія объ отноше-

ніи мышленія къ бытію*). Нарощеніе фактовъ и углубленіе въ смыслъ нисколько не противорѣчатъ другъ другу. Все живое, развиваясь, ростетъ по двумъ направленіямъ: оно увеличивается въ объемѣ и въ то же время сосредоточивается; развитіе наружу естъ развитіе внутрь: дитя растетъ тѣломъ и умнѣетъ; оба развитія необходимы другъ для друга и подавляютъ другъ друга только при одностороннемъ перевѣсѣ. Наука — живой организмъ, посредствомъ котораго отдѣляющаяся въ человѣкѣ сущность вещей развивается до совершеннаго самопознанія; у нея тѣ же два роста; наращеніе извнѣ наблюденіями, фактами, опытами — это ея питаніе, безъ котораго она не могла бы жить; но внѣшнее пріобрѣтеніе должно *переработаться* внутреннимъ началомъ, которое одно даетъ жизнь и смыслъ кристаллизующейся массѣ свѣдѣній. Приращеніе фактическое, подобно осаждающемуся раствору, безпрерывно растетъ, тихо по песчинкѣ набираетъ слои, не теряетъ ничего попавшаго прежде, всегда готово принять новое, не дѣлая, впрочемъ, для него ничего болѣе пріема; это развитіе безконечнаго успѣха, движеніе прямолинейное, безпредѣльное, апатическое, утоляющее и усиливающее жажду въ одно и то же время, потому что за рядами подробностей открываются новые ряды, и т. д.; *только* этимъ путемъ нельзя достигнуть полнаго и истиннаго знанія, — а это есть исключительный путь фактическихъ наукъ. Разумъ, дѣйствуя нормально, развиваетъ самопознаніе; обогащаясь свѣдѣніями, онъ открываетъ въ себѣ то

*) Хотя Александръ Македонскій и посылалъ Аристотелю всякихъ животныхъ, но онъ навѣрное зналъ ихъ меньше, нежели Ла-Маркъ, что ему не помѣшало раздѣлить животныхъ на Schorophora и Natatophora, а это совпадаетъ съ Vertebrata и Avertebrata Ла-Марка.

идеальное средоточіе, къ которому все отнесено, ту безконечную форму, которая все пріобрѣтенное употребитъ на пластическое самовыполненіе, ту животворную монаду, которая своей мощью огибаетъ около себя прямолинейный и безконечный путь безцѣльнаго эмпирическаго развитія и даетъ ему мѣту не внѣ, а внутри себя; тамъ, и только тамъ открывается человѣку истина сущаго, и эта истина — онъ самъ, какъ разумъ, какъ развивающееся мышленіе, въ которое со всѣхъ сторонъ втекаютъ эмпирическія свѣдѣнія для того, чтобъ найти свое начало и свое послѣднее слово. Этотъ разумъ, эта сущая истина, это развивающееся самопознаніе,— назовите его философіей, логикой, наукой, или просто человѣческимъ мышленіемъ, спекулативной эмпиріей, или какъ хотите,— безпрерывно превращаетъ данное эмпирическое въ ясную, свѣтлую мысль, усвоиваетъ себѣ все сущее, раскрывая идею его. У человѣка для пониманія нѣтъ иныхъ категорій, кромѣ категорій разума; частныя науки, враждуя противъ логики, дерутся ея орудіями, даже переносятъ ошибки формальнсй логики къ себѣ*).

Странное положеніе естественныхъ наукъ относительно мышленія долго продолжиться не можетъ: онѣ до того богатѣютъ фактами, что нехотя взглядъ ихъ дѣлается яснѣе и яснѣе. Онѣ немпнуемо должны наконецъ будутъ откровенно и не шутя рѣшить вопросъ объ отношеніи мышленія къ бытію, естествовѣдѣнія къ философіи и громко высказать возможность или невозмож-

*) Такъ отвлеченныя силы, причины, поляризація, оттолкновеніе и притяженіе,— все это въ физику перешло изъ логики, изъ математики, и, разумѣется, взятое безъ критики, безъ связи, утратило настоящій смыслъ свой.

ность вѣдѣнія истины, признать, что голова человѣка такъ устроена, что ей *только мерещится* истина, *кажется* такою, что она не можетъ вполнѣ знать или знаетъ только субъективно; что, слѣдственно, знаніе человѣческое — какое-то родовое безуміе, и тогда съ секетомъ эмпириковъ должно сложить руки и, хладнокровно улыбаясь, сказать: „какой вздоръ все это"! или понять все отталкивающее такого взгляда, понять, что разумѣніе человѣка не внѣ природы, а есть разумѣніе природы о себѣ, что его разумъ есть разумъ въ самомъ дѣлѣ единый, истинный, такъ какъ все въ природѣ истинно и дѣйствительно въ разныхъ степеняхъ, и что наконецъ законы мышленія — сознанные законы бытія, что, слѣдственно, мысль нисколько не тѣснитъ бытія, а освобождаетъ его; что человѣкъ не потому раскрываетъ во всемъ свой разумъ, что онъ уменъ и вноситъ свой умъ всюду, а напротивъ, уменъ оттого, что все умно; сознавъ это, прійдется отбросить нелѣпый антагонизмъ съ философіей. Мы сказали, что фактическія науки имѣли полное право отворачиваться отъ прежней философіи; но эта односторонняя фаза, которой историческій смыслъ весьма важенъ, если не совсѣмъ миновала, то явно „агонизируетъ." Философія, неумѣвшая признать и понять эмпирію, хуже того — умѣвшая обойтись безъ нея, была холодна, какъ ледъ, безчеловѣчно строга; законы, открытые ею, были такъ широки, что все частное выпадало изъ нихъ; она не могла выпутаться изъ дуализма, и наконецъ пришла къ своему выходу: сама пошла на встрѣчу эмпиріи, а реализмъ смиренно сходитъ со сцены, въ видѣ романтическаго идеализма — явленія жалкаго, бѣднаго, безжизненнаго, питающагося чужою кровью. Эта школа — послѣдняя представительница реформаціонной схоластики; она

тщетно рвется къ чему-то иному, недосягаемому, несуществующему, къ прекраснымъ дѣвамъ безъ тѣла, къ горячимъ объятіямъ безъ рукъ, къ чувствамъ безъ груди... и о ней скоро скажутъ, какъ о безумной Козлова:

Ждала, ждала,
Не дождалась и умерла!

Мыслители и натуралисты начинаютъ понимать, что имъ другъ безъ друга нѣтъ выхода. Они часто, не зная того, встрѣчаются въ главныхъ основаніяхъ своихъ, останавливаются на тѣхъ же вопросахъ: что же мѣшаетъ имъ вполнѣ объясниться? лѣнь, готовыя понятія, предразсудки, идущіе изъ рода въ родъ и равно сильные съ обѣихъ сторонъ. Предразсудки — великая цѣпь, удерживающая человѣка въ опредѣленномъ, ограниченномъ кружку окостенѣлыхъ понятій; ухо къ нимъ привыкло, глазъ присмотрѣлся, и нелѣпость, пользуясь правами давности, становится обще-принятою истиной. Стоитъ ли разбирать ее? покойнѣе безъ думы, безъ обсуживанія, повторять унаслѣдованныя сужденія, можетъ быть, въ свое время относительно справедливыя, но пережившія свою истину. Цеховые ученые и философы пріобрѣтаютъ извѣстный кругъ понятій, извѣстную рутину, изъ которой не могутъ выйти. Учениками еще принимаютъ они на вѣру основныя начала и никогда не думаютъ болѣе объ нихъ; они увѣрены, что покончили съ ними, что это азбука, на которую смѣшно и не нужно обращать вниманія. Изъ поколѣнія въ поколѣніе передаются схоластическія опредѣленія, раздѣленія, термины и сбиваютъ чистый и прямой смыслъ начинающаго, закрывая ему надолго, часто навсегда возможность отдѣлаться отъ нихъ. Не думайте, что одни ограниченные умы платятъ дань предразсудкамъ

своей касты, — совсѣмъ нѣтъ! Когда Гёте открылъ, описалъ, нарисовалъ человѣческую междучелюстную кость, знаменитый Камперъ сказалъ ему: „все это прекрасно, но вѣдь os intermoxillare не существуетъ въ человѣческой челюсти.“ Разсказывая это, Гёте не вытерпѣлъ, чтобъ не присовокупить*): „Можетъ быть, назовутъ юношеской заносчивостію, когда непосвященный ученикъ осмѣливается противорѣчить записному мастеру своего дѣла и старается доказать, что онъ вопреки ему правъ; но многолѣтніе опыты научили меня иначе понимать. Вѣчно повторяемыя фразы костенѣютъ въ умѣ, наконецъ дѣлаются неподвижными убѣжденіями, и *органы воззрѣнія становятся тупы*.... Бывали примѣры, что отличные люди въ своемъ ремеслѣ (Handwerk) иной разъ сворачивали нѣсколько съ торной колеи, но главной дороги они никогда не покидаютъ; они боятся новыхъ путей; имъ все-таки кажется вѣрнѣе держаться стараго.“ „Свѣжій человѣкъ“ говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ „не закупленъ; его здоровый глазъ сразу можетъ увидѣть то, чего приглядѣвшійся не видитъ болѣе. Сверхъ этого подчиненія себя привычкѣ и давнопринятому, натуралистовъ останавливаетъ, задерживаетъ странное понятіе о личномъ правѣ въ наукѣ: они истину изобрѣтаютъ такъ, какъ снаряды. Жоффруа Сент-Илеръ, геніальный человѣкъ, безъ всякаго сомнѣнія, чувствовалъ яснѣе другихъ потребность опереть естествовѣдѣніе на болѣе твердыхъ основаніяхъ; онъ добирался до построяющей идеи, до всеобщаго типа, до единства въ многоразличіи естественныхъ произведеній, и проч. Но, замѣтьте, онъ все это хотѣлъ сдѣлать помимо родоваго мышленія человѣчества; онъ воображалъ,

*) Göthe's Werke T. xxxvi, zur Osteologie etc.

что онъ самъ лично выдумаетъ все это, требовалъ привилегіи на открытіе. Подобно ему, каждый мыслящій естествоиспытатель придумываетъ отъ себя начало, беретъ въ основу нѣсколько мыслей, ему особенно нравящихся, проводитъ ихъ черезъ всю книгу — и теорія готова. Совершенная отрѣзанность естествовѣдѣнія и философіи часто заставляетъ цѣлые годы трудиться для того, чтобъ приблизительно открыть законъ, давно извѣстный въ другой сферѣ, разрѣшить сомнѣніе, давно разрѣшенное: трудъ и усиліе тратятся для того, чтобъ во второй разъ открыть Америку, для того, чтобъ проложить тропинку — тамъ, гдѣ есть желѣзная дорога. Вотъ плодъ раздробленія наукъ, этого феодализма, окапывающаго каждую полоску земли валомъ и чеканящаго свою монету за нимъ. Философъ знать не хочетъ факты, кичится невѣдѣніемъ практическихъ интересовъ и какъ только начнетъ изъ своихъ всеобщихъ законовъ снисходить къ частности, т. е. къ дѣйствительности — теряется; эмпирикъ — наоборотъ.

Однакоже, съ начала нашего вѣка начало раздаваться слово *примиреніе;* оно раздавалось не даромъ: туманъ начинаетъ падать. Разсказъ главныхъ событій этого замиренія будетъ предметомъ будущихъ писемъ; теперь только нѣсколько словъ вообще.

Къ концу XVIII вѣка, въ тиши кабинетовъ, въ головахъ мыслителей готовился такой же грозный и сильный переворотъ, какъ въ мірѣ политическомъ. Состояніе умовъ было страшно; все кругомъ рушилось — общественный бытъ, понятія о добрѣ и злѣ, довѣріе къ природѣ, къ человѣку, къ вѣрѣ, и, вмѣсто утѣшенія, критическая философія и скептическій эмпиризмъ. Два невѣрія, два скептицизма — и развалины кругомъ. Критическая философія нанесла страшный ударъ идеа-

лизму; сколько ни боролся противъ него эмпиризмъ, идеализмъ устоялъ; но вышелъ человѣкъ изъ среды его и тяжелымъ ударомъ поставилъ его на краю гроба. Великъ былъ этотъ человѣкъ въ своей безпощадной, неподкупной логикѣ; распаденіе его съ догматизмомъ было глубоко, обдуманно; онъ искалъ одной истины и не останавливался ни передъ чѣмъ; онъ поставилъ эти страшные каудинскіе фуркулы, называемые антиноміями, и хладнокровно прогналъ подъ нихъ святѣйшія достоянія мысли человѣческой. Вполнѣ воскреснуть идеализму послѣ Канта было невозможно, развѣ въ какихъ нибудь частныхъ, абнормальныхъ явленіяхъ; все склонилось передъ геніальной мощью его. Но воззрѣніе это тяжко; была сильна стоическая грудь Фихте, но и та не могла его вынести; невозможность безусловнаго знанія клала непереходимую грань между человѣкомъ и истиной. Отъ такого воззрѣнія можно сойти съ ума, впасть въ отчаяніе. Гердеръ, Якоби старались спасти отъ кантовскаго кораблекрушенія идеи имъ милыя и дорогія — но чувство дурной оплотъ въ логическомъ бою; наконецъ нашлась адамантовая грудь, спокойно и безшумно противопоставившая критической философіи свой глубокій реализмъ — это былъ Гёте. Онъ былъ одаренъ въ высшей степени прямымъ взглядомъ на вещи; онъ зналъ это и на все *смотрѣлъ самъ*; онъ не былъ школьный философъ, цеховой ученый — онъ былъ мыслящій художникъ; въ немъ первомъ возстановилось дѣйствительно-истинное отношеніе человѣка къ міру, его окружающему; онъ собою далъ естествоиспытателямъ великій примѣръ. Безъ всякихъ дальнихъ приготовленій, онъ сразу бросается in medias res; тутъ онъ эмпирикъ, наблюдатель; но смотрите, какъ растетъ, развивается изъ его наглядки понятіе даннаго предмета, какъ оно раз-

вертывается, опертое на свое бытіе, и какъ въ концѣ раскрыта мысль всеобъемлющая, глубокая. Прочитайте его „Metamorphose der Pflanzen," прочитайте его остеологическія статьи, и вы разомъ увидите, что такое реальное, истинное пониманіе природы, что такое спекулативная эмпирія. Для него мысль и природа — aus einem Guss „Oben die Geister uud unten der Stein," для него природа — жизнь, та же жизнь, которая въ немъ, и потому она ему понятна, и болѣе того: она звучна въ немъ и сама повѣствуетъ намъ свою тайну. Вслѣдъ за нимъ, изъ среды отвлеченной науки раздался голосъ, опредѣлявшій истину единствомъ бытія и мышленія; онъ обращалъ философію къ природѣ, какъ къ необходимому дополненію, какъ къ своему зеркалу. Торжественно было зрѣлище возвращающагося на землю человѣчества въ лицѣ передовыхъ людей своихъ — въ лицѣ поэта-мыслителя и мыслителя-поэта, склонявшихся на родную грудь общей матери. Это было разомъ возвращеніе блуднаго сына и спасеніе метафизика изъ ямы.

Шеллингъ, какъ Виргилій Данту, только указалъ дорогу, но такъ указываетъ и такимъ перстомъ — одинъ геній. Шеллингъ принадлежитъ къ тѣмъ великимъ и художественнымъ натурамъ, которыя непосредственно, инстинктуально, вдохновенно овладѣваютъ истиной. Въ немъ всегда что-то было родное Платону и Якову Бёму. Этотъ процессъ вѣдѣнія — тайна генія, а не науки; тайны этой онъ передать не можетъ, такъ какъ художникъ не можетъ передать акта творчества; но вдохновенный языкъ его вызываетъ къ истинѣ и къ пониманію, основываясь на предсуществующемъ сочувствіи человѣка къ истинѣ. Шеллингъ — vates науки. Гёте сознавалъ себя такимъ, какимъ онъ былъ; онъ въ письмахъ къ

Шиллеру говоритъ, что у него нѣтъ никакой способности наукообразно развить свои мысли; онъ учитъ на дѣлѣ, онъ до высочайшей степени практиченъ, онъ умѣетъ спускаться въ подробности, не теряя общаго. Шеллингъ, напротивъ, считалъ себя по превосходству философскою, спекулативною натурою, и потому живое свое сочувствіе и предвѣдѣніе старался заморить схоластическою формою; онъ побѣдилъ въ себѣ идеализмъ не на дѣлѣ, а только на словахъ. Его непрактическая, нереальная натура всего яснѣе видна изъ того, что онъ, занимаясь по преимуществу философіей природы, никогда не занялся положительнымъ изученіемъ какой либо отрасли естественныхъ наукъ. Его эрудиція огромна, но онъ знаетъ энциклопедію естествовѣдѣнія,—онъ геніальный дилеттантъ. Гёте, напримѣръ, спеціалистъ, когда это нужно; ученикъ въ анатомическомъ театрѣ, наблюдатель, рисовальщикъ: онъ работалъ, дѣлалъ опыты, изучалъ практически цѣлые годы остеологію; онъ зналъ, что безъ спеціальности общая теорія все будетъ отзываться идеализмомъ; что собственный взглядъ въ естествовѣдѣніи то же, что чтеніе источниковъ въ исторіи; оттого онъ вдругъ, внезапно открываетъ цѣлый міръ, совершенно новую сторону своего предмета. Эмпирики никогда не отрекались отъ Гёте; всѣ великія мысли его приняты ими, оцѣнены*); а Шеллинга, протягивавшаго имъ руку философіи, они не поняли и не признали. Натуралисты, послѣдователи Шеллинга, взяли формальную сторону его ученія; духъ, вѣющій въ его

*) Напримѣръ, его мысль о томъ, что черепъ есть развитіе позвонковъ; его превращеніе частей растенія, os intermaxillare и сотни замѣтокъ остеологическихъ. См. у Жоффруа Сент-Илера, Декандоля, и проч.

писаніяхъ, не былъ ими схваченъ; они не умѣли раздуть искры глубокаго созерцанія, разсѣянныя у него вездѣ, въ свѣтлую струю пламени. Нѣтъ, они соорудили изъ его воззрѣнія какое-то странное зданіе метафизико-сантиментальное; схоластическая сухость сочеталась у нихъ съ чисто-нѣмецкой гемютлихкейтъ. Не то, чтобъ они наукообразно или систематически изложили по началамъ Шеллинга философію природы: они взяли двѣ-три общія формулы сухія и отвлеченныя, и на нихъ прикидывали всѣ явленія, всю вселенную. Эти формулы, точно мѣра въ рекрутскихъ присутствіяхъ: кто бы ни взошелъ въ нее, выйдетъ солдатомъ. Даже тѣ изъ натурфилософовъ, которые принесли много пользы фактической части своей науки, не избѣгли ни формализма, ни сантиментальности. Возьмите, напримѣръ, Каруса: онъ сдѣлалъ бездну пользы физіологіи, но что онъ пишетъ въ своихъ общихъ взглядахъ, въ введеніяхъ? что за разглагольствованіе, что за мысли! Жалѣешь, что дѣльный человѣкъ такъ компрометтируется. Выше ихъ всѣхъ стоитъ Окенъ; но и его нельзя совершенно изъять. Въ природѣ Окена неловко и тѣсно и, сверхъ того не менѣе догматизма какъ у другихъ; видна широкая и многообъемлющая мысль; но въ томъ-то и вина Окена, что она видна, какъ мысль: природа какъ будто употреблена имъ для того, чтобъ подтвердить ее. Естествовѣдѣніе Окена явилось съ нѣмецкимъ притязаніемъ на безусловное значеніе, на оконченную архитектонику. Вспомните замѣчаніе, сдѣланное нами выше, что идеализмъ дѣлается недоступенъ ничему, кромѣ своей idée fixe; онъ не уважаетъ на столько фактическій міръ, чтобъ покоряться его возраженіямъ.

Не помню, гдѣ и когда я читалъ какую-то статью Эдгара Кинѐ о нѣмецкой философіи; статья не очень

важная, но въ ней было премилое сравненіе нѣмецкой философіи съ французской революціею. Кантъ—Мирабо, Фихте—Робеспьеръ, а Шеллингъ—Наполеонъ; вообще, это сравненіе не чуждо нѣкоторой вѣрности; я самъ готовъ сравнить Шеллинга съ Наполеономъ, только обратно Эдгару Кинѐ. Ни имперія Наполеона, ни философія Шеллинга устоять не могли—и по одной причинѣ: ни то ни другое не было вполнѣ организовано и не имѣло въ себѣ твердости, ни отрѣзаться отъ прошлыхъ односторонностей, ни идти до крайняго послѣдствія. Наполеонъ и Шеллингъ явились міру, провозглашая примиреніе противоположностей и снятія ихъ новымъ порядкомъ вещей. Во имя этого новаго порядка вещей, признали Бонапарте императоромъ; пушечный дымъ не помѣшалъ, наконецъ, разглядѣть, что Наполеонъ остался въ душѣ человѣкомъ прошедшаго. Историческій маскарадъ à la Charlemagne въ которомъ Наполеонъ одѣлся очень не къ лицу, окруженный своими герцогами-солдатами, — была intermedia buffa, за которой слѣдовало Ватерлоо съ настоящимъ герцогомъ во главѣ. Шеллингъ въ своей области поступалъ такъ, какъ Наполеонъ: онъ обѣщалъ примиреніе мышленія и бытія; но, провозгласивъ примиреніе противоположныхъ направленій въ высшемъ единствѣ, остался идеалистомъ въ то время, какъ Окенъ учреждалъ шеллинговское управленіе надъ всей природой и „Изида“ — монитёръ натурфилософіи, громко возвѣщала свои побѣды. Шеллингъ одѣвался въ Якова Бёма и начиналъ задумывать реакцію самому себѣ, для того, между прочимъ, чтобъ не сознаться, что онъ обойденъ. Шеллингъ вышелъ вверхъ-ногами поставленный Бёмъ, такъ какъ Наполеонъ вверхъ-ногами поставленный Карлъ Великій. Это худшее, что можетъ быть, потому что чрезвычайно

смѣшно. Яковъ Бёмъ, полный мистическаго созерцанія выходитъ во всѣ стороны къ глубокому философскому воззрѣнію, и если его языкъ труденъ и заключенъ въ схоластико-мистической терминологіи, тѣмъ удивительнѣе геніальность его, что онъ умѣлъ этимъ неловкимъ языкомъ высказать великое содержаніе своей мысли; живъ въ началѣ XVI столѣтія, онъ имѣлъ твердость не останавливаться на буквѣ, имѣлъ мужество принимать консеквенціи страшныя для боязливой совѣсти того вѣка; мистицизмъ не только не подавлялъ его мощнаго разума, но окрылялъ его. Шеллингъ, совсѣмъ напротивъ, сдѣлалъ опытъ отъ глубокаго наукообразнаго воззрѣнія спуститься къ мистическому сомнамбулизму, мысль задѣлать въ іероглифъ. Слѣдствіе этого было очень печальное: люди истинно-религіозные и люди не религіозные отреклись отъ него и уступили ему маленькую Эльбу въ Берлинскомъ Университетѣ. Окенъ остался одинъ съ „Изидой.“ Неудачная борьба съ естествоиспытателями, ихъ непріятная манера возражать фактами, сдѣлали его капризнымъ, ожесточили. Онъ неохотно говоритъ съ иностранцами о своей системѣ; онъ пережилъ эпоху полной славы ея, и развѣ втиши готовитъ что нибудь.... надобно надѣяться, по крайней мѣрѣ, что онъ не попробуетъ писать зоологію стихами, какъ было придумалъ Шеллингъ для своей теоріи. Всѣ успѣхи въ естествовѣдѣніи совершались внѣ натурфилософіи. Эмпирики не довѣряли ей, боялись ея труднаго языка, ея общихъ взглядовъ, ея практическаго настроенія, ея восторженной сантиментальности. Кювьѣ предостерегалъ Парижскую Академію Наукъ отъ зарейнскихъ теорій; Кузенъ еще радикальнѣе предостерегалъ своими лекціями отъ распространенія во Франціи идеализма. Впрочемъ, французы одарены такимъ вѣрнымъ

взглядомъ на вещи, что ихъ нельзя сбить съ толку. Они скоро поймутъ германскую науку. Будьте увѣрены, не тупость французовъ причиною, что германская наука не переплывала Рейна.

Первый примѣръ наукообразнаго изложенія естествовѣдѣнія представляетъ гегелева энциклопедія. Его строгое, твердо-проведенное воззрѣніе почти-современно Шеллингу (онъ читалъ въ первый разъ философію природы — въ 1804 году, въ Іенѣ); имъ замыкается блестящій рядъ мыслителей, начавшійся Декартомъ и Спинозою. Гегель показалъ предѣлъ, далѣе котораго германская наука не пойдетъ; въ его ученіи явнымъ образомъ содержится выходъ не токмо изъ него, но вообще изъ дуализма и метафизики. Это было послѣднее, самое мощное усиліе чистаго мышленія, до того вѣрное истинѣ и полное реализма, что, вопреки себѣ, оно безпрестанно и вездѣ перегибалось въ дѣйствительное мышленіе, Строгія очертанія, гранитныя ступени энциклопедіи не стѣсняютъ содержанія, такъ, какъ бортъ корабля не мѣшаетъ взору погружаться въ безконечность моря. Правда, логика у Гегеля хранитъ свое притязаніе на неприкосновенную власть надъ другими сферами, на единую, всему-довлѣющую полноту; онъ какъ-будто забываетъ, что логика потому именно не жизненная полнота, что она ее побѣдила въ себѣ, что она *отвлеклась* отъ временнаго: она отвлеченна, потому что въ нее вошло одно вѣчное, она отвлеченна — потому что абсолютна, она знаніе бытія — но не бытіе: она выше его — и въ этомъ ея односторонность. Еслибъ природѣ достаточно было знать, — какъ подъ-часъ вырывается у Гегеля, — то, дойдя до самопознаніа, она сняла бы свое бытіе, пренебрегла бы имъ; но ей бытіе такъ же дорого, какъ знаніе: она любитъ жить, а жить

можно только въ вакхическомъ круженіи временнаго; въ сферѣ всеобщаго шумъ и плескъ жизни умолкъ; геній человѣчества колеблется между этими противоположностями; онъ, какъ Харонъ, безпрестанно перевозитъ изъ временной юдоли въ вѣчную, эта переправа, это колебаніе—исторія, и *въ ней* собственно все дѣло, а совсѣмъ не въ томъ, чтобъ переѣхать на ту сторону и жить въ отвлеченныхъ и всеобщихъ областяхъ чистаго мышленія. Не только самъ Гегель понималъ это, но Лейбницъ, полтора вѣка назадъ, говорилъ, что монада безвременнаго, конечнаго бытія расплывается въ безконечность при полной невозможности опредѣлиться, удержать себя; Гегель всею логикою достигаетъ до раскрытія, что безусловное есть подтвержденіе единства бытія и мышленія. Но какъ дойдетъ до дѣла, тотъ же Гегель, какъ и Лейбницъ, приноситъ все временное, все сущее на жертву мысли и духу; идеализмъ, въ которомъ онъ былъ воспитанъ, который онъ всосалъ съ молокомъ, срываетъ его въ односторонность, казненную имъ-самимъ,— и онъ старается подавить духомъ, логикою — природу; всякое частное произведеніе ея готовъ считать призракомъ, на всякое явленіе смотритъ свысока.

Гегель начинаетъ съ отвлеченныхъ сферъ для того, чтобъ дойдти до конкретныхъ; но отвлеченныя сферы предполагаютъ конкретное, отъ котораго онѣ отвлечены. Онъ развиваетъ безусловную идею и, развивъ ее до самопознанія, заставляетъ ее раскрыться временнымъ бытіемъ; но оно уже сдѣлалось ненужнымъ, ибо помимо его совершенъ тотъ подвигъ, къ которому временное назначалось. Онъ раскрылъ, что природа, что жизнь развивается по законамъ логики; онъ фаза въ фазу прослѣдилъ этотъ паралеллизмъ — и это ужъ не

шеллинговы общія замѣчанія, рапсодическія, несвязанныя, а цѣлая система стройная, глубокомысленная, рѣзанная на мѣди, гдѣ въ каждомъ ударѣ отпечатлѣлась гигантская сила. Но Гегель хотѣлъ природу и исторію, какъ *прикладную логику*, — а не логику, какъ отвлеченную разумность природы и исторіи. Вотъ причины, почему эмпирическая наука осталась такъ же хладнокровно-глуха къ энциклопедіи Гегеля, какъ къ диссертаціямъ Шеллинга. Нельзя отрицать глубокаго смысла и вѣрнаго взгляда этихъ жалкихъ эмпириковъ, надъ которыми такъ заносчиво издѣвался идеализмъ. Эмпирія была открытой протестаціей, громкимъ возраженіемъ противъ идеализма—такою она и осталась; что̀ ни дѣлалъ идеализмъ, — эмпирія отражала его. Она не уступила шагу*). Когда Шеллингъ проповѣдовалъ свою философію, большая часть философовъ думала, что время сочетанія науки мышленія съ положительными науками настало: — эмпирики молчали. Философія Гегеля совершила это примиреніе въ логикѣ, приняла его въ основу и развила черезъ всѣ обители духа и природы, покоряя ихъ логикѣ — эмпиризмъ продолжалъ молчать. Онъ видѣлъ, что прародительскій грѣхъ схоластики не совершенно стертъ еще. Безъ сомнѣнія, Гегель поставилъ мышленіе на той высотѣ, что нѣтъ возможности послѣ него сдѣлать шагъ, не оставивъ совершенно за собою идеализма;—но шагъ этотъ не сдѣланъ, и эмпиризмъ хладнокровно ждетъ его; за то, если дождется, посмотрите, какая новая жизнь разольется по всѣмъ

*) Нужно ли повторять, что эмпиризмъ въ крайностяхъ своихъ нелѣпъ, что его ползанье на-четверенькахъ такъ же смѣшно, какъ нетопырьи полеты идеализма: одна крайность вызываетъ всегда такую же крайность съ противоположной стороны.

отвлеченнымъ сферамъ человѣческаго вѣдѣнія! Эмпиризмъ, какъ слонъ, тихо ступаетъ впередъ, за то уже ступитъ хорошо.

Смѣшно винить не только Гегеля, но и Шеллинга, что они, сдѣлавъ такъ много, не сдѣлали еще больше: это была бы историческая неблагодарность. Однако нельзя же не сознаться, что какъ Шеллингъ не дошелъ ни до одного вѣрнаго послѣдствія своего воззрѣнія, такъ Гегель не дошелъ до всѣхъ откровенныхъ и прямыхъ результатовъ своихъ началъ; implicite въ немъ всѣ они предсуществуютъ — все, сдѣланное послѣ Гегеля, состоитъ только въ развитіи того, что не развито у него. Гегель понималъ дѣйствительное отношеніе мышленія къ бытію; но понимать не значитъ вполнѣ отречься отъ стараго: оно остается въ нравахъ, въ языкѣ, въ привычкѣ; — путями отвлеченій онъ понялъ свою отвлеченность и удовлетворился этимъ пониманіемъ. Никто изъ рожденныхъ въ плѣну египетскомъ не вошелъ въ обѣтованную землю, потому что въ ихъ крови оставалось нѣчто невольническое: Гегель своимъ геніемъ, мощью своей мысли, подавлялъ египетскій элементъ, и онъ остался у него больше дурною привычкою; Шеллингъ же былъ подавленъ имъ. Гёте не подавлялъ и не былъ подавленъ!

Но пора заключить мое длинное посланіе.

Признаюсь откровенно, что принимаясь писать къ вамъ, я не сообразилъ всей трудности вопроса, всей бѣдности силъ и знаній, всей отвѣтственности приняться за него. Начавъ, я увидѣлъ ясно, что не въ состояніи исполнить задуманнаго; однако не бросаю пера. Если я не могу сдѣлать то, что хотѣлъ,—буду доволенъ тѣмъ, если съумѣю возбудить любопытство узнать ясно

и въ связи то, о чемъ разскажу рапсодически и бѣдно. Польза отъ такого рода Vorstudien, какъ эти письма, только пріуготовительная; она знакомить общимъ образомъ съ главными вопросами современной науки, устраняя ложныя и невѣрныя мнѣнія, обветшалые предразсудки, и дѣлаетъ доступнѣе науку. Наука кажется трудною не потому, чтобъ она была, въ самомъ дѣлѣ, трудна, а потому, что иначе не дойдешь до ея простоты, какъ пробившись сквозь тьму-темъ готовыхъ понятій, мѣшающихъ прямо видѣть. Пусть входящіе впередъ знаютъ, что весь арсеналъ ржавыхъ и негодныхъ орудій, доставшихся намъ по наслѣдству отъ схоластики, негоденъ, что надобно пожертвовать внѣ науки составленными воззрѣніями, что не отбросивъ всѣ *полу-лжи*, которыми для понятности облекаютъ *полу-истины*, нельзя войдти въ науку, нельзя дойдти до цѣлой истины.

Что касается до главныхъ основаній, они не мои — они принадлежатъ современному воззрѣнію на науку и тѣмъ сильнымъ органамъ, которыми оно оглашается. Мое только изложеніе и добрая воля. Одинъ принцъ, эмигрантъ, раздавая, помнится въ Митавѣ, табакерки и перстни, присланные ему императрицей Екатериной, присовокуплялъ: „De ma part ce n'est que le mouvement du bras et la bonne volonté“ —я повторяю вамъ его слова*).

*) Можетъ быть не вовсе излишнимъ будетъ обратить вниманіе читателей, что слова: „идеализмъ,“ „метафизика,“ „отвлеченіе,“ „теорія“ принимаемы были въ томъ крайнемъ значеніи, гдѣ они ложны, исключительны. Если эти слова принять въ смыслѣ болѣе общемъ, взятомъ не изъ историческаго опредѣленія; если имъ подсунуть опредѣленія идеальныя, выйдетъ не то; но я прошу тогда вспомнить, что я ихъ не въ томъ смыслѣ принимаю; для меня эти слова — лозунги, знамена односторонняго направленія, указывающія сразу больное мѣсто. Разумѣется, Аристотель не въ этомъ смыслѣ употреблялъ слово „метафизика“; всякаго человѣка, разсматривающаго природу, не какъ

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Наука и природа,—феноменологія мышленія

Начнемъ ab ovo. На это есть причины очень-достаточныя; позвольте указать ихъ. Для того, чтобъ понять, съ какимъ логическимъ моментомъ развитія науки встрѣчается естествовѣдѣніе въ современности—недостаточно упомянуть коротко нѣсколько положеній самыхъ рѣзкихъ, самыхъ крайнихъ, нѣсколько началъ, до которыхъ выработалась современная наука, нѣсколько выводовъ, въ которыхъ она сосредоточилась. Ничто не сдѣлано и не дѣлаетъ болѣе вреда философіи, какъ выкраденные результаты безъ связи, формально принимаемые, лишенные смысла и повторяемые съ произвольнымъ толкованіемъ. Слова не до такой степени вбираютъ въ себя все содержаніе мысли, весь ходъ достиженія, чтобъ въ сжатомъ состояніи конечнаго вывода

съѣстной припасъ, а какъ нѣчто познаваемое, можно назвать метафизикомъ, такъ какъ всякаго мыслящаго — идеалистомъ. Я счелъ обязанностію сказать, въ какихъ предѣлахъ приняты мною эти слова. Если они не нравятся, пусть читатель замѣнитъ ихъ другими — le fond de la chose остается тоже, а мнѣ только въ немъ и дѣло. Еще одно замѣчаніе: гегелево воззрѣніе не принято и не извѣстно въ положительныхъ наукахъ; о методѣ его едва знаютъ во Франціи, но тѣмъ не менѣе гегелизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе,—вліяніе, котораго источникъ натуралисты не могутъ узнать, но которое очевидно и въ Либихѣ, и въ Бурдахѣ, и въ Распайлѣ, и во многихъ другихъ, хотя большая часть ихъ отречется навѣрное отъ сказаннаго нами. Они сами не знаютъ, какъ приняли въ себя изъ окружающей среды то направленіе, въ которомъ ведутъ науку. Постараюсь въ одномъ изъ послѣдующихъ писемъ доказать сказанное здѣсь.

навязывать каждому истинный и вѣрный смыслъ свой; до него надобно дойти; процессъ развитія снятъ, скрытъ въ конечномъ выводѣ; въ немъ высказывается только, въ чемъ главное дѣло; это своего рода заглавіе, поставленное въ концѣ: оно въ своемъ отчужденіи отъ цѣлаго организма безполезно или вредно. Что пользы человѣку незнающему алгебры, въ уравненіи какой нибудь линіи, не смотря на то, что въ этомъ уравненіи все есть: и ея законъ, и построеніе, и всѣ возможные случаи; но они есть только для того, кто знаетъ, какъ вообще составляются уравненія,—словомъ, для человѣка, которому скрытый въ формулѣ путъ извѣстенъ, которому каждый знакъ напоминаетъ извѣстный порядокъ понятій: въ общей формулѣ заключена вся истина; но общая формула не есть та органика, въ которой истина свободно разривается; совсѣмъ напротивъ, она сжимается въ ней, сосредоточивается. Зерно представляетъ такого рода сосредоточеніе растенія; никто зерна не принимаетъ за растеніе, никто не садится подъ тѣнь дубоваго жолудя, хотя онъ содержитъ въ себѣ болѣе, нежели цѣлый дубъ—рядъ прошедшихъ дубовъ, да рядъ будущихъ. Есть случай, въ которомъ можно допустить употребленіе результатовъ безъ поясненія ихъ смысла, именно, когда предшествуетъ достовѣрность, что подъ одними и тѣми же словами разумѣются одни и тѣ же понятія, что есть общепринятое, впередъ-идущее, которое связуетъ говорящаго и слушающаго; въ переходныя эпохи такую достовѣрность можно имѣть только говоря съ близкими друзьями. Всего чаще говорящій во имя науки, мечтаетъ, что весь процессъ, который для него явно скрывается за формальнымъ выраженіемъ, извѣстенъ слушающему, и идетъ далѣе, въ то время, какъ у каждаго идутъ впередъ или лич-

ныя мнѣнія, или повѣрья, и высказанное слово будитъ въ немъ не умственную самодѣятельность, а именно эти косые и обветшалые предразсудки. По-этому, прошу не сѣтовать за то, что начинаю съ опредѣленія науки, и съ общаго обзора ея развитія.

Дѣло науки—возведеніе всего сущаго въ мысль. Мышленіе стремится понять, усвоить внѣ-сущій предметъ и съ перваго приступа начинаетъ отрицать то, что его дѣлаетъ внѣшнимъ, другимъ, противоположнымъ мысли, то есть, отрицаетъ непосредственность предмета, обобщаетъ его и имѣетъ уже съ нимъ дѣло, какъ съ всеобщимъ: такимъ оно старается его понять. Понять предметъ—значитъ раскрыть необходимость его содержанія, оправдать его бытіе, его развитіе; понятое необходимымъ и разумнымъ не есть чуждое намъ: оно сдѣлалось ясною мыслью предмета; мысль сознанная и понятая принадлежитъ намъ и сознается нами, потому что она разумна и человѣкъ разуменъ — а разумъ одинъ*). Неразумное непонятно для насъ, но его и понимать не стоитъ труда: оно необходимо оказывается несущественнымъ, неистиннымъ; оно обнаруживается

*) *Нѣсколько разумовъ* такое безсмысліе, которое человѣческое воображеніе не только понять, но и представить не можетъ. Если мы пріймемъ, напр., два разума, то истинное для одного будетъ ложью для другаго — иначе они не разные; съ тѣмъ вмѣстѣ, оба разума имѣютъ право считать каждый свою истину истиной, и это право признано нами въ признаніи двухъ разумовъ; если мы скажемъ, что одинъ только понимаетъ истину, тогда другой разумъ будетъ безуміе, а не разумъ. Два различные разума, обладающіе различными истинами, напоминаютъ тѣ унизительные случаи, когда двое присягаютъ, одинъ противоположно другому. Разное пониманіе предмета не значитъ, что разумы разные, а во-первыхъ, что люди разные, и во-вторыхъ, что въ разныхъ степеняхъ развитія разума, истина опредѣляется различно, съ разныхъ сторонъ однимъ и тѣмъ же разумомъ.

такимъ (говоря школьнымъ языкомъ), чего доказать нельзя, ибо доказательство только и состоитъ въ раскрытіи необходимости предмета, указывающей на разумность его; что разумно, то признано человѣкомъ; другаго критеріума человѣкъ не ищетъ; оправданіе разумомъ—послѣдняя безапелляціонная инстанція. Само собою разумѣется, что мысль предмета не есть исключительно личное достояніе мыслящаго: не онъ вдумалъ ее въ дѣйствительность, она имъ только сознана; она предсуществовала, какъ скрытый разумъ, въ непосредственномъ бытіи предмета, какъ его во времени и пространствѣ *обличенное* право существованія, какъ на дѣлѣ, фактически-исполненный законъ, свидѣтельствующій о своемъ неразрывномъ единствѣ съ бытіемъ. Мышленіе освобождаетъ существующую во времени и пространствѣ мысль въ болѣе-соотвѣтствующую ей среду сознанія; оно, такъ сказать, будитъ ее отъ усыпленія, въ которое она *еще* погружена, облеченная плотью, существуя однимъ бытіемъ; мысль предмета освобождается не въ немъ: она освобождается безтѣлесною, обобщенною, побѣдившею частность своего явленія, въ сферѣ сознанія, разума, всеобщаго. Предметное существованіе мысли, воскреснувшей въ области разума и самопознанія, продолжается по прежнему во времени и пространствѣ; мысль получила двоякую жизнь: одна—ея прежнее существованіе частное, положительное, опредѣленное бытіемъ; другая—всеобщая, опредѣленная сознаніемъ и отрицаніемъ себя какъ частнаго. Сначала, предметъ совершенно внѣ мышленія; личная умственная дѣятельность человѣка приступаетъ къ нему, выпытывая въ чемъ его истина, въ чемъ его разумъ; по мѣрѣ того, какъ мысль отрѣшаетъ его (и себя) отъ всего частнаго, случайнаго, углубляется въ его разумъ,—она

находитъ, что это и ея разумъ; отъискивая истину его, она находитъ себя этой истиной; чѣмъ болѣе мысль развивается, тѣмъ независимѣе, самобытнѣе становится она и отъ лица мыслителя и отъ предмета; она связуетъ ихъ, снимаетъ ихъ различіе высшимъ единствомъ, опирается на нихъ, и свободная, самобытная, самозаконная царитъ надъ ними, сочетая въ себѣ два односторонніе момента свои въ гармоническое цѣлое*). Весь процессъ развитія мысли предмета мышленіемъ рода человѣческаго, отъ грубаго и непримиреннаго противорѣчія, въ которомъ встрѣчаются лицо и предметъ, до снятія противорѣчія сознаніемъ высшаго единства, въ которомъ они являются необходимыми другъ для друга сторонами — весь этотъ рядъ формъ, освобождающихъ истину, заключенную въ двухъ исключительныхъ крайностяхъ (лица и предмета), отъ взаимнаго ограниченія раскрытіемъ и сознаніемъ единства ихъ въ разумѣ, въ идеѣ — составляетъ организмъ науки.

Многіе принимаютъ науку за нѣчто внѣшнее предмету, за дѣло произвола и вымысла людскаго, на чемъ они основываютъ недѣйствительность знанія, даже невозможность его. Конечно, наука не въ вещественномъ бытіи предмета и, конечно, она свободное дѣяніе мысли и именно мысли человѣческой; но изъ этого не слѣдуетъ, что она произвольное созданіе случайныхъ личностей, внѣшнее предмету, въ какомъ случаѣ она была бы, какъ мы сказали, родовымъ безуміемъ. Ограниченная категорія внѣ бытія не прилаживается къ мысли; она ей несущественна, мысль не имѣетъ замкнутой, непереходимой опредѣленности *тамъ или тутъ*, для нея

*) То есть существованіе, какъ одно *по себѣ бытіе,* и сознаніе, какъ одно *для себя бытіе.*

нѣтъ alibi; если же хотятъ употребить эту категорію, то надобно обернуть выраженіе и сказать, что непосредственный предметъ внѣ мысли, внѣ ея, потому что онъ составляетъ собственно ея внѣшность; природа не только внѣшность для насъ,—она сама по себѣ *только* внѣшность; ея мысль сознательная, пришедшая въ себя — не въ ней, *а въ другомъ* (т. е. въ человѣкѣ); напротивъ, родовое значеніе человѣка — быть истиною *себя и другаго* (т. е. природы); сознаніе есть самопознаніе; оно начинается съ познанія себя какъ другаго, и достигаетъ сознанія себя какъ себя, — сознаніе вовсе не постороннее для природы, а высшая степень ея развитія, переходъ отъ положительнаго, нераздѣльнаго существованія во времени и пространствѣ, черезъ отрицательное, расторженное опредѣленіе человѣка въ противоположность природѣ къ раскрытію ихъ истиннаго единства. Откуда и какъ могло бы явиться сознаніе внѣшнее природѣ и, слѣдственно, чуждое предмету? Человѣкъ не внѣ природы и только относительно противоположенъ ей, а не въ самомъ дѣлѣ; если бы природа дѣйствительно противорѣчила разуму, все матеріальное было бы нелѣпо, нецѣлеобразно. Мы привыкли человѣческій міръ отдѣлять каменной стѣною отъ міра природы—это несправедливо; въ дѣйствительности вообще нѣтъ никакихъ строго-проведенныхъ межей и граней, къ великой горести всѣхъ систематиковъ; но въ этомъ случаѣ, сверхъ того, опускаютъ изъ вида, что человѣкъ имѣетъ свое міровое призваніе въ той же самой природѣ, доканчиваетъ ее возведеніемъ въ мысль; они противоположны, такъ какъ полюсы магнита, или, лучше, какъ цвѣтокъ противоположенъ стеблю, какъ юноша ребенку. Все то, что неразвито, чего не достаетъ природѣ, то есть, то развивается въ человѣкѣ: на

чемъ же можетъ основаться дѣйствительная противоположность ихъ? это былъ бы бой неравный и невозможный. Природа не имѣетъ силы надъ мыслію, а мысль есть сила человѣка; природа, какъ греческая статуя; вся внутренняя мощь ея, вся мысль ея—ея наружность: все, что она могла собою выразить, выразила, предоставляя человѣку обнаружить то, чего она не могла; она относится къ нему, какъ необходимое предшествующее, какъ предположеніе (Voraussetzung); человѣкъ относится къ ней какъ необходимое послѣдующее, какъ заключеніе (Schluss). Жизнь природы — безпрерывное развитіе, развитіе отвлеченнаго простаго, неполнаго, стихійнаго — въ конкретное полное, сложное, развитіе зародыша расчлененіемъ всего заключающагося въ его понятіи, и всегдашнее домогательство вести это развитіе до возможно-полнаго соотвѣтствія формы содержанію—это діалектика физическаго міра. Всѣ стремленія и усилія природы завершаются человѣкомъ; къ нему они стремятся, въ него впадаютъ они, какъ въ океанъ. Что можетъ быть смѣлѣе предположенія, что послѣдній выводъ, вѣнчающій все развитіе природы—человѣческое сознаніе—въ разногласіи съ нею? Все въ мірѣ стройно, согласно, цѣлеобразно—одна мысль наша сама по себѣ, какая-то блуждающая комета, ни къ чему неотнесенная, болѣзнь мозга!

Для того, чтобъ мышленіе представилось чѣмъ-то неестественнымъ, совершенно-внѣшнимъ предмету, частнымъ и личнымъ достояніемъ человѣка — его надобно отторгнуть отъ его родословной. Можно ли понять связь и значеніе чего бы то ни было, когда мы произвольно возьмемъ крайнія звѣнья? Можно ли понять соотношеніе камня и птицы? Слѣдя шагъ за шагомъ, легко сбиться съ дороги; если же взять на-удачу два

момента и противопоставить ихъ для раскрытія ихъ связи—выйдетъ трудная, неблагодарная и почти-неразрѣшимая задача: въ родѣ этого разсматриваютъ природу и ея связь съ человѣкомъ, съ мышленіемъ. Обыкновенно, приступая къ природѣ, ее свинчиваютъ въ ея матеріальности, ей говорятъ, какъ нѣкогда Іисусъ Навинъ сказалъ солнцу: „стой! будь мертвымъ субстратомъ, пока я разберу тебя"; но природу остановить нельзя: она процессъ, она теченіе, переливъ, движеніе, она уйдетъ между пальцами, она въ чревѣ женщины сдѣлается человѣкомъ и прососетъ вашу плотину прежде, нежели вы успѣете найдти возможнымъ переходъ отъ нея къ міру человѣческому:

Ewig natürlich bewegende Kraft
Göttlich gesetzlich entbindet und schafft.
Trennendes Leben, im Leben Verein,
Oben die Geister und unten der Stein.

Если вы на одно мгновеніе остановили природу, какъ нѣчто мертвое,—вы не токмо не дойдете до возможности мышленія, но не дойдете до возможности наливчатыхъ животныхъ, до возможности поростовъ и мховъ; смотрите на нее какъ она есть, а она есть въ движеніи; дайте ей просторъ, смотрите на ея біографію, на исторію ея развитія — тогда только раскроется она въ связи. Исторія мышленія—продолженіе исторіи природы: ни человѣчества, ни природы нельзя понять мимо историческаго развитія. Различіе этихъ исторій состоитъ въ томъ, что природа ничего не помнитъ, что для нея былаго нѣтъ, а человѣкъ носитъ въ себѣ все былое свое: отъ-того человѣкъ представляетъ не только себя какъ частнаго, но и какъ родоваго. Исторія связуетъ природу съ логикой: безъ нея они распадаются; разумъ природы только въ ея существованіи, — существованіе логики только въ разумѣ; ни природа, ни логика не

страдаютъ, не раздираются сомнѣніями; ихъ не волнуетъ никакое противорѣчіе; одна не дошла до нихъ, другая сняла ихъ въ себѣ: въ этомъ ихъ противоположная неполнота. Исторія — эпопея восхожденія отъ одной къ другой, полная страсти, драмы; въ ней непосредственное дѣлается сознательнымъ, и вѣчная мысль низвергается въ временное бытіе; носители ея — не всеобщія категоріи, не отвлеченныя нормы, какъ въ логикѣ, и не безотвѣтные рабы, какъ естественныя произведенія, а личности, воплотившія въ себя эти вѣчныя нормы и борющіяся противъ судьбы, спокойно царящей надъ природой. Историческое мышленіе — родовая дѣятельность человѣка, живая и истинная наука, то всемірное мышленіе, которое само перешло всю морфологію природы и, мало-по-малу, поднялось къ сознанію своей самозаконности: во всякую эпоху осаждается правильными кристаллами знаніе ея, мысль ея въ видѣ отвлеченной теоріи, независимой и безусловной: это формальная наука; она всякій разъ считаетъ себя завершеніемъ вѣдѣнія человѣческаго, но она представляетъ отчетъ, выводъ мышленія данной эпохи — она себя только считаетъ абсолютной, а абсолютно то движеніе, которое въ то же время увлекаетъ историческое сознаніе далѣе и далѣе. Логическое развитіе идеи идетъ тѣми же фазами, какъ развитіе природы и исторіи; оно, какъ аберрація звѣздъ на небѣ, повторяетъ движеніе земной планеты.

Изъ этого вы видите, что въ сущности все равно, разсказать ли логическій процессъ самопознанія, или историческій. Мы изберемъ послѣдній. Строгій, свѣтлый, примиренный съ собою шагъ логики менѣе сочувствующъ съ нами; исторія—вдохновенная борьба, торжественное шествіе изъ египетскаго плѣненія въ обѣ-

тованную землю; въ логикѣ побѣда извѣстна, она знаетъ свою власть, свою неотразимость, — въ исторіи нѣтъ, и отъ-того ликующій гимнъ радости раздается, когда предъ грядущимъ человѣчествомъ разступается Чермное Море, и оно же топитъ ветхое и неправое притязаніе фараона. Логика—разумнѣе, исторія—человѣчественнѣе. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе, какъ отбрасывать прошедшее, служившее для достиженія настоящаго, будто это развитіе — внѣшняя подмостка, лишенная всякаго внутренняго достоинства. Тогда исторія была бы оскорбительна, вѣчное закланіе живаго въ пользу будущаго; настоящее духа человѣческаго обнимаетъ и хранитъ все прошедшее, оно не прошло для него, а развилось въ него; былое не утратилось въ настоящемъ, не замѣнилось имъ—а исполнилось въ немъ; проходитъ одно ложное, призрачное, несущественное; оно собственно никогда и не имѣло дѣйствительнаго бытія, оно мертворожденное, — для истиннаго смерти нѣтъ. Не даромъ духъ человѣческій поэты сравниваютъ съ моремъ: онъ въ глубинѣ своей бережетъ всѣ богатства, однажды упавшія въ него; одно слабое, непереносящее ѣдкости соленой волны его — распускается безслѣдно.

Итакъ, для того, чтобъ понять современное состояніе мысли — вѣрнѣйшій путь вспомнить, какъ человѣчество дошло до него, вспомнить всю морфологію мышленія — отъ непосредственнаго, безсознательнаго мира съ природой, предшествовавшаго мышленію, до раскрывающейся возможности полнаго и сознательнаго мира съ собою. Съ самаго начала, намъ прійдется возстановить тѣ шаги, которыхъ слѣдъ почти утратился, ибо человѣчество не умѣетъ беречь того, что дѣлало безъ мысли: инстинктуальное остается у него въ памяти,

какъ смутный сонъ дѣтства! Не думайте, что я васъ хочу угостить геснеровскимъ Авелемъ или дикимъ человѣкомъ энциклопедистовъ — мое намѣреніе гораздо проще: я хочу опредѣлить необходимую точку отправленія историческаго сознанія.

Внѣ человѣка существуетъ до безконечности многоразличное множество частностей, смутно переплетенныхъ между собою; внѣшняя зависимость ихъ, намекающая на внутреннее единство, ихъ опредѣленное взаимодѣйствіе почти теряется отъ случайностей разбрасывающихъ, сбрасывающихъ, хранящихъ и уничтожающихъ эту „кучу частей, идущихъ въ безконечность,“ по превосходному выраженію Лейбница. Онѣ носятъ въ себѣ характеръ независимой самобытности отъ человѣка; онѣ были, когда его не было; имъ нѣтъ до него дѣла, когда онъ явился; онѣ безъ конца, безъ предѣловъ; онѣ безпрестанно и вездѣ возникаютъ, появляются, пропадаютъ. Съ точки зрѣнія разсудка, этотъ вихрь, круговоротъ, безпорядокъ, эта непокорность окружающей среды, должны бы ужасомъ и унынiемъ исполнить человѣка, подавить его и поселить отчаяніе въ душѣ; но человѣкъ при первой встрѣчѣ съ природой, смотрѣлъ на нее съ простотою ребенка: онъ ничего не понималъ отчетливо, онъ *не отступалъ* еще отъ міра жизни, въ которомъ очутился, негація мысли не просыпалась въ немъ, и отъ-того онъ чувствовалъ себя дома и взглядъ его поднятаго чела не могъ быть пораженъ ничѣмъ окружающимъ. Животное имѣетъ это эмпирическое довѣріе, но оно на немъ и останавливается; человѣкъ тотчасъ начинаетъ обнаруживать, что ему мало этого довѣрія, что онъ чувствуетъ себя властью надъ окружающимъ міромъ. Этимъ частностямъ, врозь-сущимъ, чего-то не достаетъ: онѣ распадаются, преходящи, безслѣдны; че-

ловѣкъ даетъ имъ средоточіе, и это средоточіе онъ самъ; *словомъ* своимъ исторгаетъ онъ ихъ изъ круговорота, въ которомъ онѣ мелькаютъ и гибнутъ; именемъ даетъ онъ имъ свое признаніе, возрождаетъ въ себѣ, удвоиваетъ и сразу вводитъ въ сферу всеобщаго. Мы такъ привыкли къ слову, что забываемъ величіе этого торжественнаго акта вступленія человѣка на царство вселенной. Природа безъ человѣка, именующаго ее, — что-то нѣмое, неконченное, неудачное, avorté; человѣкъ благословилъ ее существовать для кого нибудь, возсоздалъ ее, далъ ей гласность. Не даромъ Платонъ такъ восторженно выразился объ очахъ человѣка, устремленнаго на твердь небесную, и нашелъ ихъ прекраснѣе самой тверди. И звѣрь видитъ, и звѣрь издаетъ звуки, и то и другое — великія побѣды жизни; но человѣкъ смотритъ и говоритъ, и когда онъ смотритъ и говоритъ — неустроенная куча частностей перестаетъ быть громадой случайностей, а обнаруживается гармоническимъ цѣлымъ, организмомъ, имѣющимъ единство. Замѣчательно, что и въ этотъ періодъ естественнаго согласія съ природой, когда еще разсудокъ не отсѣкъ человѣка мечомъ отрицанія отъ почвы, на которой онъ выросъ — онъ не признавалъ самобытности частныхъ явленій, онъ вездѣ распоряжался какъ хозяинъ, онъ считалъ возможнымъ усвоить себѣ все окружающее и заставить исполнять свои цѣли, онъ вещь считалъ своимъ рабомъ, органомъ, внѣ его тѣла находящимся, собственностью. Мы можемъ втѣснять нашу волю только тому, что своей воли не имѣетъ, или въ чемъ мы отрицаемъ волю; поставить свою цѣль другому, значитъ его цѣль не считать существенною, или себя считать его цѣлью.

Человѣкъ такъ мало признавалъ права природы, что безъ малѣйшихъ упрековъ совѣсти уничтожалъ то, что

ему мѣшало, пользовался чѣмъ хотѣлъ; онъ, подобно Геслеру, заставлявшему самихъ швейцарцевъ строить для себя Цвинг-Ури, обуздывалъ силы природы, противопоставляя одну другой. Природа не только не ужасала человѣка своей величиною и безконечностью, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, предоставляя въ-послѣдствіи риторамъ всѣхъ вѣковъ стращать себя и другихъ миріадами міровъ и всѣми количественными безмѣрностями, — но даже бѣдствіями, которыя она невольно обрушивала на голову людей: мы нигдѣ не видимъ, чтобъ онъ склонился передъ тупою и внѣшней силою міра; совсѣмъ напротивъ, онъ отворачивается отъ его стихійнаго неустройства и съ молитвою, колѣнопреклоненный, одушевленный горячею вѣрою, обращается къ Божеству. Какъ бы грубо человѣкъ ни представлялъ себѣ верховное начало, божественный духъ—онъ непремѣнно видитъ въ немъ истину, премудрость, разумъ, справедливость, царящіе и побѣждающіе матеріальную сторону существованія. Вѣра въ міродержавство Провидѣнія устраняетъ возможность вѣрить въ неустройство и случайность.

Долго остаться въ начальномъ согласіи съ природою, съ міромъ феноменальнымъ человѣкъ не могъ; онъ носилъ въ себѣ зародышъ, который, развиваясь, долженъ былъ, какъ химическая реагенція, разложить его дѣтски-гармоническое существованіе съ природой; природа, какъ внѣшній міръ, не могла быть для него цѣлью: въ каждомъ религіозномъ порывѣ, человѣкъ стремился выйдти отъ феноменальнаго міра къ міру, царящему надъ всѣми явленіями. Животное никогда не распадается съ природой: это послѣднее невозмущаемое сочетаніе развитія жизни индивидуальной съ общей жизнію природы; двойственная натура человѣка именно

въ томъ, что онъ, сверхъ своего положительнаго бытія, не можетъ не стать отрицательно къ бытію; онъ распадается не только съ внѣшней природой, но даже съ самимъ собою; эта расторженность мучитъ его; это мученье гонитъ его впередъ. Бываютъ минуты слабости и изнуренія, когда тоска и что-то страшное въ этомъ противорѣчіи съ природой — подавляютъ человѣка, и онъ, вмѣсто того, чтобъ идти по святымъ указаніямъ перста истины, садится усталый на полдорогѣ, отираетъ кровавый потъ и ставитъ золотаго тельца — близкую мету, но ложную. Онъ обманываетъ себя — темно самъ чувствуетъ это; но, какъ бѣшеный Отелло, онъ, снѣдаемый жаждой истины, умоляетъ солгать ему. Чтобъ убѣжать отъ чего-то непокойнаго, страшнаго въ разъединеніи съ физическимъ міромъ, человѣкъ готовъ погрузиться въ грубѣйшій фетишизмъ, лишь-бы найдти всеобщую сферу, съ которою сочетать свою индивидуальную жизнь — только не быть чуждымъ въ мірѣ и оставленнымъ на себя. Такъ всякаго рода отдѣльность и эгоизмъ противны всемірному порядку.

Какъ только человѣкъ распался съ природою, у него должна была явиться потребность *знанія*, потребность втораго усвоенія и покоренія внѣшности. Разумѣется, нельзя себѣ представить, чтобъ теоретическая потребность вѣдѣнія отчетливо явилась уму людей; нѣтъ, они и до нея дошли естественнымъ *тактомъ*. Темное сочувствіе и чисто-практическое отношеніе — недостаточны мыслящей натурѣ человѣка; онъ какъ растеніе, куда его ни посади, все обернется къ свѣту и потянется къ нему; но онъ тѣмъ не похожъ на растеніе, что оно тянется и никогда не можетъ достигнуть до желанной цѣли, потому что солнце внѣ его — а разумъ человѣка, освѣщающій его, — внутри, и ему собственно не тянуться

надобно, а сосредоточиться. Сначала человѣкъ не подозрѣваетъ этого, и если разумность его приводитъ возможность истины, то онъ далекъ отъ сознанія путей; онъ не свободенъ для пониманія; густыя тучи животной непосредственности еще не разсѣялись, фантастическіе образы сверкаютъ въ нихъ — но не свѣтомъ: путь до сознанія длиненъ; чтобъ дойдти до него, человѣкъ долженъ отречься отъ себя, какъ частности, и понять себя родомъ. Ему надобно сдѣлать съ собою то, что онъ словомъ своимъ совершилъ надъ природой, т. е. обобщить себя. Мало того, что человѣкъ идетъ далѣе животныхъ, понимая самобытную замкнутость своего *я*; *я* есть подтвержденіе, сознаніе своего тождества съ собою, снятіе души и тѣла, какъ противоположныхъ, единствомъ личности — на этомъ остановиться нельзя: надобно понять высшее единство рода съ собою. Это единство начинается поглощеніемъ лица, какъ частности, и испуганный человѣкъ стремится, напутствуемый ложнымъ чувствомъ самоохраненія, удержать себя, и истиною ставитъ свое лицо; подтверждая только свое тождество съ собою, человѣкъ непремѣнно распадается со всей вселенной, со всѣмъ тѣмъ, что онъ чувствуетъ непринадлежащимъ своему *я*. Это неминуемое, мучительное послѣдствіе логическаго эгоизма. И съ него собственно начинается логическое движеніе, стремящееся выйдти изъ скорбнаго распаденія; оно возвращаетъ человѣка изъ этой антиноміи къ гармоніи — но уже не тѣмъ, какимъ онъ вышелъ. Человѣкъ начинаетъ съ непосредственнаго признанія единства бытія съ *воззрѣніемъ* и оканчиваетъ вѣдѣніемъ единства бытія и мышленіемъ. Распаденіе человѣка съ природой, какъ вбиваемый клинъ, разбиваетъ мало по малу все на противоположныя части, даже самую душу человѣка — это divida et

imрега логики — путь къ истинному и вѣчному сочетанію раздвоеннаго.

Мы видѣли, что человѣкъ все встрѣченное имъ, все данное чувственной достовѣрностью, опытомъ—отвлекъ отъ переходимости, отъ ускользающей односторонности своимъ словомъ. Человѣкъ называетъ только всеобщее — частность единичную, случайную, *эту* онъ не можетъ назвать: для нея онъ долженъ употребить нисшее средство — указать пальцемъ. Предметъ знанія съ самаго начала, такимъ образомъ, отрѣшенъ отъ непосредственнаго бытія и сохраняетъ свою внѣсущность относительно мышленія уже какъ обобщенный. Этотъ обобщенный предметъ составляетъ непосредственность *втораго порядка;* человѣкъ понимаетъ чуждость его и стремится распустить возродившійся предметъ, втѣсненный ему опытомъ; онъ хочетъ узнать его, совлечь съ него вторую непосредственность и равно не сомнѣвается ни въ его чуждости, ни въ своей возможности понять его какъ онъ есть. Когда явилась потребность *узнать* предметъ, то очевидно, что разумѣніе уже считало его чуждымъ себѣ: это предположеніе незнанія; на чемъ же основывается достовѣрность знанія, возможность его, когда предметъ совершенно намъ чуждъ? Это два предположенія несовмѣстныя, по крайней мѣрѣ не обусловливающія другъ друга. Вы можете назвать даже иллогизмомъ эту врожденную вѣру въ возможность истиннаго вѣдѣнія, идущаго рядомъ съ вѣрою въ чуждость природы; но не забудьте, что въ этомъ иллогизмѣ лежалъ протестъ противъ отчужденія природы, свидѣтельство, что оно не въ самомъ дѣлѣ такъ, залогъ будущаго примиренія. Исторія философіи — повѣсть, какъ этотъ иллогизмъ разрѣшился въ высшей истинѣ. При началѣ логическаго процесса, пред-

метъ остается страдательнымъ и выступаетъ лицо, трудящееся надъ нимъ, посредствующее его бытіе съ своимъ умомъ, озабоченное удержать предметъ какимъ онъ есть, не вовлекая его въ процессъ знанія; но конкретный, живой предметъ его уже оставилъ, у него передъ глазами отвлеченія, тѣла, а не живыя существа, онъ старается мало по малу придать все недостающее абстракціями, но онѣ долго остаются такими, безпрерывно указывая ему своими недостатками дальнѣйшій путь. Этотъ путь намъ легко уже прослѣдить въ исторіи философіи.

Стоитъ ли говорить что нибудь въ опроверженіе плоскаго и нелѣпаго мнѣнія о безсвязности и шаткости философскихъ системъ, изъ которыхъ одна вытѣсняетъ другую, всѣ всѣмъ противорѣчатъ, и каждая зависитъ отъ личнаго произвола?—Нѣтъ. У кого глаза такъ слабы, что за наружной формой явленія они не могутъ разглядѣть просвѣчивающее внутренне содержаніе, не могутъ разглядѣть за видимымъ многообразіемъ—невидимое единство, тому, что ни говори, исторія науки будетъ казаться сбродомъ мнѣній разныхъ мудрецовъ, разсуждающихъ каждый на свой салтыкъ о разныхъ поучительныхъ и наставительныхъ предметахъ и имѣвшихъ скверную привычку непремѣнно противорѣчить учителю и браниться съ предшественниками: это атомизмъ, матеріализмъ въ исторіи; съ этой точки зрѣнія не одно развитіе науки, а вся всемірная исторія кажется дѣломъ личныхъ выдумокъ и страннаго сплетенія случайностей —взглядъ анти-религіозный, принадлежавшій нѣкоторымъ изъ скептиковъ и недоученой толпѣ. Все сущее во времени имѣетъ случайную, произвольную закраину, выпадающую за предѣлы необходимаго развитія, не вытекающую изъ понятія предмета, а изъ обстоятельствъ,

при которыхъ оно одѣйствореется; только эту закраину, эту перехватывающую случайность и умѣютъ разглядѣть нѣкоторые люди, и рады, что во вселенной такой же безпорядокъ, какъ въ ихъ головѣ. Ни одинъ маятникъ не удовлетворяетъ общей формулѣ, которая выражаетъ законъ его размаховъ, ибо въ формулу не вводится случайный вѣсъ пластинки, на которой онъ виситъ, ни случайное треніе; ни одинъ механикъ, однако, не усомнился въ истинѣ общаго закона, снявшаго въ себѣ случайныя возмущенія и представляющаго вѣчную норму размаховъ. Развитіе науки во времени сходно съ практическимъ маятникомъ—оптомъ оно совершаетъ нормальный законъ (который здѣсь во всей алгебраической всеобщности дается логикой), но въ частностяхъ вездѣ видны видоизмѣненія временныя и случайныя. Часовщикъ-механикъ можетъ съ своей точки зрѣнія, не забывая о треніи, имѣть въ виду общій законъ, а часовщикъ-работникъ только и видитъ беззаконное отступленіе частныхъ маятниковъ. Разумѣется, что историческое развитіе философіи не могло имѣть ни строгой хронологической послѣдовательности, ни сознанія, что каждое вновь являющееся воззрѣніе—дальнѣйшее развитіе прежняго. Нѣтъ, тутъ было широкое мѣсто свободѣ духа, даже свободѣ личностей, увлеченныхъ страстями; каждое воззрѣніе являлось съ притязаніемъ на безусловную, конечную истину—оно отчасти и было такъ въ отношеніи къ данному времени; для него не было высшей истины, какъ та, до которой онъ достигъ; еслибъ мыслители не считали своего понятія безусловнымъ, они не могли бы остановиться на немъ, а искали бы иное; наконецъ, не надобно забывать, что всѣ системы подразумѣвали, провидѣли гораздо болѣе, нежели высказали; неловкій языкъ ихъ измѣнялъ имъ. Сверхъ ска-

заннаго, каждый дѣйствительный шагъ въ развитіи окруженъ частными отклоненіями; богатство силъ, броженіе ихъ, индивидуальности, многообразіе стремленій проростаютъ, такъ сказать, во всѣ стороны; одинъ избранный стебель влечетъ соки далѣе и выше — но современное сосуществованіе другихъ бросается въ глаза. Искать въ исторіи и въ природѣ того внѣшняго и внутренняго порядка, который выработываетъ себѣ чистое мышленіе въ своемъ собственномъ элементѣ, гдѣ внѣшность не препятствуетъ, куда случайность не восходитъ, куда самая личность не принята, гдѣ нѣчему возмутить стройнаго развитія — значитъ вовсе не знать характера исторіи и природы. Съ такой точки зрѣнія, разные возрасты одного лица могутъ быть приняты за разныхъ людей. Посмотрите, съ какимъ разнообразіемъ, съ какою разметанностію во всѣ стороны животное царство восходитъ по единому первообразу, въ которомъ исчезаетъ его многообразіе; посмотрите, какъ каждый разъ, едва достигнувъ какой нибудь формы, родъ разсыпается во всѣ стороны едва-исчислимыми варьяціями на основную тэму, иные виды забѣгаютъ, другіе отлетаютъ, третьи составляютъ переходы и промежуточныя звѣнья, и весь этотъ безпорядокъ не скрываетъ внутренняго своего единства для Гёте, для Жоффруа Сент-Илера: онъ только непонятенъ для неопытнаго и поверхностнаго взгляда.

Впрочемъ, даже и поверхностный взглядъ въ развитіи мышленія найдетъ собственно одинъ рѣзкій и трудно понятный переломъ: мы говоримъ о переходѣ древней философіи въ новую; ихъ сочлененіе схоластикой, ихъ необходимое соотношеніе не бросается въ глаза, — въ этомъ сознаться надобно; но если мы допустимъ (чего вовсе не было), что тутъ было обратное шествіе, можно

ли отрицать, что вся древняя философія — одно замкнутое, художественное произведеніе цѣлости и стройности поразительной? можно ли отрицать, что, въ своемъ отношеніи, философія новѣйшихъ временъ, рожденная изъ расторженной и двуначальной жизни среднихъ вѣковъ и повторившая въ себѣ эту расторженность при самомъ появленіи своемъ (Декартъ и Бэконъ), правильно устремилась на развитіе до послѣдней крайности обоихъ началъ, и, дойдя до конечнаго слова ихъ, до грубѣйшаго матеріализма и отвлеченнѣйшаго идеализма—прямо и величественно пошла на снятіе двуначалія высшимъ единствомъ? Древняя философія пала оттого, что рѣзко и глубоко она никогда не распадалась съ міромъ, оттого, что она не извѣдала всей сладости и всей горечи отрицанія, не знала всей мощи духа человѣческаго, сосредоточеннаго въ себѣ, въ одномъ себѣ. Новая философія, съ своей стороны, была лишена того реальнаго, жизненнаго, слитно-обнимающаго форму и содержаніе античнаго характера; она теперь начинаетъ пріобрѣтать его—и въ этомъ сближеніи ихъ раскрывается на самомъ дѣлѣ ихъ единство, оно обличается въ самой недостаточности ихъ другъ безъ друга. *Одна* истина занимала всѣ философіи, во всѣ времена; ее видѣли съ разныхъ сторонъ, выражали розно, и каждое созерцаніе сдѣлалось школой, системой. Истина, проходя рядомъ односторонніхъ опредѣленій, многосторонно опредѣляется, выражается яснѣе и яснѣе; при каждомъ столкновеніи двухъ воззрѣній, отпадаетъ плева за плевою, скрывающія ее. Фантазіи, образы, представленія, которыми старается человѣкъ выразить свою заповѣдную мысль — улетучиваются, и мысль мало по малу находитъ тотъ глаголъ, который ей принадлежитъ. Нѣтъ философской системы, которая имѣла бы началомъ чи-

стую ложь или нелѣпость; начало каждой — дѣйствительный моментъ истины, сама безусловная истина, но обусловленная, ограниченная одностороннимъ опредѣленіемъ, не исчерпывающимъ ея. Когда вамъ представляется система, имѣвшая корни и развитіе, имѣвшая свою школу съ нелѣпостію въ основаніи — будьте на столько полны благочестія и уваженія къ разуму, чтобъ, прежде осужденія, посмотрѣть не на формальное выраженіе, а на смыслъ, въ которомъ сама школа принимаетъ свое начало, и вы непремѣнно найдете — одностороннюю истину, а не совершенную ложь. Оттого каждый моментъ развитія науки, проходя, какъ односторонній и временной, непремѣнно оставляетъ и вѣчное наслѣдіе. Частное, одностороннее волнуется и умираетъ у подножія науки, испуская въ нее вѣчный духъ свой, вдыхая въ нее свою истину. Призваніе мышленія въ томъ и состоитъ, чтобъ развивать вѣчное изъ временнаго!

Въ слѣдующемъ письмѣ поговоримъ о Греціи. Эпиграфомъ къ греческому мышленію прекрасно служитъ извѣстное изрѣченіе Протагора: „Человѣкъ — мѣрило всѣмъ вещамъ: въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и не-сущее не существуетъ.“

Село Покровское. — Августъ 1844 г.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Греческая философія

Востокъ не имѣлъ науки; онъ жилъ фантазіей и никогда не устанавливался на столько, чтобъ привести въ ясность свою мысль, тѣмъ менѣе развилъ ее наукообразно; онъ такъ расплывался въ безконечную ширь, что не могъ дойдти до какого нибудь самоопредѣленія.

Востокъ блеститъ ярко, особенно издали; но человѣкъ тонетъ и пропадаетъ въ этомъ блескѣ. Азія — страна дисгармоніи, противорѣчій; она нигдѣ, ни въ чемъ не знаетъ мѣры, — а мѣра есть главное условіе согласнаго развитія. Жизнь восточныхъ народовъ проходила или въ броженіи страшныхъ переворотовъ, или въ косномъ покоѣ однообразнаго повторенія. Восточный человѣкъ не понималъ своего достоинства; оттого онъ былъ или въ прахѣ валяющійся рабъ, или необузданный деспотъ; такъ и мысль его была или слишкомъ скромна, или слишкомъ высокомѣрна; она — то перехватывала за предѣлы себя и природы; то, отрекаясь отъ человѣческаго достоинства, погружалась въ животность. Религіозная и гностическая жизнь азіатцевъ полна безпокойнымъ метаньемъ и мертвой тишиною; она колоссальна и ничтожна, бросаетъ взгляды поразительной глубины и ребяческой тупости. Отношеніе личности къ предмету провидится, но неопредѣленно; содержаніе восточной мысли состоитъ изъ представленій, образовъ, аллегорій, изъ самаго щепетильнаго раціонализма (какъ у Китайцевъ) и самой громадной поэзіи, въ которой фантазія не знаетъ никакихъ предѣловъ (какъ у Индійцевъ). Истинной формы Востокъ никогда не умѣлъ дать своей мысли и не могъ, потому что онъ никогда не уразумѣвалъ содержанія, а только различными образами мечталъ о немъ. Объ естествовѣдѣніи и думать нѣчего: его взглядъ на природу приводилъ къ грубѣйшему пантеизму, или къ совершеннѣйшему презрѣнію природы. Среди хаоса иносказаній, миѳовъ, чудовищныхъ фантазій, блестятъ по временамъ яркія мысли, захватывающія душу, и образы чуднаго изящества; они искупляютъ многое и надолго держатъ душу подъ своими чарами. Къ числу ихъ принадлежитъ превосходное мѣсто, из-

бранное нами эпиграфомъ*). Его приводитъ Колебрукъ изъ индусскихъ философскихъ книгъ. Что можетъ быть граціознѣе этого образа пестрой, страстной баядеры, отдающейся очамъ зрителя? Она невольно напоминаетъ иную баядеру, пляшущую и увлекающую Магадеви. Стихи, выписанные нами изъ Гёте, будто замыкаютъ первый образъ; но индійское воззрѣніе до этого не дошло бы: оно остановилось въ своемъ миѳѣ, на томъ, что опредѣленное, сущее только назначено *миновать*; оно не увлекло ни Магадеви, ни брамина какого нибудь, — баядера показалась и ушла; у Гёте, она исторгнута во всей блестящей красотѣ своей отъ гибели: въ вѣчной мысли есть мѣсто и временному—

Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor!

Первый свободный шагъ въ элементѣ мышленія совершился, когда человѣкъ сталъ на благородную европейскую почву, когда онъ выдвинулся изъ Азіи: Іонія — начало Греціи и конецъ Азіи. Лишь только люди устроились на этой новой землѣ, какъ начали порывать пеленки, связывавшія ихъ на Востокѣ; мысль стала сосредоточиваться изъ фантастической распущенности, искать выхода изъ смутнаго стремленія самоопредѣленіемъ, самообузданіемъ. Въ Греціи человѣкъ ограничивается для того, чтобъ развить всю безграничность своего духа, дѣлается опредѣленнымъ для того, чтобъ выйдти изъ неопредѣленнаго состоянія дремоты, въ которое повергаетъ человѣка безхарактерная многосторонность. Вступая въ міръ Греціи, мы чувствуемъ, что на насъ вѣетъ роднымъ воздухомъ — это Западъ, это

*) Въ началѣ всѣхъ писемъ.

Европа. Греки первые начали протрезвляться отъ азіатскаго опьянѣнія и первые ясно посмотрѣли на жизнь, нашлись въ ней; они совершенно дома на землѣ — покойны, свѣтлы, люди. Въ „Иліадѣ," въ „Одиссеѣ" мы можемъ узнать знакомое, родственное, а не въ „Магабгаратѣ," не въ „Саконталѣ." Мнѣ всякій разъ становится тяжко и неловко, когда читаю восточныя поэмы: это не та среда, въ которой свободно дышетъ человѣкъ; она слишкомъ просторна и въ то же время слишкомъ узка; ихъ поэмы—давящія сновидѣнія, послѣ которыхъ человѣкъ просыпается, задыхаясь въ лихорадочномъ состояніи, и все еще ему кажется, что онъ ходитъ по косому полу, около котораго вертятся стѣны и мелькаютъ чудовищные образы, не несущіе ничего утѣшительнаго, ничего роднаго. Чудовищныя фантазіи восточныхъ произведеній были такъ же противны грекамъ, какъ чудовищные размѣры какихъ нибудь мемноновъ въ семьдесятъ метровъ ростомъ; греки никогда не смѣшивали высокаго съ огромнымъ, изящнаго съ подавляющимъ; греки вездѣ побѣждали отвлеченную категорію количества—на поляхъ мараѳонскихъ, въ статуяхъ Праксителя, въ геройхъ поэмъ и въ свѣтлыхъ образахъ Олимпійцевъ. Они постигли, что тайна изящнаго—въ высокой соразмѣрности формы и содержанія внутренняго и внѣшняго; они поняли, что въ природѣ все развитое блеститъ не огромностію чрева, а, совсѣмъ напротивъ, сосредоточивается до крайне-необходимаго соотвѣтствія наружнаго внутреннему; гдѣ наружное слишкомъ велико—внутреннее бѣдно: моря, горы, степи велики, а конь, олень, голубь, райская птичка малы. Мысль высокой, музыкальной, ограниченной, и именно потому безконечной, соразмѣрности—чуть ли не главная мысль Греціи, руководившая ее во всемъ; она-то

проявилась въ томъ изящномъ созвучіи всѣхъ сторонъ аѳинской жизни, которое поражаетъ насъ своею художественною прелестью. Идея красоты была для грековъ безусловною идеею; она снимала въ самомъ дѣлѣ противоположность духа и тѣла, формы и содержанія; изсѣкая свои статуи, грекъ всякій разъ изсѣкалъ примирительное сочетаніе тѣхъ началъ, которыя необузданно поддавались распаленной фантазіи на Востокѣ.. Міръ греческій, въ извѣстномъ очертаніи, изъ котораго онъ не могъ выйдти, не перейдя себя, былъ чрезнычайно полонъ; у него въ жизни была какая-то *слитность*, то неуловимое сочетаніе частей, та гармонія ихъ, предъ которыми мы склоняемся, созерцая прекрасную женщину; до этой слитности, до этой виртуозности въ жизни, наукѣ, учрежденіяхъ новый міръ не дошелъ: это тайна, которую онъ не умѣлъ похитить изъ греческихъ саркофаговъ. Есть люди, которымъ греческая жизнь кажется, именно по соразмѣрности своей, по родству съ природой, по юношеской ясности, плоскою и неудовлетворительною; они пожимаютъ плечами, говоря о веселомъ Олимпѣ и его разгульныхъ жителяхъ; они презираютъ грековъ за то, что греки наслаждались жизнію въ то время, когда надобно было млѣть и мучить себя мнимыми страданіями; они не могутъ забыть, что греки равно поклонялись свѣтлому челу красавицы и циническому поступку гражданина, тѣлесной ловкости атлета и діалектикѣ софиста: они ставятъ гораздо выше ихъ мрачныхъ египтянъ, даже персовъ; объ Индіи и говорить нечего: съ шлегелевой легкой руки, лѣтъ двадцать не знали границъ индопочитанію. Это ничего не доказываетъ; вы можете еще такихъ людей найдти, которымъ вообще все здоровое противно,—такія искаженныя организаціи, которыя только неестественное на-

слажденіе считаютъ за истинное; это дѣло психической патологіи. Для насъ, напротивъ, все величіе греческой жизни—въ ея простотѣ, скрывающей глубокое пониманіе жизни; она спокойно у нихъ течетъ между двумя крайностями—между погруженіемъ въ чувственную непосредственность, въ которой теряется личность, и потерею дѣйствительности во всеобщихъ отвлеченіяхъ. Воззрѣніе грековъ намъ кажется матеріальнымъ въ сравненіи съ схоластическимъ дуализмомъ и съ трансцендентальнымъ идеализмомъ нѣмцевъ; въ сущности его скорѣе должно назвать реализмомъ (въ широкомъ смыслѣ слова), и этотъ реализмъ у нихъ является прежде всѣхъ мудрецовъ и ученій. Вѣра въ предопредѣленіе, въ судьбу есть вѣра эмпиріи, реализма; она основана на безусловномъ признаніи дѣйствительности міра, природы, жизни: „то, что есть, не случайно; оно предопредѣлено, оно неминуемо, оно должно быть.“ Такая вѣра въ судьбу есть, съ тѣмъ вмѣстѣ, вѣра въ событіе, въ *разумъ внѣшняго.* Мысль (легко освободившаяся отъ миѳовъ политеизма) съ первыхъ шаговъ должна была дойдти до созерцанія судьбы закономъ животворящимъ, началомъ (нусъ) всего сущаго; а на этомъ началѣ легко воздвигалась вся великая наука ихъ. Мышленіе грековъ, никогда недоходившее до послѣдней крайности распаденія съ природой или существующимъ, до непримиримаго противорѣчія безусловнаго съ условнымъ, не имѣло за то въ себѣ ничего судорожнаго; оно не считало своего дѣла святотатственнымъ обличеніемъ тайны, преступнымъ пытаніемъ заповѣднаго, чернокнижіемъ, нечистой связью съ темной силою; напротивъ, оно походило на ясный взглядъ проснувшагося человѣка, который радостно приводитъ въ сознаніе окружающій міръ и съ перваго шага понимаетъ, что онъ для того

и призванъ, чтобъ понять и возвести въ мысль; интересъ его безкорыстенъ, чистъ, и потому онъ смѣлъ, гордъ; онъ не трепещетъ, какъ адептъ среднихъ вѣковъ — этотъ тать, подсматривающій тайну природы; самыя цѣли ихъ розны: одинъ хочетъ знать, хочетъ истины; другой власти надъ естествомъ; для одного, природа имѣетъ объективное значеніе, а другой только того и добивается, чтобъ передѣлать ее, чтобъ изъ камня было золото, чтобъ земля была прозрачна. Разумѣется, въ этомъ себялюбивомъ притязаніи видно свое величіе эпохи, и въ уродливой формѣ средневѣковой алхиміи есть сторона, по которой адептъ выше грека. Духъ не сталъ еще самъ предметомъ для грека; онъ еще не довлѣлъ себѣ безъ природы и, стало быть, онъ ее не ставилъ, а принималъ ее, какъ роковое событіе; ключъ къ истинѣ не лежалъ внутри человѣка; этимъ-то ключомъ и считалъ себя алхимикъ. Грекъ не могъ отдѣлаться отъ внѣшней необходимости; онъ нашелъ средство быть нравственно-свободнымъ, признавая ее; этого мало: надобно было самую судьбу превратить въ свободу, надобно было все побѣдить разуму; надобно было выстрадать эту побѣду; но греки не умѣли страдать; они принимали легко самые тяжелые вопросы. Неоплатоники поняли это и пошли по иному пути; то, чего не доставало греческому воззрѣнію, сдѣлалось началомъ и точкою отправленія,—но ужь было поздно. Съ неоплатониковъ начался идеализмъ, какъ господствующее направленіе, какъ единое истинное мышленіе; мысль стала иначе, утратила дѣйствительность и реализмъ истинно-греческой философіи. Соединеніе этихъ сторонъ, быть можетъ, важнѣйшая задача грядущей науки*).

*) Излагая главные моменты греческой философіи, я слѣдовалъ

Начало знанія есть сознательное противоположеніе себя предмету и стремленіе снять эту противоположность мыслію. Іонійская философія представляетъ намъ въ богатомъ и широкомъ развитіи этотъ моментъ. Пробужденное сознаніе останавливается предъ природой и ищетъ подчинить ея многоразличіе единству, чему нибудь всеобщему, царящему надъ частнымъ. Это первая потребность человѣка, когда онъ просыпается отъ неопредѣленныхъ сновидѣній чувственно-непосредственнаго воззрѣнія, когда онъ перестаетъ удовлетворяться фантазіями и, недовольный, жаждетъ не образовъ, а пониманія; но этого всеобщаго единства человѣкъ не ищетъ сначала ни въ себѣ, ни въ духовномъ элементѣ вообще, а въ самомъ предметѣ, и притомъ какъ сущаго,— онъ еще такъ привыкъ къ непосредственности, что не можетъ разомъ оторваться отъ нея. Предметъ его знанія также непосредственный, данный эмпиріей — природа. Для того, чтобъ себя поставить предметомъ, надобно много прожить мыслію, надобно, между прочимъ, усомниться въ полной дѣствительности природы. Практически, безсознательно человѣкъ поступалъ, какъ властьимущій надъ окружающимъ міромъ или, лучше, надъ

„Лекціямъ Гегеля объ исторіи древней философіи.“ Всѣ мѣста, цитованныя мною изъ Платона, Аристотеля, взяты оттуда. Исторія древней философіи у него отдѣлана до высокаго художественнаго совершенства; кажется, нельзя того же сказать объ его исторіи новой философіи: она бѣдна и мѣстами односторонняя, даже пристрастна (напр., какъ мало оцѣненъ подвигъ Канта!) Знакомые съ германской философіей увидятъ въ самомъ изложеніи древней философіи нѣкоторыя довольно важныя отступленія отъ „Лекцій объ исторіи философіи.“ Я во многихъ случаяхъ не хотѣлъ повторять чисто абстрактныхъ и пропитанныхъ идеализмомъ мнѣній германскаго философа, тѣмъ болѣе, что въ этихъ случаяхъ онъ былъ невѣренъ себѣ и платилъ дань своему вѣку.

окружающими его частностями, — отрицалъ ихъ самобытность; но теоретически, общимъ образомъ, сознательно онъ не совершилъ еще этого шага. Напротивъ, у человѣка есть врожденная вѣра въ эмпиризмъ и въ природу, такъ какъ врожденная вѣра въ мысль; отдаваясь этой вѣрѣ въ физическій міръ, человѣкъ въ немъ ищетъ „начала всѣхъ вещей," т. е. единства, изъ котораго все проистекаетъ, къ которому все стремится, — всеобщее, обнимающее всѣ частности. Откуда было Іонійцамъ взять такую дерзость, чтобъ обратиться къ груди своей и въ ней искать этого начала? Вспомните, что едва Гёте чрезъ тысячелѣтіе осмѣлился сдѣлать вопросъ: „зерно природы не лежитъ ли въ сердцѣ человѣка?"—и его не поняли современники! Іонійцы съ отроческою простотою въ самой природѣ искали *начала*; они его искали какъ сущее между существующимъ, какъ высшую вещественность, составляющую основу прочихъ вещей; ихъ непривыкнувшій къ отвлеченіямъ умъ не могъ иначе удовлетворяться, какъ естественною видимостью начала. Ни знаніе, ни мышленіе никогда не начинаются съ полной истины,—она ихъ цѣль; мышленіе было бы ненужно, еслибъ были готовыя истины, — ихъ нѣтъ; но развитіе истины составляетъ ея организмъ, безъ котораго она недѣйствительна. Мышленіемъ истина развивается изъ бѣднаго, отвлеченнаго, односторонняго опредѣленія до самаго полнаго, конкретнаго, многосторонняго, достигая этой полноты рядомъ самоопредѣленій, безпрерывно углубляющихся въ разумъ предмета. Первое, начальное опредѣленіе, самое внѣшнее, самое неразвитое—зерно, возможность, тѣсная сосредоточенность, въ которой потеряны различія; но съ каждымъ шагомъ дальнѣйшаго самоопредѣленія, истина находитъ болѣе и болѣе органовъ для своего иде-

альнаго бытія: такъ разумъ въ новорожденномъ становится дѣйствительностью только тогда, когда органы младенца достаточно разовьются, окрѣпнутъ, возмужаютъ, когда его мозгъ сдѣлается способенъ вынести разумъ. Но гдѣ же въ природѣ, въ этомъ безпрерывномъ круговоротѣ измѣненій, въ которомъ двухъ разъ не встрѣтимъ однѣ и тѣ же черты, гдѣ въ ней найдти всеобщее начало, по крайней мѣрѣ такую сторону ея, которая всего ближе выражала бы мысль единства и покоя въ безпокойномъ многоразличіи физическаго міра? Ничего не могло быть естественнѣе, какъ принятіе *воды* за это начало: она не имѣетъ опредѣленной, стоячей формы; она вездѣ, гдѣ есть жизнь; она вѣчное движеніе и вѣчное спокойствіе —

Wasser umfänget
Ruhig das All!

Безъ сомнѣнія, Ѳалесъ, признавая началомъ всему воду, видѣлъ въ ней болѣе, нежели *эту* воду, текущую въ ручьяхъ. Для него, вода не только вещество, отличное отъ другихъ веществъ земли, воздуха, но вообще текучій растворъ, въ которомъ все распускается, изъ котораго все образуется; въ водѣ осядаетъ твердое, изъ нея испаряется легкое; для Ѳалеса она, вѣроятно, была и образъ мысли, въ которой снято и хранится все сущее: только въ этомъ значеніи—широкомъ, полномъ мысли, эмпирическая вода, какъ начало, получаетъ истинно-философскій смыслъ. Вода Ѳалеса, — существующая стихія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мысль, представляетъ первое мерцаніе и просвѣчиваніе идеи сквозь грубую физическую кору, отъ которой она еще не освободилась. Это дѣтское провидѣніе единства бытія и мышленія, это фетишизмъ въ сверѣ логики и фетишизмъ превосходный. Вода—спокойная, глубокая среда,

вѣчно дѣятельная раздвоеніемъ (сгущаясь, испаряясь), —вѣрнѣйшій образъ понятія, расторгающагося на противоположныя опредѣленія и служащаго связью имъ. Само собою разумѣется, что вода не соотвѣтствуетъ тому понятію всеобщей сущности, которое съ нею сопрягалъ Ѳалесъ; но здѣсь не такъ важно истинное понятіе воды, какъ именно *его* понятіе о водѣ: изъ *его* понятія о водѣ мы узнаемъ его понятіе о началѣ. Во время неразвитости мышленія, методы, языка, подъ односторонними опредѣленіями кроется несравненно-болѣе, нежели сколько лежитъ въ строгомъ прозаическомъ смыслѣ высказанныхъ словъ. Мы часто будемъ видѣть, какъ изъ-за неловкаго выраженія проглядываетъ глубокое созерцаніе, и потому весьма важно усвоить себѣ смыслъ, въ которомъ сама система понимала свои начала. Сказать просто: Ѳалесъ считаетъ всему началомъ воду, а Пиѳагоръ число, не заботясь о томъ, что̀ для одного представляла вода, а для другаго число, значитъ выдать ихъ за полусумасшедшихъ или за тупоумныхъ. Выраженіе „глоссологія“ измѣняетъ имъ; они *болѣе* мысли хотятъ втѣснить въ образъ, ими избранный, нежели онъ можетъ впитать въ себя; но отъ этого нельзя отрицать или пренебрегать тою стороною ихъ мысли, которая, если не нашла достодолжнаго выраженія, то навѣрное оставила мощный слѣдъ. Такъ въ животныхъ низшей организаціи замѣчаемъ мы указанія, намеки, такъ сказать, на тѣ части и органы, которые вполнѣ развиваются только въ высшихъ животныхъ; ненужная, по-видимому, неразвитость есть непреложное условіе будущаго совершенства. Каждая школа подъ своимъ началомъ разумѣла болѣе формально-высказаннаго, и потому считала свое начало безусловнымъ, себя въ обладаніи всею истиною — и была

отчасти права; напротивъ, слѣдующее за ней воззрѣніе видитъ обыкновенно только формально-высказанное и стремится снять односторонность, изъявляющую притязаніе на всеобщность, какой нибудь новой односторонностью съ тѣмъ же притязаніемъ; завязывается безпощадная борьба, и нападающій тупо не догадывается, что въ самомъ дѣлѣ проходящій моментъ обладалъ истиною, но въ несоотвѣтственной формѣ; недостатки же формы замѣнялъ живымъ духомъ своимъ. Съ своей стороны, проходящій моментъ также мало понимаетъ, что выталкивающій его имѣетъ права на то во имя той стороны истины, которою онъ обладаетъ. Эмпирическимъ носителемъ іонійской мысли о единствѣ не была одна вода; она такъ рѣзко индивидуальна, что не можетъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ всеобщаго начала. Воздухъ, какъ по превосходству безвидный, разрѣженный, былъ также принимаемъ нѣкоторыми изъ Іонійцевъ за начало. Наконецъ, они сдѣлали попытку совсѣмъ оторваться отъ естественной сущности и перейдти въ сферу тѣхъ отвлеченій, которыя составляютъ пропилеи логики; они отрицали прямо конечное въ пользу безконечной основы въ родѣ матеріи, вещества нынѣшнихъ физиковъ; безконечное Анаксимандра было именно вещество, лишенное всякаго качественнаго опредѣленія: таковъ былъ первый, полудѣтскій, но твердый шагъ науки. Расходящіяся гометрическія представленія приводятся къ единству, единство это ищется въ природѣ, самобытность частнаго не признается состоятельной предъ всеобщимъ началомъ, какъ бы это начало ни было опредѣлено: такое подчиненіе единству и всеобщему—настоящій элементъ мышленія. Немного дальновидности надобно было имѣть, чтобъ понять, что противъ этого единства политеизмъ не устоитъ. Судь-

ба Олимпа была рѣшена въ ту минуту, какъ Ѳалесъ обратился къ природѣ; отъискивая въ ней истину, онъ, какъ и другіе Іонійцы, выразилъ свое воззрѣніе независимо отъ языческихъ представленій. Жрецы поздно выдумали наказывать Анаксагора и Сократа; въ элементѣ, въ которомъ двигались Іонійцы, лежалъ зародышъ смерти элевзинскихъ и всѣхъ языческихъ таинствъ. Кто упрекнетъ Іонійцевъ въ томъ, что они, принимая за начало эмпирическую стихію, показали недостаточное понятіе объ элементѣ мысли, — будетъ правъ; но, съ другой стороны, пусть онъ оцѣнитъ чисто реальный греческій тактъ, заставившій ихъ искать свое начало въ самой природѣ, а не внѣ ея, искать безконечное въ конечномъ, мысль въ бытіи, вѣчное во временномъ. Почва наукообразная была пріобрѣтена ими, *сущее начало* не могло на ней удержаться; но она была способна къ развитію; это была начальная ступень: ступившему на нее раскрывалась цѣлая лѣстница.

Прежде, нежели мышленіе перешло отъ чувственныхъ и сущихъ опредѣленій безусловнаго къ опредѣленіямъ отвлеченно-логическимъ, оно естественнымъ образомъ должно было попытаться выразить безусловное промежуточнымъ моментомъ, найдти истину между крайностями сущаго и отвлеченнаго. Эта готовность осуществить всякую возможность принадлежитъ безпокойному и вѣчно дѣятельному характеру жизни, какъ въ историческомъ мірѣ, такъ и въ физическомъ; органическое развитіе вещества не оставляетъ втунѣ ни одной возможности, не призвавъ ее къ жизни. Между чувственными опредѣленіями и опредѣленіями чисто логическими, Пиѳагоръ нашелъ нѣчто постояннное, связующее ихъ, принадлежащее имъ обоимъ, не чувственное и не мысль—число. Смѣлость и, слѣдственно, крѣпость мы-

сли пиѳагорейской очевидна; все сущее, принимаемое обыкновенно за дѣйствительность, опрокинуто, и на мѣсто эмпирическаго существованія поднято и признано за истину нѣчто невещественное, мыслимое, но притомъ далеко не субъективное, а такъ сказать, мыслимое, снимаемое съ вещественнаго. „Пиѳагорейцы“ говоритъ Аристотель: „принимали устройство вселенной за согласную систему чиселъ и ихъ отношеній.“ Они исторгли *постоянное отношеніе* изъ вѣчной перемѣняемости феноменальнаго бытія, и оно въ самомъ дѣлѣ царитъ надъ всѣмъ сущимъ. Математическое міросозерцаніе, основанное пиѳагорейцами и получившее богатое развитіе въ новѣйшія времена, потому и сохранилось черезъ всѣ вѣка, что въ немъ есть сторона глубоко-истинная; математика стоитъ между логикой и эмпиріей, въ ней уже признана объективность мысли и логичность событія; ея враждебное отношеніе къ философіи формально не имѣетъ никакого основанія. Само собою разумѣется, что отношеніе предметовъ, моментовъ, фазъ, гармоническіе законы, ихъ связующіе, ряды, которыми они развиваются, не исчерпываютъ *всего* содержанія ни природы, ни мысли. Пиѳагорейцы не замѣчали, что подъ числомъ разумѣли несравненно-болѣе, нежели сколько лежало въ понятіи числа; они не замѣчали, что въ числѣ остается нѣчто мертвое, безстрастное, пренебрегающее конкретнымъ содержаніемъ, равнодушная мѣра. Для нихъ порядокъ, согласіе, гармоническое числовое сочетаніе удовлетворяли всѣмъ требованіямъ, но удовлетворяли потому, что они собственно не останавливались на чисто-математическихъ опредѣленіяхъ; геніальность учителя и пламенная фантазія учениковъ привносили всю полноту содержанія, недостававшаго началамъ. Это иллогическое дополненіе

мы постоянно будемъ встрѣчать во всей греческой философіи; это, такъ сказать, перехватывающая субъективность генія грековъ, а съ другой стороны—неспособность ихъ къ чистымъ отвлеченіямъ. На этой неотрѣшимости грековъ отъ реализма и на провидѣніи истины болѣе, нежели на сознаніи, основана полнота распаденія личности съ природой въ древнемъ мірѣ. Число, оставленное само на себя, не могло удержаться на той высотѣ, на которую его поставили пиѳагорейцы: „оно не носило въ себѣ начала самодвиженія," какъ замѣтилъ Аристотель. Но для нихъ единица была не только ариѳметическая единица, первый членъ, ключъ, рядъ, мѣра,—для нихъ она была, вмѣстѣ съ тѣмъ, безусловнымъ единствомъ, могуществомъ и возможностію самораздвоенія, животворящей монадой, гермафродитомъ, въ себѣ хранящимъ свое раздвоеніе и не теряющимъ своего единства при развитіи въ многоразличіе. Они были такъ проникнуты порядкомъ, согласіемъ, гармоніею, числовымъ сочетаніемъ, вездѣсущимъ ритмомъ, что для нихъ вселенная представлялась статико-музыкальнымъ цѣлымъ. И кто откажетъ въ величіи ихъ представленію десяти небесныхъ сферъ, расположенныхъ по строгому порядку, не только въ извѣстномъ отношеніи къ величинѣ и скорости, но и въ музыкальномъ отношеніи; ринутые въ свое вѣчное движеніе, обтекая орбиты свои, они издаютъ согласные звуки, сливающіеся въ одинъ величественный, вселенскій хоралъ. По-видимому, удаленное отъ всего поэтическаго, воззрѣніе математики очень близко ко всему фантастическому и мистическому. Безумнѣйшіе мистики всѣхъ вѣковъ опирались на Пиѳагора и создавали свою науку чиселъ; въ математическомъ воззрѣніи есть что-то сумрачно-величавое, аскетическое, плотоумерщвляющее: оно-то, вмѣ-

сто реальныхъ страстей, и располагаетъ фантазію къ астрологіи, кабалистикѣ, и проч.

Еще шагъ мысли по этому пути обобщенія — и она должна была порвать послѣднія путы и явиться въ своей области, то есть оторваться не токмо отъ чувственнаго, отъ числоваго, но и вообще отъ всякаго дѣйствительнаго опредѣленія, — пожертвовать полнотою многоразличія отвлеченному единству всеобщаго. Такой шагъ, съ одной стороны, освобождаетъ мысль отъ всего, ограничивающаго ее, съ другой — ведетъ къ величайшимъ отвлеченностямъ, въ которыхъ все пропадаетъ, въ которыхъ потому и свободно, что пусто. Отрѣшать предметъ отъ односторонности реальныхъ опредѣленій, значитъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, дѣлать его неопредѣленнымъ; чѣмъ общѣе сфера, тѣмъ она кажется ближе къ истинѣ, тѣмъ болѣе устранено усложняющихъ односторонностей: на самомъ дѣлѣ не такъ; сдирая плеву за плевой, человѣкъ думаетъ дойдти до зерна, а между тѣмъ, снявъ послѣднюю, онъ видитъ, что предметъ совсѣмъ исчезъ; у него ничего не остается, кромѣ сознанія, что это не ничего, а результатъ снятія опредѣленій. Очевидно, что такимъ путемъ до истины не дойдешь. По несчастію, этой очевидности не хотѣли видѣть; напротивъ, обобщая категоріи, очищая предметъ отъ всѣхъ его опредѣленій, качественныхъ и количественныхъ, съ торжествомъ останавливаются на отвлеченнѣйшемъ признаніи тождества его съ собою, и *призракъ* чистаго бытія принимаютъ за истину дѣйствительно-сущаго; чистое бытіе становится въ родѣ духа, улетѣвшаго изъ усопшаго и витающаго надъ трупомъ, безъ силы его оживить. Для логическаго процесса, для феноменологическаго движенія мысли не можетъ быть лучшаго предположенія, лучшей точки отправленія, какъ чистое бытіе, —

начало не можетъ быть ни опредѣленнымъ, ни имѣющимъ посредства: чистое бытіе именно неопредѣленная непосредственность,—наконецъ, въ началѣ не можетъ быть дѣйствительной истины, а одна возможность ея. Дайте какое хотите опредѣленіе, какое хотите развитіе чистому бытію,—оно сдѣлается бытіемъ опредѣленнымъ, дѣйствительнымъ, и измѣнитъ характеру начала, возможности. Чистое бытіе—пропасть, въ которой потонули всѣ опредѣленія дѣйствительнаго бытія (а между тѣмъ, они-то одни и существуютъ), не что иное, какъ логическая абстракція, такъ какъ точка, линія—математическія абстракціи; въ началѣ логическаго процесса, оно столько же бытіе, сколько небытіе. Но не надобно думать, что бытіе опредѣленное возникаетъ въ самомъ дѣлѣ изъ чистаго бытія,—развѣ изъ понятія рода возникаетъ существующій индивидъ? мысль начинаетъ съ этихъ абстракцій, и движеніе ея необходимо обличаетъ отвлеченность ихъ и отказывается отъ нихъ всѣмъ дальнѣйшимъ движеніемъ. Мысль въ началѣ логическаго процесса—именно способность отвлеченнаго обобщенія; конечное и опредѣленное достигаетъ въ мысли безконечности, неопредѣленной сначала, но опредѣляющейся цѣлымъ рядомъ формъ, которыя, наконецъ, получаютъ полную опредѣлительность и такимъ образомъ замыкаютъ безконечное и конечное сознательнымъ единствомъ.

Чистое бытіе было принято за истину, за безусловное элеатиками; они абстракцію чистаго бытія приняли за дѣйствительность, *болѣе дѣйствительную*, нежели *бытіе опредѣленное,* за верховное единство, царящее надъ многоразличіемъ. Такое логическое, холодное, отвлеченное единство безотрадно; въ немъ гибнетъ всякое различіе, всякое движеніе; это вѣчный покой, нѣмая безгранич-

ность, штиль на морѣ, летаргическій сонъ, наконецъ смерть, небытіе. Въ самомъ дѣлѣ, элеатики отрицали всякое движеніе, не признавали истины многоразличія— это индійскій квіэтизмъ въ философіи. Бытіе свидѣтельствуетъ только о томъ, что *оно есть*; меньше, бѣднѣе ничего нельзя сказать о предметѣ, какъ то, что онъ есть,—это повтореніе слова „омъ! омъ!“ браминомъ, достигшимъ желанной близости къ Вишну, ставшимъ на краю пропасти, къ которой онъ стремился, чтобъ освободиться отъ своей индивидуальности. Бытію, для того только, чтобъ быть, нѣтъ нужды въ движеніи; для дѣятельности надобно, чтобъ бытію чего нибудь не доставало, чтобъ оно стремилось къ чему нибудь, боролось съ чѣмъ нибудь, чего нибудь достигало бы. Но то, къ чему можетъ бытіе стремиться, было бы внѣ его,—стало быть, его не было бы. Элеатики очень послѣдовательно отрицали движеніе и небытіе. „Бытіе,“ говорилъ Парменидъ: „есть, а небытія вовсе нѣтъ.“ Вѣрные реальному такту грековъ, элеатики не смѣли идти до послѣдняго логическаго вывода; ихъ языкъ не повернулся бы признаться, что чистое бытіе тождественно небытію; какой-то инстинктъ шепталъ имъ, что какъ хочешь абстрагируй, но субстрата, но вещества не уничтожишь, что бытіе самобѣднѣйшее его свойство, но за то и самонеотъемлемѣйшее, что его на самомъ дѣлѣ уничтожить нельзя, *некуда дѣть*; отвернуться только можно отъ него, или не узнать его въ видоизмѣненіяхъ. Въ XVIII столѣтіи, на эту мысль неизмѣняемости вещественнаго бытія—попалъ знаменитый Лавуазье. „Вѣсъ вещества,“ сказалъ онъ: „не можетъ никогда утратиться, количество матеріи постоянно; отвлекаясь отъ качественныхъ измѣненій, мы остаемся при неизмѣнномъ вѣсѣ.“ На этой элеатико-левкиповской мысли основыва-

ясь, онъ взялъ химическіе вѣсы въ руки, — и вы знаете великіе результаты, до которыхъ онъ и его послѣдователи достигли. Долго удержаться на страшной всеобщности чистаго бытія мысль человѣческая не могла. Успокоившись въ отвлеченномъ просторѣ чистаго бытія, нельзя не понять наконецъ, что этотъ просторъ — совершеннѣйшее безразличіе, безразличіе, сходное съ предположеніемъ силы расширительной, дѣйствующей на свободѣ въ шеллинговомъ построеніи физическаго міра: она до того расширяется, не встрѣчая препятствія, что ея нѣтъ; тутъ ужь поздно ее спасать силой сжимательной. Но дѣло въ томъ, что чистое бытіе, такъ же, какъ и безусловное расширеніе, вовсе недѣйствительны; это координаты, употребляемые геометромъ для опредѣленія точки, — координаты, нужные ему, а не точкѣ; проще: чистое бытіе — подмостка, по которой отвлеченное мышленіе поднимается къ конкретному. Не только небытія вовсе нѣтъ, но и чистаго бытія вовсе нѣтъ, — а есть бытіе, опредѣляющееся, совершающееся въ вѣчно дѣятельномъ процессѣ, котораго отвлеченные и противоположные моменты (бытіе и небытіе), врознь, другъ безъ друга, существуютъ только въ феноменологіи сознанія, а не въ мірѣ эмпирико-дѣйствительномъ; эти моменты, отвлеченные отъ процесса, связующаго ихъ, разъятые, — призрачны, невозможны и истинны только какъ переходныя ступени логическаго движенія; въ существованіи своемъ, напротивъ, они дѣйствительны, и потому нерасторгаемо-присущи другъ другу. Бытіе дѣйствительное не есть мертвая косность, а безпрерывное возникновеніе, борьба бытія и небытія, безпрерывное стремленіе къ опредѣленности съ одной стороны и такое же стремленіе отречься отъ всякой задерживающей положительности. Геніальное: „все те-

четъ!“ произнеслось Гераклитомъ, — и расплавленный кристаллъ элеатическаго бытія устремился вѣчнымъ потокомъ. Гераклитъ подчинилъ и бытіе и небытіе — перемѣнѣ, движенію: *все течетъ!* ничто не остается неподвижно, одинаково; все—быстро ли, тихо ли—движется, видоизмѣняясь, превращаясь, колеблясь между бытіемъ и небытіемъ. „Предметы,“ говоритъ Гераклитъ: „похожи на стремящійся потокъ; два раза нельзя наступить въ одну и ту же воду“*). Для него безусловное — самый процессъ восхожденія естественнаго многоразличія къ единству; для него дѣйствительное — не страдательная покорность отвлеченной вещественности, не субстратъ движенія, не бытіе движимаго, а то, что *необходимо* движетъ его, то, что его измѣняетъ. Бытіе у Гераклита имѣетъ само въ себѣ свое отрицаніе, оно неотъемлемо, присуще ему; это его демоническое начало, сопровождающее его всегда и вездѣ, безпрерывно противодѣйствующее ему, снимающее сотворенное имъ, мѣшающее уснуть, окрѣпнуть въ неподвижности. Бытіе живо движеніемъ; съ одной стороны, жизнь есть ничто иное, какъ движеніе безпрерывное, неостанавливающееся, дѣятельная борьба и, если хотите, дѣятельное примиреніе бытія съ небытіемъ, и чѣмъ упорнѣе, злѣе эта борьба, тѣмъ ближе они другъ къ другу, тѣмъ выше жизнь, развиваемая ими; борьба эта вѣчно у конца и вѣчно у начала, — безпрерывное взаимодѣйствіе, изъ котораго они выйдти не могутъ. Это — бѣличье колесо жизни. Животный организмъ представляетъ постоянную борьбу съ смертію, которая всякій разъ восторже-

*) „Тѣла,“ говоритъ Лейбницъ: „только кажутся постоянными; они похожи на потокъ, ежеминутно приносящій новую воду,— на тезеевъ корабль, который Аѳиняне безпрестанно чинили.“

ствуетъ; но торжество это опять въ пользу опредѣленнаго бытія, а не небытія. Многоначальныя ткани, изъ которыхъ составлено живое тѣло, безпрестанно разлагаются на двуначальныя (т. е. на неорудныя, минеральныя), и безпрестанно вновь образуются; голодъ возобновляетъ требованія свои, потому что безпрерывно утрачивается матеріалъ; дыханіе поддерживаетъ жизнь и сожигаетъ организмъ; организмъ безпрерывно вырабатываетъ сожигаемое. Не кормите животнаго—у него кровь и мозгъ сгорятъ... Чѣмъ болѣе развита жизнь, чѣмъ въ высшую сферу перешла она, тѣмъ отчаяннѣе борьба бытія и небытія, тѣмъ ближе они другъ къ другу. Камень гораздо прочнѣе звѣря; въ немъ бытіе преобладаетъ надъ небытіемъ, онъ мало нуждается въ средѣ, его окружающей, онъ безъ большихъ усилій, извнѣ на него дѣйствующихъ, не измѣнитъ ни формы, ни состава, онъ почти не носитъ въ себѣ самомъ причину своего разложенія—и оттого онъ упоренъ; малѣйшее прикосновеніе къ мозгу животнаго въ этой сложной, рыхлой, нетвердѣющей массѣ, повергаетъ его мертвымъ; малѣйшее неравновѣсіе въ сложномъ химизмѣ крови — и животное страдаетъ, по своему нормальному состоянію, мучится и умираетъ, если не можетъ побѣдить, то есть возстановить норму. Страдательное, тяжелое бытіе тѣснитъ своей грубой опредѣленностью жизнь: жизнь камня — постоянный обморокъ; она тамъ свободнѣе, гдѣ ближе къ небытію; она слаба въ высшихъ проявленіяхъ, она тратитъ, такъ сказать, вещественность на достиженіе той высоты, на которой бытіе и небытіе примиряются, подчиняются высшему единству. Все прекрасное нѣжно, едва существуетъ; это цвѣты, умирающіе отъ холоднаго вѣтра въ то время, какъ суровый стебель крѣпнетъ отъ него, но за то онъ и не благо-

ухаетъ и не имѣетъ пестрыхъ лепестковъ; мгновенія блаженства едва мелькаютъ,— но въ нихъ заключается цѣлая вѣчность... Возникновеніе, дѣятельный процессъ себяопредѣленія, его противоположные моменты (бытіе и небытіе), утрачиваютъ въ немъ свою мертвую косность, принадлежащую отвлеченному мышленію, а не дѣйствительному; какъ смерть не ведетъ къ чистому небытію, такъ и возникновеніе не берется изъ чистаго небытія, — возникаетъ бытіе опредѣленное изъ бытія опредѣленнаго, которое становится субстратомъ въ отношеніи къ высшему моменту. Возникнувшее не кичится тѣмъ, что *оно есть:* это слишкомъ бѣдно, это подразумѣвается; оно не выставляетъ истиной своей своего тождества съ собою, свое бытіе, а напротивъ, раскрываетъ себя процессомъ, низводящимъ свое бытіе на значеніе момента. Гераклитъ понялъ, что истина есть именно существованіе двухъ противоположныхъ моментовъ; онъ понялъ, что они сами по себѣ не истинны и невозможны, что въ нихъ истинно одно стремленіе тотчасъ перейдти въ противоположное. Для него, жившаго за 500 лѣтъ до Р. Х., мысль эта была такъ ясна, что онъ не могъ въ существованіи, въ бытіи видѣть что нибудь постоянное, кромѣ того начала, которое переходитъ въ многоразличіе и, съ другой стороны, стремится изъ многоразличія къ единству; онъ понялъ это, не смотря на то, что движеніе собственно было для него событіе неотразимое, событіе роковое; признавая его, онъ покорялся необходимости, отъ которой ключа у него не было. Отчего же *ученые* мужи нашего времени такъ удивились, такъ тупо не поняли, когда мысль Гераклита явилась не какъ геніальная догадка, а какъ послѣднее слово методы, проведенной строго, отчетливо, наукообразно? Выраженіе что ли крутое и

отвлеченное: „бытіе есть небытіе“ — поразило? или, можетъ быть, ихъ близость въ возникновеніи напугала? Но выраженіе, вырѣзанное изъ живаго развитія, понять нельзя, особенно когда не хотятъ ни знать путей, ни сосредоточить на немъ всего вниманія. Безъ вниманія все неясно,— ни логики не поймешь, ни въ вистъ не выучишься играть. Практически мы именно гераклитовски смотримъ на вещи; только во всеобщей сферѣ мышленія не можемъ понять того, что дѣлаемъ. Не споконъ ли вѣка сознавали люди, что не мертвая косность сущаго предмета, не его тождество съ собою — полная истина его? Во всемъ живомъ, наприм., развѣ мы видимъ что нибудь, кромѣ процесса вѣчнаго преображенія, живущаго, по-видимому, въ одной перемѣнѣ? Кости — самое твердое бытіе организма, а мы ихъ даже живыми не считаемъ.

Мы замѣтили, что элеатики, принявъ за основаніе чистое бытіе, не имѣли смѣлости признаться, что оно тождественно небытію. Такъ и Гераклитъ, поставившій истиною сущаго начало движущее (сущность), не дошелъ до уничтоженія бытія въ силѣ, въ причинѣ движенія, въ субстанціи. Греки не распадались такъ глубоко съ эмпирическимъ воззрѣніемъ: когда ихъ мысль приходитъ къ крайнимъ абстракціямъ, тотчасъ являются у нихъ изящные образы, фантастическія представленія, поддерживающія ихъ на берегу пропасти. Такъ у Гераклита, вмѣсто послѣднихъ безжалостныхъ выводовъ субстанціальнаго отношенія, вы встрѣчаете *время* и *огонь* наглядными представителями процесса движенія. Въ самомъ дѣлѣ, время — образъ безусловнаго возникновенія; сущность его состоитъ только въ томъ, чтобъ быть и вмѣстѣ съ тѣмъ не быть; во времени не прошедшее и будущее, а настоящее дѣйствительно; но оно

существуетъ только для того, чтобъ не существовать, оно тотчасъ прошло, оно сейчасъ наступитъ,—оно есть въ этомъ движеніи, какъ единство двухъ противоположныхъ моментовъ. Огонь въ природѣ соотвѣтствуетъ также превосходно его мысли: огонь сожигаетъ противоположное собою, безусловное безпокойство, безусловное распущеніе существующаго, переходимость другаго и самого себя. Гераклитъ вездѣ видитъ огонь; для него вода—потухшій огонь, земля—окрѣпнувшая вода; но земля снова распускается въ моряхъ, испаряется ими въ воздухъ, гдѣ воспламеняется и творитъ воду. Итакъ, вся природа—метаморфоза огня. Самыя звѣзды для Гераклита не однажды-конченныя мертвыя массы: „вода испаряется и осаждается темнымъ процессомъ и свѣтлымъ; темный даетъ землю, свѣтлый поднимается въ воздухъ, загорается въ солнечной атмосферѣ и производитъ метеоры, планеты и звѣзды“; и такъ, онѣ возникаютъ слѣдствіемъ того же живаго взаимодѣйствія, движенія, „все расторгается внутреннею враждою и стремленіемъ къ высшему единству дружбы и гармоніи.“ „Вселенная—вѣчно живой огонь, душа ея—пламень, загорающійся и тухнущій по своему закону.“ Итакъ, мало того, что онъ понялъ природу процессомъ: онъ понялъ ее самодѣятельнымъ процессомъ. Однако, изъ этого движенія ничего не исторгается, нѣтъ единства, которое ставилось бы временнымъ круженіемъ и обличалось бы результатомъ его и его началомъ. Начало движенія у Гераклита—роковая, тягостная необходимость, выдерживающая себя въ многоразличіи, неизвѣстно для чего втѣсняющая себя, какъ неотразимая сила, какъ событіе, но не какъ свободная, сознательная цѣль. Цѣли движенію вообще Гераклитъ не далъ; его движеніе конкретнѣе элеатическаго бытія, но оно аб-

страктно; оно громко требуетъ цѣли, постояннаго. Прежде, нежели мы скажемъ, какое начало и какую цѣль движенію далъ Анаксагоръ, мы должны показать другой выходъ изъ чистаго бытія, прямо противоположный Гераклиту, по крайней мѣрѣ по формальному выраженію: ибо, съ общей точки зрѣнія, атомизмъ, о которомъ мы говоримъ, представляетъ только дополняющій моментъ, необходимый и неминуемый динамизму, Атомизмъ и динамизмъ повторяютъ полярную борьбу бытія и небытія на болѣе опредѣленномъ и сжатомъ полѣ. Главная мысль атомизма состоитъ въ отрицаніи чистаго бытія въ пользу бытія опредѣленнаго; здѣсь не отвлеченное бытіе принимается за истину частностей, а частность, сама въ себѣ замкнутая, за истину бытія: это возвращеніе изъ сферы отвлеченной въ сферу конкретную, возвращеніе къ дѣйствительному, эмпирическому, существующему. Дѣйствительнымъ признается единичность, неотдающаяся на распущеніе въ абстрактныхъ категоріяхъ, протестующая противъ элеатическаго чистаго бытія во имя автономіи опредѣленнаго бытія; частное существуетъ для себя и само есть подтвержденіе своей качественной и количественной дѣйствительности. Левкипъ и Демокритъ положили начало этому ученію; съ тѣхъ поръ оно шло постоянно по параллельной линіи съ главнымъ потокомъ науки, никогда не сближаясь съ нимъ*); оно твердо оперлось на вѣрное, хотя одностороннее пониманіе природы, и принесло большую пользу естествовѣдѣнію. Атомизмъ, основанный на признаніи частности, противопоставляетъ неоспоримую недѣлимость, личность, такъ сказать, каждой сущей точки единству бытія и движенія, объемлющему

*) Развѣ только въ монадологіи Лейбница?

ихъ. Въ мысли все обобщается, въ природѣ все молекулярно, даже то, что намъ кажется совершенно неимѣющимъ частей и различія. Движеніе Гераклита покорено необходимости, т. е. фатализму; атомъ имѣетъ цѣль самъ въ себѣ, въ своемъ существованіи; онъ существуетъ для себя и достигаетъ своей сосредоточенности; атомизмъ выражаетъ повсюдный эгоизмъ природы; для него одно стремленіе существуетъ и истинно —это стремленіе природы къ индивидуализаціи; она представляется ему безусловной разсыпчатостью, какъ она и есть; но онъ не видитъ, что высшая, сосредоточеннѣйшая личность (человѣкъ) и есть, не смотря на атомизмъ свой, всеобщая, родовая личность, что ея эгоизмъ, ея сосредоточенность есть вмѣстѣ съ тѣмъ и лучезарная любовь. Идеализмъ съ своей стороны не видитъ, что родъ, всеобщее, идея, дѣйствительно не могутъ быть безъ индивида, атома; пока идеализмъ не пойметъ этого, атомизмъ не сдастся ему; пока тотъ или другой будутъ хотѣть исключительнаго признанія, до тѣхъ поръ они останутся въ борьбѣ. Динамизмъ и атомизмъ принадлежатъ къ тѣмъ безвыходнымъ антиномiямъ не вполнѣ развитой науки, которыя намъ встрѣчаются на каждомъ шагу. Очевидно, что истина съ той и съ другой стороны; очевидно даже, что противоположныя воззрѣнія почти одно и то же говорятъ, —у однихъ только истина поставлена на головѣ, а у другихъ на ногахъ; противорѣчіе выходитъ видимо непримиримое, а между тѣмъ, такъ и тянетъ изъ одного момента въ другой; но истину, какъ единство односторонностей, какъ снятіе противорѣчія, не любятъ умы, хвастающіеся ясностію. Конечно, односторонность проще: чѣмъ бѣднѣйшую сторону предмета мы возьмемъ, тѣмъ она очевиднѣе, яснѣе, и вмѣстѣ съ тѣмъ ненуж-

нѣе и безполезнѣе, что можетъ быть очевиднѣе формулы А=А, и что можетъ быть пошлѣе? Возьмите простѣйшую формулу уравненія первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ,— она будетъ гораздо сложнѣе, но за то въ ней заключается мысль, средство опредѣленія искомаго. Принимать ту или другую сторону въ антиноміяхъ совершенно ни на чемъ не основано; природа на каждомъ шагу учитъ насъ понимать противоположное въ сочетаніи; развѣ у ней безконечное отдѣлено отъ конечнаго, вѣчное отъ временнаго, единство отъ разнообразія? Строгое требованіе „того или другаго“ очень похоже на требованіе: „кошелекъ или жизнь“! Храбрый человѣкъ смѣло отвѣтитъ: „ни того, ни другаго, потому что нѣтъ необходимости для вашего каприза жертвовать тѣмъ или другимъ.“ Возвращаясь къ Левкипу, замѣтимъ, что для него атомъ не былъ безразличною, мертвою точкой: онъ принималъ полярность недѣлимаго и пустоты (опять бытіе и небытіе) и взаимодѣйствіе атомовъ; тутъ онъ и его послѣдователи теряются во внѣшнихъ объясненіяхъ, принимаютъ случайность, соединявшую и расторгавшую атомы,— случайность дѣлается какой-то сокровенной силой, неудовлетворяющей требованіямъ ума.

Анаксагоръ поставилъ началомъ мысль. Разумъ, всеобщее дѣлается сущностью, дѣятельнымъ двигателемъ; *нусъ*— та дѣятельность, которая въ несовершенствѣ и безсознательно является природою, и которая во всей чистотѣ раскрывается въ сознаніи, въ мышленіи. Въ природѣ нусъ воплощается частностями, сущими во времени и пространствѣ; въ сознаніи онъ достигаетъ своей всеобщности и вѣчности. Анаксагоръ— „первый трезвый мыслитель“— по выраженію Аристотеля, если не прямо высказалъ, что вселенная есть умъ, одѣйство-

творяющійся вѣчнымъ процессомъ, то онъ понялъ его самодвижущейся душою. Цѣль движенія: „исполнить все благое, заключенное въ душѣ.“ Замѣтимъ, такая цѣль не есть что либо постороннее мысли; мы привыкли обыкновенно ставить цѣль съ одной стороны, а достигающаго съ другой; но цѣль, взятая во всеобщности, сама заключена въ достигающемъ, имъ одѣйствотворяется,—существованіе предмета находится подъ вліяніемъ его цѣлесообразности: то исполнилось, что было; то развивается, что содержится. Живое сохраняется потому, что оно само по себѣ цѣль; оно и не знаетъ о своихъ цѣляхъ, оно имѣетъ земныя стремленія и желанія; эти желанія его — твердыя цѣлесообразныя опредѣленія; какъ бы животное ни относилось къ окружающей средѣ,—результатомъ ихъ столкновенія и взаимодѣйствія будетъ животный организмъ: оно только себя производитъ. Въ цѣлесообразномъ движеніи результатъ есть начало, исполненіе предшествующаго. Такимъ началомъ принялъ Анаксагоръ разумъ, законъ, и его положилъ въ основу бытію и движенію. Хотя онъ и не развилъ всего спекулятивнаго содержанія своего начала, но тѣмъ не менѣе шагъ, сдѣланный имъ для развитія мышленія, необъятенъ; его нусъ, заключающій въ возможности все благое, умъ, самосохраняющійся въ своемъ развитіи, имѣющій *въ себѣ мѣру* (опредѣленіе), торжественно воцаряется надъ бытіемъ и управляетъ движеніемъ. У Іонійцевъ мы видѣли безусловнымъ началомъ сущее—эмпирическое бытіе, поставленное абсолютнымъ; потомъ оно опредѣлилось, какъ чистое бытіе, отвлеченное отъ сущаго, не эмпирическое, не реальное, а логическое, отвлеченное; далѣе, оно представляется, какъ движеніе, какъ полярный процессъ. Но такое движеніе могло быть безвыходнымъ круговоротомъ, без-

цѣльнымъ движеніемъ и болѣе ничего, безотраднымъ рядомъ возникновеній, перемѣнъ, перемѣнъ этихъ перемѣнъ, — и такъ въ безконечность. Анаксогоръ, ставя началомъ всеобщее, умъ внутри самаго существованія, бытія, движенія, находитъ міродержавную цѣль, какъ скрытую мысль всемірнаго процесса. Эта скрытая мысль бытія — та закваска, то начало броженія, движенія, безпокойства, возмущающаго и волнующаго бытіе для того, чтобъ сдѣлаться *открытою* мыслію. Въ сознаніи, мы опять встрѣчаемъ демоническое начало, присущее косной вещественности, которое дѣлается уже не демоническимъ, а разумнымъ, и это разумное обличается истиною, совершеніемъ бытія, небытія, движенія, возникновенія. Не надобно думать, что чрезъ это пожертвовано бытіе, и что наука перешла въ сознаніе, какъ въ противоположный ему элементъ, — тогда всеобщее потеряло бы свое спекулятивное значеніе, сдѣлалось бы сухою абстракціею; такого рода идеалистическая односторонность принадлежитъ болѣе новой философіи, нежели древней. Гераклитъ и Анаксагоръ коснулись того предѣла, далѣе котораго греческая мысль не шла; они бѣдно и неполно усвоили мысли ту почву, тѣ основанія, на которыхъ гиганты греческой науки возростили свое воззрѣніе. Почва осталась; движеніе Гераклита и нусъ Анаксагора не исчерпали всего содержанія; но отъ нихъ не отречется Аристотель; совсѣмъ напротивъ, они у него пойдутъ краеугольными камнями колоссальнаго зданія, воздвигнутаго имъ. Нельзя не замѣтить строго-логической стройности историческаго мышленія у грековъ, у этихъ избранныхъ дѣтей человѣчества. Элеатическое воззрѣніе неминуемо вело къ гераклитову движенію; его движеніе также неминуемо вело къ разумной субстанціи, къ цѣли; оно ставило вопросъ — и

Анаксагоръ не замедлилъ дать отвѣтъ; вотъ это-то преемственное развитіе, идущее отъ одного самоопредѣленія истины къ другому въ органической связи и живомъ сочлененіи, называютъ безпорядочнымъ и произвольнымъ замѣненіемъ одного философскаго воззрѣнія другимъ!

Когда мысль человѣческая достигла до этой степени сознанія и силы, когда она окрѣпла въ ней, узнала свою несокрушимую мощь, открылось въ греческомъ мірѣ зрѣлище блестящее, увлекательное, торжество юношескаго упоенія въ наукѣ. Я говорю объ оклеветанныхъ и непонятыхъ софистахъ. Софисты — пышные, великолѣпные цвѣты богатаго греческаго духа, выразили собою періодъ юношеской самонадѣянности и удальства; вы въ нихъ видите человѣка, только что освободившагося изъ подъ опеки и неполучившаго еще опредѣленнаго назначенія; онъ предается всѣмъ сердцемъ чувству своей воли, своего совершеннолѣтія, и въ этомъ увлеченіи свидѣтельствуетъ, что онъ еще несовершеннолѣтній; юноша созналъ ужасную власть, находящуюся въ его распоряженіяхъ, ничто не связываетъ его гордаго сознанія, онъ играетъ своимъ достояніемъ, всѣмъ на свѣтѣ, т. е. всѣмъ важнымъ для обыкновеннаго собственника, и въ то время, какъ тотъ печально качаетъ головой, глядя на его расточительность, юноша презрительно смотритъ на него, держащагося за свои точимыя молью богатства; онъ понялъ шаткость и несостоятельность всего окружающаго; онъ опирается на одно — на свою мысль; это его копье, его щитъ: таковы софисты. Что за роскошь въ ихъ діалектикѣ! что за безпощадность! что за развязность! какая симпатія со всѣмъ человѣчественнымъ! Что за мастерское владѣніе мыслію и формальной логикой!

Ихъ безконечные споры — эти безкровные турниры, гдѣ столько же граціи, сколько силы, были молодеческимъ гарцованьемъ на строгой аренѣ философіи; это удалая юность науки, ея майское утро. Сократъ и Платонъ были врагами софистовъ по праву; они, *съ ихъ точки зрѣнія*, отреклись отъ нихъ и повели мысль къ болѣе глубокому сознанію. Но порицатели софистовъ, изъ вѣка въ вѣкъ повторяющіе плоскія обвиненія, свидѣтельствуютъ только свою ограниченность и сухой прозаизмъ своего разсудка; они стоятъ на той узенькой точкѣ зрѣнія жанлисовской, не очень *нравственной* морали, которую такъ любили добрые аббаты-*деисты* начала прошлаго вѣка, — тѣ самые, которые безпощадно журили Александра Великаго за пристрастіе къ горячительнымъ напиткамъ, и Юлія Цезаря—за пристрастіе къ властолюбивымъ мечтамъ. Съ этой точки зрѣнія, ни софистовъ, ни Александра Македонскаго оправдать нельзя,—но зачѣмъ же не предоставить ея исключительно исправительнымъ судамъ, занимающимся мелкими проступками и уличными безпорядками? зачѣмъ ее употреблять при обсуживаніи всемирно-историческихъ событій?.. Вмѣсто того, чтобъ останавливаться на опроверженіи обветшалыхъ и жалкихъ мнѣній, представимъ себѣ лучше эпоху появленія софистовъ въ Греціи.

Сущее оказалось нестрашнымъ для мысли; оно уже двинулось и потекло по волѣ какой-то необъяснимой необходимости; раскрывается, что эта необходимость (цѣль ли, причина ли — все равно) — разумъ. Яркая мысль эта брошена отвлеченно, безъ содержанія, какъ безконечная форма, какъ личная догадка; но между тѣмъ, за разумомъ признана власть безмѣрная. Все сущее, отдѣльное, частное для Анаксагора — моментъ; въ его нусѣ теряется все опредѣленное, его сущность

—сама негація, какъ и быть должно; бытіе отразилось въ себѣ, отреклось отъ видоизмѣняющейся внѣшности и остановилось на сущности, какъ на истинѣ; сущность же опредѣлилась мыслью, и, слѣдственно, ей принадлежитъ безусловная власть отрицанія, власть разъѣдающей кислоты, которая все разложитъ, со всѣмъ соединится, чтобъ все улетучить; словомъ, мысль сознала себя могуществомъ, предъ которымъ исчезаетъ всякая состоятельность, не ею поставленная. Все твердое въ бытіи, въ понятіяхъ, въ правахъ, въ законахъ, въ повѣрьяхъ — все начинаетъ колебаться и измѣнять себѣ; все, до чего касается горячая струя вѣющей мысли, обличается шаткимъ и несамобытнымъ, и мысль, какъ геній смерти, какъ ангелъ истребленія, весело губитъ и ликуетъ на развалинахъ, не давъ себѣ времени подумать, чѣмъ ихъ замѣнить. Это-то раздолье негаціи, эту-то мысль, сокрушающую твердое, казнящую мнимое, выразили собою софисты. У нихъ была страшная откровенность и страшная многосторонность; они популярны, ринуты въ жизнь, не чужды всѣхъ вопросовъ площади и науки; они ораторы, политическіе люди, народные учители, метафизики; ихъ умъ былъ гибокъ и ловокъ, ихъ языкъ неустрашимъ и дерзокъ. Оттого смѣло и открыто высказали они то, что греки тайкомъ дѣлали въ практической жизни, тайкомъ даже отъ себя, боясь изслѣдовать — хорошо или нѣтъ такъ поступать и не имѣя силы не поступать противно положительному закону. Софистовъ обвинили въ безнравственности, потому что они дали гласность сокрытому во тьмѣ, потому что они высказали семейную тайну греческой жизни. Въ практическихъ сферахъ, въ своихъ дѣйствіяхъ, человѣкъ рѣдко такъ отвлеченъ, какъ въ образѣ мыслей,— тутъ онъ безсознательно многостороненъ, ибо

онъ весь тутъ. Грекъ временемъ Перикла не могъ привольно жить въ тѣхъ нормахъ жизни, которыя ему были завѣщаны, какъ святое преданіе предковъ, какъ неизмѣнный бытъ для него; завѣщанная жизнь эта была, въ самомъ дѣлѣ, прелестна въ „Иліадѣ," въ софокловыхъ трагедіяхъ,—но они ее переросли и головой и грудью; они чувствовали это, но по какому-то тайному соглашенію не признавались въ этомъ: нарушая всякій день завѣщанный бытъ, они готовы были каменьями побить того дерзновеннаго, который сказалъ бы слово противъ него, который назвалъ бы ихъ поступокъ и призналъ бы его не преступленіемъ. Это одна изъ тѣхъ притворныхъ двуличностей, которыя человѣкъ дѣлаетъ безпрестанно, воображая, что это очень нравственно. Грекъ, признавая святость преданія на словахъ, освобождался отъ исполненія обязанностей на каждомъ шагу, но онъ дѣлалъ это какъ преступникъ, какъ возмутившійся рабъ, украдкой. Вся вина софистовъ, и впослѣдствіи Сократа, состояла въ томъ, что они подняли въ сферу всеобщаго сознанія то, что каждый представлялъ себѣ, какъ частный случай и отступленіе, что они мыслію подтвердили фактъ нравственной свободы, что они трусость передъ гомерическимъ преданіемъ признали трусостью; они смѣло направили свою мысль противъ всего существовавшаго и все подвергли разбору; ими наука, съ той высоты, на которую достигла, оборотилась вдругъ назадъ ко всей ходячей суммѣ истинъ, принимаемыхъ и передаваемыхъ общественнымъ мнѣніемъ; случилось то, чего можно было ожидать; язычество и все древне-эллинское воззрѣніе не вынесли ея медузина взгляда: они сгорѣли отъ него; не громкій олимпійскій смѣхъ раздался тогда, а звонкій смѣхъ человѣка, упоеннаго побѣдой; на первую минуту, софи-

сты, можетъ быть, и увлеклись суетно сознаніемъ этой страшной мощи разума; они забылись за своей веселой сатурналіей, они тѣшились своей мощью, — это былъ моментъ поэтическаго наслажденія мышленіемъ; въ избыткѣ силъ они метали искры во всѣ стороны и радостно видѣли всю несостоятельность положительнаго, и не было препонъ ихъ игрѣ. Не будемъ сѣтовать на нихъ; скоро явится трагическое лицо въ исторіи разума и иное призванье мысли; онъ*) обуздаетъ нравственнымъ началомъ разгульную мысль и обречетъ себя на великую жертву для великой побѣды... Софисты приготовили къ этому моменту своихъ согражданъ; они бросили свѣтъ мысли на всѣ отношенія людскія; ими наука открыто перешла въ жизнь, они научили человѣка во всемъ опираться на одного себя, все относить къ себѣ, себя понимать самобытною точкою, около которой крутится, въ вихрѣ видоизмѣненій, все на свѣтѣ. Но во имя чего считать себя этимъ средоточіемъ? вопросъ существенный и неминуемый; этого вопроса, прямо текущаго изъ ихъ началъ, софисты не рѣшили, т. е. не рѣшили тѣ софисты, которыхъ угодно исторіи такъ называть; ибо его-то и задалъ себѣ великій софистъ—Сократъ, стоявшій на одной точкѣ съ ними, но ушедшій далѣе, нежели всѣ они, объемомъ мысли и величіемъ характера. Это не юноша въ разгулѣ: это мужъ, остановившійся и ищущій опоры на всю жизнь, —мужъ твердаго шага и удивительной мощи. Сократъ нанесъ существующему порядку въ Греціи тяжелѣйшій ударъ, нежели всѣ софисты; онъ дальше пошелъ, нежели они, и потому-то онъ и былъ ихъ врагомъ. Софисты — блестящая жиронда, а Сократъ — монтаньяръ,

*) Сократъ.

но монтаньяръ нравственный и чистый; софисты имѣли бездну личнаго, разсудочнаго въ своемъ воззрѣніи; у нихъ мысль не нашла еще себѣ твердой опоры (какъ всегда въ рефлексіи); они испытывали, такъ сказать, формальную власть мысли, они брались все доказывать, все оправдывать; это ничего не значитъ: въ самомъ дурномъ поступкѣ есть возможность найдти одну хорошую сторону — но это недостаточно для оправданія и наводитъ только на то, что чисто-отвлеченныхъ поступковъ такъ же не бываетъ, какъ чисто-односторонних̀ъ событій. Истинно-твердая основа лежитъ въ томъ объективномъ началѣ мышленія, которая софистамъ до Сократа не раскрывалась. Сократъ засталъ логическое развитіе на сознаніи несостоятельности внѣшняго противъ мысли и на признаніи человѣка (какъ мыслящей личности) истиною. Но человѣкъ, какъ частная индивидуальность, гибнетъ, увлекая съ собою мысль; Сократъ спасъ мысль и ея объективное значеніе отъ личнаго и, слѣдственно, случайнаго элемента. Онъ высказалъ сущностью не частное *я*, а всеобщее, какъ благое, въ себѣ почившее сознаніе, независимое отъ сущей дѣйствительности. Мысль Сократа точно такъ же ѣдка и точно такъ же разлагаетъ, какъ мысль Протагора, сказавшаго, что человѣкъ есть мѣрило всему, что въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и несущее не существуетъ; но Сократъ сознаетъ въ общемъ движеніи и покойное начало; это начало, сущность вѣчно хранящаяся и опредѣляющаяся цѣлію — есть *истинное* и *благое*. Это благое, эта существенная цѣль не существуетъ, какъ нѣчто готовое; человѣкъ долженъ создать себѣ свое вѣчное и непреходящее содержаніе, долженъ развить его сознаніемъ, для того, чтобъ быть свободному въ немъ; и такъ, истина объективнаго раз-

визается у Сократа мышленіемъ. Это чиноположеніе безконечной субъективности человѣка и совершенной свободы самопознанія — тотъ великій камень, который Сократъ положилъ при закладкѣ великаго зданія, доселѣ недостроеннаго; камень этотъ вмѣстѣ съ тѣмъ пограничный столбъ: одна половина его уже лежитъ не на эллинской почвѣ, принадлежитъ уже не древнему міру.

У Сократа нѣтъ системы, а есть метода; это какой-то живой, вѣчно дѣятельный органъ мышленія человѣческаго; его метода состоитъ въ развитіи самомышленія; съ какой стороны ни попался бы ему предметъ, онъ, начиная со всей односторонности общаго мѣста, дойдетъ до многостороннѣйшей истины и нигдѣ не теряетъ своихъ основныхъ мыслей, которыя проводитъ по всѣмъ областямъ, практическимъ и теоретическимъ. Человѣкъ долженъ изъ себя развить, въ себѣ найдти, понять то, что составляетъ его назначеніе, его цѣль, конечную цѣль міра, онъ долженъ собою дойдти до истины—вотъ мета, къ которой Сократъ достигаетъ во всемъ. При этомъ по дорогѣ само собою обличается, что по мѣрѣ того, какъ мышленіе достигаетъ внутренней объективности, случайное, личное гибнетъ и теряется; истина дѣлается вѣчно-чинополагаемымъ мышленіемъ. Всѣ его разговоры—безпрерывная борьба съ существующимъ; онъ возсталъ противъ святохранимыхъ аѳинскихъ преданій во имя другаго святаго права — права вѣчной нравственности, аутономіи мышленія; онъ научилъ опасаться готовыхъ мнѣній, истинъ, полагаемыхъ за извѣстное, о которыхъ и не говорятъ, какъ о давнознаемомъ, и на которыя каждый смотритъ по своему, воображая, что его мнѣніе и есть всеобщее; онъ осмѣлился поставить истину выше Аѳинъ, разумъ выше

узкой національности; онъ относительно Аѳинъ сталъ такъ, какъ Петръ I относительно Руси. Торжественнѣйшая сторона Сократа — онъ самъ, его величавое, трагическое лицо, его практическая дѣятельность, его смерть; онъ типъ и представитель той слитности въ древней жизни, о которой мы упоминали нѣсколько разъ,— человѣкъ, живущій безпрестанно въ общественномъ разговорѣ, художникъ, воинъ, судья, участникъ во всѣхъ теоретическихъ и практическихъ вопросахъ своего вѣка и вездѣ ясный, равный себѣ, вездѣ жаждущій блага и все покоряющій разуму, т. е. все освобождающій въ нравственномъ сознаніи. . . . . .
. . . . . .
. . . . . Тогда наука черпалась изъ жизни и тотчасъ погружалась въ нее. Дѣятельность философа въ Греціи не ограничивалась школой, въ стѣнахъ которой могутъ цѣлые вѣка длиться споры, прежде нежели кто-нибудь услышитъ ихъ за стѣною — тамъ философъ былъ по превосходству учитель народа, совѣтодатель его: Эмпедоклу и Гераклиту предлагали корону; Зенонъ погибъ въ геройской борьбѣ; уваженіе къ Пиѳагору доходило до поклоненія; Периклъ ходилъ по площади аѳинской съ своей женою, вымаливая прощеніе Анаксагору; Филиппъ Македонскій благословлялъ судьбу, что сынъ его родился во время Аристотеля; Платона Аѳиняне называли божественнымъ. Философы древняго міра тогда стали отходить отъ дѣлъ площади, когда съ скорбнымъ взглядомъ разглядѣли смертельную болѣзнь, пожиравшую древній порядокъ вещей. И потому Сократъ былъ столько же государственное лицо, сколько мыслитель, и судился какъ гражданинъ, имѣвшій огромное вліяніе и отрицавшій неприкосновенную основу аѳинской жизни, на основаніи

права изслѣдованія; въ этомъ вся трагическая судьба Сократа (и онъ самъ ее понималъ превосходно, какъ доказываютъ его разговоры въ тюрьмѣ, изъ которой онъ *не хотѣлъ* бѣжать), что онъ вмѣстѣ праведникъ въ глазахъ человѣчества и преступникъ въ глазахъ Аѳинъ. Изъ этого противорѣчія, столь рѣзкаго и громкаго, ясно виднѣется, что греческая жизнь начинала тогда разлагаться подъ бременемъ своей односторонности, національное не было уже современно, если судъ народный могъ быть прямо противоположенъ суду разума. Оттого то Сократъ и вышелъ противъ Аѳинъ, оттого то и спасти нельзя было ихъ казнію его; напротивъ, ею признали его побѣду. Аѳиняне вскорѣ сами увидѣли это; слѣпые гонители всегда догадываются на другой день казни, что она вредна.

Переворотъ, сдѣланный Сократомъ въ мышленіи, состоялъ именно въ томъ, что мысль стала сама по себѣ предметомъ; съ него начинается сознаніе, что истина не есть сущность *такъ какъ она есть сама по себѣ, а такъ какъ она въ сознаніи; истина есть узнанная сущность.* Обратите все вниманіе ваше на это: c'est le mot de l'enigme всей философіи. Мысль послѣ Сократа болѣе сосредоточивается, углубляется въ себя для того, чтобъ сознательно развить единство себя и своего предмета, природа перестаетъ быть *независимою* отъ мысли. Такъ далеко, впрочемъ, взглядъ самого Сократа не простирался; одна изъ односторонностей его, особенно бросающихся въ глаза въ эллинскомъ мірѣ, состояла въ пренебреженіи ко всему внѣ философіи и особенно къ естествовѣдѣнію. Сократъ повторялъ часто, а за нимъ выраженіе это обратилось въ пословицу, что все его знаніе состоитъ въ томъ, что онъ ничего не знаетъ — и былъ правъ: мощной діалектикой онъ распустилъ

все достояніе преемственно-образовавшихся мнѣній, слывшихъ за знаніе,—это отрицательное освобожденіе мысли отъ сущаго содержанія, а еще не истинное содержаніе ея; онъ узналъ въ сознаніи и мысли живую форму истины, но она не имѣла еще у него дѣйствительнаго наполненія. Прошедшее было имъ побѣждено, но на свѣжей могилѣ его не успѣло развиться новое, хотя колыбель его и была готова. Отъ этого-то и непонятное появленіе *демона* у Сократа; онъ является, вызываемый неполнотою его воззрѣнія; при дѣйствительной полнотѣ содержанія, демона было бы ненужно —ему не было бы мѣста*).

Односторонность Сократа не восполнилась его первыми послѣдователями; не мегарскую школу, не киренаиковъ звала его великая тѣнь: она вызывала изящный, свѣтлый образъ Платона,—и онъ явился, наконецъ, совершителемъ сократовыхъ начинаній.

Сократъ, провозглашая право самосознательнаго разума, понималъ его сущностію и цѣлію самосознающей воли; Платонъ съ самаго начала полагаетъ мысль сущностію вселенной и стремится покорить ей все сущее, можетъ быть, болѣе, чѣмъ нужно... Я сказалъ выше, что камень, положенный Сократомъ, выходилъ одной стороною изъ древняго міра: еще болѣе должно разумѣть

*) Аристотель съ удивительною проницательностію указалъ на абстрактность Сокрята: „Сократъ лучше Пиѳагора говоритъ о добродѣтели, но не правъ; онъ считаетъ добродѣтель знаніемъ. Всякое знаніе имѣетъ логосъ (разумное основаніе), логосъ же только въ мышленіи; онъ всѣ добродѣтели полагаетъ въ вѣдѣніи и снимаетъ *алогическую сторону души*: именно — страстность, чувства, характеръ; добродѣтель не есть наука; Сократъ сдѣлалъ изъ добродѣтели логосъ; мы же говоримъ: она съ логосомъ! Она не вѣдѣніе, но и не можетъ быть безъ вѣдѣнія.“ Аристотель опредѣлилъ добродѣтель „единствомъ разума съ неразумностью.“

это о платоновомъ воззрѣніи; въ немъ является впервые то, что мы называемъ *романтическимъ* элементомъ; онъ былъ поэтъ-идеалистъ, въ немъ видна та струя, которая, при извѣстныхъ условіяхъ, неминуемо должна была развиться въ неоплатонизмъ александрійскій. Платонъ считалъ духовный міръ науки единственно-истиннымъ, въ противоположность призрачному міру сущаго; міръ этотъ раскрывается человѣку мышленіемъ, которое рядомъ *воспоминаній* будитъ и развиваетъ истину, уснувшую и забытую въ душѣ, преданной тѣлесному бытію; однажды приведенный въ сознаніе, проснувшійся идеальный міръ оказывается истиною міра реальнаго, его совершеніемъ, и пребываетъ въ величавомъ покоѣ, отрѣшившись отъ суетъ временнаго бытія и сохраняя его въ себѣ снятымъ; такъ родъ—истина недѣлимыхъ, всеобщее—истина частнаго, такъ идея—истина вселенной. Платонъ находитъ временное, тѣлесное бытіе *преградою* безусловному знанію; говоря это, онъ, кажется, забываетъ, что, съ тѣмъ вмѣстѣ, оно есть и неминуемое условіе бытія и знанія. Но не подумайте, что этотъ романтическій элементъ или, лучше выразиться, элементъ, имѣющій въ себѣ нѣчто романтическое,—есть исчерпывающее опредѣленіе платоновой мысли,—далеко нѣтъ! вспомните лучше, что древніе называли его творцомъ діалектики: вотъ гдѣ его сила и мощь, вотъ чѣмъ дошелъ онъ до глубокомысленной спекуляціи своей, которая во всемъ сохранила долю идеализма, какъ печать его личности и личности возникавшей эпохи, но не стѣснила имъ мощной, свободной мысли. Платона многіе сравниваютъ съ Шеллингомъ: мы сами это сдѣлали въ первомъ письмѣ,—и точно, поэтическая мысль Платона, любившая облекаться въ роскошныя ризы аллегорій и миѳовъ, имѣетъ наибольше сродства въ новомъ мірѣ

съ шеллинговымъ поэтическимъ привидѣніемъ истины и его страстнымъ придыханіемъ къ ней; но у Платона передъ нимъ необъятный шагъ: это его изумительная, всепокоряющая діалектика, еще болѣе сознаніе полное, отчетливое діалектической методы и вообще логическаго движенія. Шеллингъ готовое содержаніе своей мысли излагаетъ въ схоластической формѣ,— Платонъ въ разговорахъ своихъ діалектикой достигаетъ до истины: у него истина неотъемлема отъ методы. Онъ самъ превосходно изложилъ въ своей книгѣ „О Республикѣ“ развитіе знанія: начальная степень, или точка отправленія логическаго движенія составляетъ у него непосредственное воззрѣніе, чувственная сознательность, переходящая въ чувственное представленіе, въ то, что называется *мнѣніемъ;* вторая степень знанія между мнѣніемъ и наукой—это сфера разсуждающаго познаванія, разсудка, рефлексіи, достиженіе общихъ и отвлеченныхъ началъ, принятіе ипотезъ, произвольныхъ объясненій (въ этомъ моментѣ находятся всѣ физическія и вообще положительныя науки въ наше время); отсюда начинается [собственно наукообразное знаніе; но тутъ оно еще не можетъ быть достигнуто: разсудочныя науки *никогда не достигаютъ* діалектической ясности, ибо — говоритъ Платонъ— онѣ идутъ отъ ипотезъ и не восходятъ въ своемъ разсматриваніи до безусловнаго начала, но разсуждаютъ, основываясь на предположеніяхъ: у нихъ, кажется, мысль не въ предметѣ ихъ, а то бы ихъ предметы сами были мысли. Способъ геометріи и близкихъ ей наукъ называетъ онъ разсудочнымъ и полагаетъ, что разсужденіе находится между разумнымъ и чувственнымъ созерцаніемъ. Наконецъ, третья степень у него — мышленіе само въ себѣ, понимающее мышленіе; оно принимаетъ предположенія не за начало,

а за точку отправленія, отъ которыхъ идутъ пути къ началу, неимѣющему никакихъ предположеній. Платонъ эту степень называетъ діалектикой. Въ обыкновенномъ сознаніи нашемъ, непосредственно дѣйствительнымъ считается данное чувственнымъ созерцаніемъ и разсудочныя опредѣленія этого даннаго; Платонъ вездѣ, во всѣхъ разговорахъ стремится раскрыть недѣйствительность и несущественность одного чувственнаго и разсудочнаго, несостоятельность ихъ противъ умозрительнаго и идеальнаго. Въ этихъ борьбахъ вы видите, что огонь негаціи обращался и въ его жилахъ, что наслѣдіе софистовъ оставалось и въ его душѣ, и не только оставалось, а выросло въ гигантскую силу; но характеръ его генія не былъ отвлеченно-разрушающій, — совсѣмъ напротивъ, примиряющій. Онъ исторгаетъ изъ преходящаго—непреходящее, изъ частнаго—всеобщее, изъ недѣлимыхъ—родъ, не для того только, чтобъ, указавъ дѣйствительность и истину всеобщаго надъ частнымъ, разбить его ими и уничтожить индивидуальное, сущее, частное: нѣтъ, онъ исторгаетъ родовое для того, чтобъ спасти его отъ круговорота временнаго существованія, еще болѣе, сдѣлать то, чего природа не можетъ сдѣлать безъ мысли человѣческой—примирить ихъ. Здѣсь Платонъ—спекулятивный философъ, а не романтикъ. Всеобщее, родовое, схваченное въ мысли, Платонъ называетъ идеей; достигая до нея, онъ стремится ей дать опредѣленіе, и здѣсь его діалектика дѣлается примирительницей, въ самой себѣ снимаетъ противорѣчія, указанныя ею. Опредѣленность идеи состоитъ въ томъ, что единое остается самимъ собою въ многоразличіи; чувственное, многоразличное, конечное, относительно-существующее для другихъ не есть истинное: оно—неразрѣшенное противорѣчіе, разрѣшающееся только въ

идеѣ; но идея не внѣ предмета: она то, что стремится къ себяопредѣленію различіями, и то, что пребываетъ свободнымъ и единымъ въ этомъ различіи. „Трудное и истинное," говоритъ Платонъ: „состоитъ въ томъ, чтобъ показать въ другомъ то же самое и въ томъ же самомъ — другое, и притомъ такъ, чтобъ оно въ отношеніи къ другому было то же самое." Великая мысль! А подумайте, какими свистками толпа приняла бы мыслителя, который явился бы въ наше время съ такою странною рѣчью для обыкновеннаго сознанія.... Уваженіе, хранящееся изъ вѣка въ вѣкъ къ древнимъ философамъ, основано на томъ, что ихъ никто не читаетъ; еслибъ добрые люди когда нибудь ихъ развернули, они убѣдились бы, что Платонъ и Аристотель точно такіе же были поврежденные, какъ Спиноза и Гегель, говорили темнымъ языкомъ и притомъ нелѣпости. Большинство нашего времени (я разумѣю сознающихъ себя грамотѣями) такъ отвыкло или такъ не привыкло къ опредѣленіямъ мысли, что оно, только безсознательно употребляя ихъ — не возмущается. Насъ не удивляетъ, напримѣръ, что человѣкъ въ физіологическомъ отношеніи недѣлимое, цѣлость, атомъ, а въ анатомическомъ — многочисленная куча самыхъ разнообразныхъ частей; что тѣло наше — вмѣстѣ и наше я и наше другое; никого не удивляетъ процессъ возникновенія, безпрерывно совершающійся около насъ, эта глухая борьба бытія съ небытіемъ, безъ которой было бы одно безразличіе; никого не удивляетъ эта вѣчность мимолетнаго, которою мы окружены. Назовите то, что добрые люди видятъ и чувствуютъ ежедневно, словами, — они не поймутъ васъ и никогда не узнаютъ въ вашихъ словахъ близкихъ знакомыхъ. Я увѣренъ, что многіе были бы глубоко скандализованы, узнавъ

послѣдніе выводы, до которыхъ Платонъ вездѣ пробивается, вооруженный своей безпощадной діалектикой и своимъ геніемъ, глубоко-раскрывающимъ сокровенную истину. Для Платона безусловное то, что разомъ конечно и безконечно, мощное, полное силы и духа, то, что *можетъ вынести въ себѣ* противоположное; тѣло (само по себѣ) гибнетъ, встрѣчая противодѣйствіе, но духъ можетъ сдержать всякое противорѣчіе; онъ живетъ въ немъ, онъ безъ него отвлеченъ; одно безконечное, само по себѣ, (и это прямо высказалъ Платонъ) ниже ограниченнаго и конечнаго, потому что оно неопредѣлено. Конечное имѣетъ цѣль и мѣру, а безконечно-отвлеченное бытіе, опредѣленное — не есть *токмо* внѣшнее, но именно единое въ многоразличіи; оно одно дѣйствительно, и, приходя въ сознаніе, оно возвышается надъ конечнымъ и даетъ среду вѣчнаго успокоенія и созерцанія, далѣе котораго платонова мысль не идетъ, или изъ котораго она не хочетъ выйдти. Въ этомъ послѣднемъ словѣ Платона, въ этомъ царствѣ почившей и себя созерцающей идеи — все прекрасное и все односторонее его воззрѣнія. Онъ и въ историческомъ отношеніи къ своимъ предшественникамъ представляетъ свѣтлое и покойное море, въ которое всѣ они влекутъ воды свои; онъ исполняетъ, такъ сказать, ихъ судьбу, успокоиваетъ ихъ въ обширныхъ объятіяхъ своихъ. Парменидъ, Гераклитъ, Пиѳагоръ, Анаксагоръ, софисты, Сократъ равно нашли мѣсто въ платоновой мысли, и между тѣмъ его мысль была *его* мысль. Рѣки потерялись въ морѣ, хотя онѣ въ немъ и хотя его не было бы безъ нихъ. Но, продолжимъ сравненіе: море это безконечно широко, берега исчезаютъ — въ этомъ-то вся бѣда; вода и воздухъ — такія стихіи, въ которыхъ для человѣка чего-то недостаетъ: онъ любитъ землю, разно-

образіе жизни, а не стихійную безконечность, которая поражаетъ, долго поражаетъ,—но при которой остаться нельзя. Въ этой ширинѣ, теряющей берега, сила Платона, но онъ успокоился въ блаженствѣ созерцанія и думалъ забыть ихъ... Думалъ! А фантастическіе образы и представленія, втѣсняющіеся въ душу его, врывающіеся въ его діалектику, выказывающіе страстныя черты свои въ покойныхъ волнахъ чистаго мышленія—зачѣмъ они? Какая діалектическая необходимость въ нихъ? Не по логической необходимости всплывали они въ душѣ Платона, такъ какъ не по ней являлся демонъ Сократа; они являлись въ замѣну утраченнаго временнаго, они носили тотъ ликъ красоты, котораго не имѣетъ отвлеченная мысль и который дорогъ человѣку; они ими нарушили величавое спокойствіе чистаго мышленія, и Платонъ радовался этому нарушенію — такъ, какъ облака веселятъ мореходца, прерывая спокойную и вѣчно нѣмую лазурь.

Воззрѣніе Платона на природу было больше поэтико-созерцательное, нежели спекулятивно - наукообразное. Онъ начинаетъ съ представленій (въ „Тимеѣ“); деміургъ приводитъ въ порядокъ и устройство хаотическое вещество, онъ оживляетъ его, даетъ ему міровую душу: „желая сдѣлать міръ подобнымъ себѣ, деміургъ въ средоточіи міра постановилъ, душу міра проникнувшую всюду“*). Вселенная для Платона—единое, одушевлен-

*) Кстати упомянуть здѣсь о богопознаніи древняго міра: это слабѣйшая сторона его философіи; недаромъ нео-платоники бросили всѣ прежніе вопросы и занялись преимущественно теодицеей. Языческій міръ былъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно непослѣдователенъ; при представленіяхъ политеизма мыслящему человѣку остановиться было невозможно; нельзя было, въ самомъ дѣлѣ, удовлетвориться Олимпомъ и добрыми греками, жившими на немъ. Ксенофанъ элеатикъ говоритъ:

ное и умное животное, „животное это одно; еслибъ ихъ было два или нѣсколько, то они имѣли бы между собою соотношеніе, были бы части и составили бы опять одно.“ Первоначальными стихіями Платонъ принимаетъ огонь и землю: „между ними (какъ совершенными противоположностями) должна быть связь, ихъ соединяющая, но изящнѣйшая изъ всѣхъ связей — та, которая себя и то, что ею соединяется, связуетъ въ одно высшее единство (какъ напримѣръ, умозаключеніе).“ Вы видите, что эта высокая мысль о связи заключаетъ въ себѣ уже возможность развиться въ понятіе, въ идею, въ субъективиость. Эта мысль Платона (какъ и многія другія его мысли и мысли его сподвижниковъ) до нашего времени повторялась безплодно и не была, кажется, никѣмъ оцѣнена. Физическій миръ имѣетъ своими крайними опредѣленіями твердое и живое (землю и огонь): „твердому нужны двѣ среды, ибо оно имѣетъ не только ширину, но и глубину: потому деміургъ постановилъ

„еслибъ быки и львы имѣли руки, они непремѣнно ваяли бы своихъ боговъ, такъ какъ мы, бравъ образецъ съ себя.“ Но отставъ отъ традиціонныхъ представленій, греки не могли сладить философскаго пониманія съ религіознымъ, ни разомъ пожертвовать язычествомъ; они могли жить, оставаясь при неопредѣленномъ, шаткомъ, колеблющемся приниманіи язычества суррогатомъ мысли; отъ-того ни нусъ, ни душа міра, ни деміургъ, ни самая энтелехія Аристотеля не удовлетворяютъ ихъ вполнѣ. У нихъ релитія является всякій разъ случайно, deus ex machina; они вдругъ дѣлаютъ скачокъ отъ чистаго мышленія въ религіозное представленіе, оставляя ихъ во всемъ непримиримомъ противорѣчіи. Тутъ одинъ изъ предѣловъ греческаго воззрѣнія; не ждите полнаго отвѣта о божественномъ отъ язычника: признаетъ ли онъ, отвергаетъ ли,— онъ въ обоихъ случаяхъ неправъ. Цицерону приходила въ голову мысль формально примирить древнюю религію съ философіей; интересы его были и не религіозные и не философскіе, — онъ былъ государственный человѣкъ, и для общественной пользы писалъ прозаическіе трактаты de natura deorum, и безъ всякой пользы излагалъ въ дюсисовскомъ переводѣ великую науку грековъ.

между землею и огнемъ воздухъ и воду, и притомъ такъ, что огонь относится къ воздуху такъ, какъ воздухъ къ водѣ, а вода къ землѣ.“ Эта двойственность среды даетъ Платону основнымъ числомъ всего естественнаго *четыре*,—то самое число, которое у пиѳагорейцевъ считалось дѣйствительно-полнымъ. Разумное заключеніе, силлогизмъ, имѣетъ въ себѣ три момента, именно потому, что среда, расходящаяся въ природѣ, сливается въ разумномъ единствѣ; примирительная среда въ природѣ двойственна; она представляетъ противорѣчіе такъ, какъ оно есть въ природѣ, непримиреннымъ. „Вселенная шарообразна; элементы, ее составляющіе, даны ей богами въ такой соразмѣрности, что она никогда не можетъ выйдти изъ своего равновѣсія. Сфероидальность ея заключаетъ въ себѣ всѣ формы; она гладка, ибо ничѣмъ не выходитъ изъ себя, не имѣетъ *отличія отъ другаго.*“ Имѣть внѣшнее различіе — характеръ конечнаго: внѣшность не для себя, а для другаго предмета,—вселенная же всѣ предметы; такъ въ идеѣ есть опредѣлительность, разчлененіе, ограниченіе и инобытіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ, все это въ ней распущено, снято единствомъ, и потому остается такимъ различіемъ, которое не выходитъ изъ себя. „Богъ сочеталъ взятое отъ сущности вѣчно-тождественной съ собою, недѣлимой со взятымъ отъ сущности тѣлесной и дѣлимой; въ этомъ сочетаніи соединилась природа себѣ тождественная *съ другимъ*, съ природой себя-различной и это сочетаніе — живую душу поставилъ онъ соединяющей средою жежду расторженнымъ.“ Обратите вниманіе на выраженіе Платона: *съ другимъ*; онъ не называетъ, чему оно другое, и въ этомъ-то глубокій спекулативный смыслъ его выраженія; это другое не по сравненію, а *само по себѣ*. Эти три сущности

обнялъ онъ еще высшимъ единствомъ, въ которомъ онѣ сохранили свое различіе, пребывая тождественными въ идеѣ. Царство идеи стоитъ въ своей вѣчности недосягаемымъ идеаломъ стремящемуся міру; оно имѣетъ образъ или отпечатокъ свой въ мірѣ конечномъ и отданномъ времени; но этотъ исторгающійся чрезъ временное къ вѣчности міръ въ свою очередь имѣетъ, въ противоположность себѣ, еще другой, которому переходимость и измѣняемость—сущность. И такъ, вѣчный міръ, постановленный во времени, осуществляется двумя формами въ мірѣ примиренія съ собою и въ мірѣ блуждающаго себя-различія. Мы имѣемъ изъ всего этого три опредѣленные момента: во-первыхъ, аморфизмъ, безвидность, готовая принять всякій видъ, вещество, матерія, среда воспринимающая, питающая, всеобщая кормилица, собою выкармливающая питомца для самобытнаго бытія; ею одѣйствотворяется форма, она сама переходитъ въ нее,—это страдательная матерія, всему дающая состоятельность. При ея помощи возникаютъ явленія внѣшняго бытія, единичности, въ которыхъ двойство непримиримо; но то, что проявляется, не есть уже чисто-матеріальное, а всеобщее, идеальное... Разсматривая природу, Платонъ не смѣшиваетъ въ ней двухъ началъ: „необходимаго и божественнаго,“ соподчиненнаго и царящаго, основаннаго на взаимодѣйствіи и на себѣ самомъ; безъ необходимаго нельзя подняться къ божественному—въ этомъ его видимое значеніе,—но аутономія божественнаго въ немъ самомъ. Такъ онъ и въ человѣкѣ различаетъ принадлежащее (божественное) его безсмертной душѣ отъ принадлежащаго его смертной душѣ (необходимое); всѣ страсти принадлежатъ душѣ смертной, и для того „чтобъ она не возмутила ими душу божественную, Богъ отдѣлилъ ее выей отъ без-

смертной души, этимъ дѣлителемъ груди и головы. Сердцу онъ пріобщилъ легкія, безкровныя, мягкія, чтобъ облегчить его, когда оно обнимается пламенемъ ярости; легкія ноздреваты какъ губка, такъ устроены, чтобъ вбирать въ себя воздухъ и влагу и охлаждать ими жгучій зной сердца. Распространяясь далѣе объ устройствѣ тѣла, Платонъ говоритъ о печени*): „неразумная сторона души — разума не слушаетъ, для того создана печень, воспринимающая нисходящую силу разума и отражающая, подобно зеркалу, вмѣсто первообразовъ призраки и страшныя тѣни; цѣль этихъ видѣній та, чтобъ неразумную сторону человѣка сдѣлать чрезъ посредство сна соучастницей вѣдѣнія. Подобно сему боги дали душѣ возможность волхвованія и прорицаній; что волхвованіе и предсказываніе дано именно неразумной сторонѣ души, ясно видно изъ того, что ни одинъ человѣкъ, обладающій совершенно умомъ, не предсказываетъ, а дѣлаютъ это люди или въ состояніи сна, или когда болѣзнями и восторженностію человѣкъ выводится изъ обыкновеннаго состоянія. При прорицаніяхъ надобенъ сознательный умъ другаго, чтобъ понять высказанное; ибо бредящій не понимаетъ своего бреда. Прежніе мыслители справедливо говорили, что дѣяніе и сознаніе принадлежатъ только разсуждающему человѣку.“ Я не могъ удержаться, чтобъ не выписать этого мѣста. Какой глубокій тактъ истины руководилъ мысль древнихъ философовъ! вы видите здѣсь, что Платонъ ясно и отчетливо понималъ, что нормальное со-

*) Древніе придавали печени довольно-странное физіологическое значеніе: они ее считали источникомъ сновъ, вѣроятно, основываясь на изобиліи крови въ этомъ органѣ. Здѣсь дѣло идетъ вовсе не о мнѣніи Платона о печени, а о томъ, что онъ говорилъ по ея поводу.

стояніе тѣлесно и духовно здороваго человѣка несравненно выше, нежели всякое анормальное, каталептическое, магнетическое сознаніе. Въ наше время вы встрѣтите множество людей, придающихъ себѣ видъ глубокомыслія и притомъ убѣжденныхъ, что ясновидѣніе выше, чище, духовнѣе простаго и обыкновеннаго обладанія своими умственными способностями, такъ какъ найдете мудрецовъ, считающихъ высшей истиной то, чего словами выразить нельзя, что, слѣдовательно, до того лично, случайно, что утрачивается при обобщеніи словомъ.

Воззрѣніе Платона на природу не можетъ, впрочемъ, быть общимъ представителемъ древняго воззрѣнія на естествовѣдѣніе; его стремленіе къ покоющейся идеѣ, въ которой временное потухло, романическая струна, звучавшая въ его душѣ, его близость къ Сократу—все это вмѣстѣ препятствовало ему остановиться долго на природѣ. По этому, опредѣливъ самымъ общимъ образомъ моментъ, выраженный Платономъ, мы перейдемъ къ послѣднему и полнѣйшему представителю эллинской науки.

Аристотель — въ высшемъ смыслѣ слова эмпирикъ; онъ все беретъ изъ предлежащей, окружающей его среды, беретъ какъ частное, беретъ такъ, какъ оно есть; но однажды взятое изъ опыта не ускользаетъ изъ мощной десницы его, взятое имъ не сохранитъ своей самобытности, какъ противорѣчіе мысли; онъ не оставляетъ предмета до тѣхъ поръ, пока не выпытаетъ всѣ его опредѣленія, пока сокровенная сущность его не раскроется свѣтлой, ясной мыслію, а посему эмпирикъ Аристотель съ тѣмъ вмѣстѣ въ высочайшей степени спекулятивный мыслитель. Гегель замѣтилъ, что *эмпирическое, взятое въ своемъ синтезѣ, есть само спекулятивное понятіе:* вотъ до этого пониманья и добивается

современная наука. Но понятіе не прежде раскрывается, какъ перейдя весь путь мысли, и Аристотель всѣ предметы, подвергавшіеся страшной разлагательной силѣ его, прогналъ по немъ, или, говоря языкомъ старой химіи, сублимировалъ ихъ въ мысль. Аристотель начинаетъ съ эмпирическаго даннаго, съ неотразимаго фактическаго событія — это его точка отправленія; не причина, а начало (initium), первое, предшествующее, и, какъ первое,— оно у него необходимо, неминуемо; это эмпирическое онъ увлекаетъ въ процессъ мышленія, расплавляетъ его огнемъ своего анализа и возводитъ съ собою на вершину самосознанія; для него нѣтъ косныхъ опредѣленій, нѣтъ ничего неподвижнаго, твердаго, почившаго, нѣтъ мертвыхъ философемъ; онъ бѣжитъ покоя, а не жаждетъ его, — въ этомъ-то и состоитъ его шагъ впередъ отъ Платона. Идея не могла навсегда остаться лазурью, успокоившейся отъ треволненій временнаго, созерцаніемъ, находящимъ свое блаженство въ отсутствіи или нѣмотѣ всего частнаго. Не смотря на свой квіэтическій характеръ, у Платона, она въ сущности готова была раскрыться дальнѣйшими самоопредѣленіями, — но еще покоилась: Аристотель ринулъ ее въ дѣятельный процессъ, и все твердое, или казавшееся твердымъ, увлеклось міровымъ движеніемъ, ожило, снова возвратилось къ временному, не утративъ вѣчнаго. Идея *по себѣ*, въ своей всеобщности, еще недѣйствительна, она *только* всеобщность, предположеніе дѣйствительности, заключеніе ея, если хотите, — но не сама дѣйствительность. Идея, исторгнувшаяся изъ круговорота дѣятельности, помимо его, представляетъ нѣчто недостаточное, косное и лѣнивое: одна дѣятельность даетъ полную жизнь; но она не легко уловима, понимать всеобщее отвлеченнымъ несравненно легче,

движеніе сложно само по себѣ, оно раздвоено, распадается на два противоположные момента, оно понятно одному сильному, быстрому вниманію, его надобно ловить на-лету; отвлеченное покойно, покорно разсудку, оно не торопитъ, какъ все мертвое; Гамлетъ справедливо увѣрялъ короля, что нѣкуда торопиться къ трупу Полонія, что онъ подождетъ; мертвая абстракція существуетъ только въ умѣ человѣка; самодвиженія въ ней нѣтъ (если мы отдѣлимъ отъ нея неумолкаемую діалектическую потребность ума выйдти изъ абстракціи).

Аристотель ищетъ истину предмета въ его цѣли; по цѣли стремится онъ опредѣлить причину; цѣль предполагаетъ движеніе; цѣлеобразное движеніе — развитіе, развитіе—осуществленіе себя наисовершеннѣйшимъ образомъ, „одѣйствотвореніе благаго на сколько можно.“ „Всякая вещь и вся природа имѣетъ цѣлью благое.“ Эта цѣль—дѣятельное начало, логосъ, безпокоящій всеобщую почву (субстанціальность); оно пробуждаетъ ее къ стремленію, оно достигаетъ ею и въ ней совершенія себя, оно ринулось съ ней вмѣстѣ въ движеніе, но владѣетъ имъ для того, чтобъ спасти всеобщее въ потокѣ перемѣнъ; такое движеніе — не просто видоизмѣненіе, а дѣятельность; дѣятельность—тоже безпрерывная перемѣна, но сохраняющаяся въ ней; въ простой перемѣнѣ ничего не сохраняется; тамъ нечего беречь. Движеніе, перемѣна, дѣятельность предполагаютъ поприще, страдательность, на которой онѣ совершаются; этотъ субстратъ — косное, отвлеченное вещество; все сущее непремѣнно одною стороною вещественно; но вещество само по себѣ — только возможность, расположеніе, страдательная, отвлеченная, всеобщая готовность; оно даетъ дѣятельности опредѣленную возможность,

практическую состоятельность; вещество — условіе, conditio sine qua non развитія. Отсюда два аристотелевскіе момента: *динамія* и *энергія*, возможность и дѣйствительность, субстратъ и форма, сливающіяся въ томъ высшемъ единствѣ, гдѣ цѣль есть съ тѣмъ вмѣстѣ и осуществленіе (энтелехія). Динамія и энергія — тезисъ и антитезисъ процесса дѣйствительности; онѣ неразрывны, онѣ только истинны въ своемъ существованіи; другъ безъ друга онѣ абстрактны (нельзя довольно часто повторять этого; грубѣйшія ошибки проистекаютъ именно отъ удерживанія въ несвойственномъ разъединеніи матеріи и формы); вещество безъ формы, косное, отвлеченное отъ дѣятельности—не истина, а логическій моментъ, одна сторона истины; форма съ своей стороны невозможна безъ вещества; нѣтъ дѣйствительности безъ возможности — иначе она была бы чистѣйшій non sens. Въ дѣйствительности они всегда неразрывны, ихъ нѣтъ врознь, процессъ жизни состоитъ изъ взаимодѣйствія ихъ и изъ ихъ присущности: — вотъ въ этомъ-то дѣятельномъ, стремящемся къ самосовершенію процессѣ и старается Аристотель уловить идею во всемъ ея разгарѣ. Идея Платона, какъ-бы совершившаяся, окончившая въ себѣ отрицаніе, примиренная, пребываетъ въ величавомъ покоѣ; Платонъ собственно держится сущности, но сущность сама по себѣ, отвлеченная отъ бытія, не есть еще ни дѣйствительность, ни дѣятельность: она точно такъ же влечетъ къ проявленію, какъ проявленіе къ сущности. У Аристотеля сущность неразрывна съ бытіемъ: оттого она и не покойна; у него идея, несовершившаяся въ отвлеченной безусловности, а такъ, какъ она совершается въ природѣ, въ исторіи, т. е. въ дѣйствительности. Послѣдуемъ за его развитіемъ. Полное и истинное единство дѣятельности и

возможности—въ идеѣ; въ низшихъ сферахъ онѣ разъединены, противоположны и только стремятся къ своему примиренію. Все осязаемое представляетъ конечную сущность, въ которой вещество и образъ раздѣлены, внѣшни другъ другу—въ этомъ весь смыслъ конечнаго и вся ограниченность его; здѣсь сущность подавлена дѣятельностью, сноситъ ее, но не становится ею: она переходитъ изъ одной формы въ другую и постояннымъ остается одно вещество—почва перемѣнъ, страдательное долготерпѣніе; опредѣленность и форма находятся въ отрицательномъ отношеніи къ веществу, моменты распадаются, и нѣтъ мѣста полной гармоніи въ этомъ чувственномъ сочетаніи. Когда же дѣятельность содержитъ въ себѣ то, что должно быть, имѣетъ *въ себѣ* цѣль стремленія, тогда движеніе становится дѣяніемъ —энергія является какъ умъ; вещество дѣлается субъектомъ, живымъ носителемъ перемѣны; форма становится сочетаніемъ и единствомъ двухъ крайностей: матеріи и мысли, всеобщаго страдательнаго и всеобщаго дѣятельнаго. Въ чувственной сущности дѣятельное начало еще отдѣлено отъ вещества, нусъ побѣждаетъ эту отдѣльность, но ему (уму) нужно вещество, онъ предполагаетъ его, иначе, у него нѣтъ земли подъ ногами; умъ или нусъ здѣсь—понятіе животворящее и разчленяющееся въ своемъ воплощеніи. (Аристотель называетъ нусъ въ этомъ моментѣ душою, логосомъ, самодвижущимся и самоставящимся.) Наконецъ, полное, совершеннѣйшее развитіе—слитіе динаміи, энергіи и энтелехіи: въ немъ все примирено, возможность вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительность, неподвижность—вѣчное движеніе, вѣчная непереходимость временнаго, разумъ самосознающій, actus purus! Можетъ быть, замѣтите вы,— Аристотель ставитъ всему началомъ *страдательное*

вещество. Нѣтъ! Ибо страдательное вещество — призракъ, отвлеченіе, имѣющее только маску дѣйствительнаго, матеріальнаго; могъ ли взять началомъ такой спекулятивный геній, какъ Аристотель, неисполненную возможность, школьную абстракцію. Вотъ что онъ говоритъ: „многое возможное не достигаетъ дѣйствительности, стало быть, возможное — начало (πρότερον); но если принять началомъ одну возможность, то надобно допустить случай не одѣйствотворенія ея, вслѣдствіе котораго могло ничего не быть.“ Такая спекулятивная нелѣпость опровергала вполнѣ, въ глазахъ его реализма, нелѣпое предположеніе. Далѣе онъ говоритъ; „Нѣтъ, не съ одного хаоса, не съ ночи, продолжавшейся безконечное время, какъ объясняютъ наши жрецы-теологи, начало всего; откуда взялось бы что нибудь, еслибъ въ самой дѣйствительности не было причины? Энергія есть высшее и первое (вспомните, какъ прекрасно Августинъ дѣлитъ хронологическое первенство и первенство достоинства, prioritas dignitatis). Вещественность страдательна; чистая дѣятельность предупреждаетъ возможность, не по времени, а по сущности.“ Цѣлесообразность выставляетъ, обличаетъ это первенство.

Вѣрный себѣ, Аристотель начинаетъ физику съ движенія и его моментовъ (пространство и время) и переходитъ отъ всеобщаго къ обособленіямъ и частностямъ вещественнаго міра, не теряя нигдѣ изъ вида главную мысль—живаго теченія, процесса. Мало того, что онъ природу схватываетъ, какъ жизнь — въ этомъ основа его естествовѣдѣнія,— но эту жизнь принимаетъ за единую, имѣющую цѣль въ себѣ, тождественную съ собою; движеніемъ она *не въ другое переходитъ*, но развиваетъ перемѣны изъ своего содержанія, пребывая въ нихъ и сохраняя себя. „Все находится во взаимномъ соотно-

шеніи; плавающее, летающее, прозябающее, — все это не чуждо другъ другу; они сами представляютъ свои отношенія, сводящіяся къ одному единству.“ Систематическаго порядка въ аристотелевой физикѣ нѣтъ: онъ выводитъ одну сторону предмета за другою, одно опредѣленіе за другимъ, безъ внутренней необходимости, развивая каждое до спекулятивнаго понятія, но не связуя ихъ. У него одна связь — та, которая въ самой природѣ—жизнь и движеніе; но для науки этого мало: жизнь еще не вся полнота самосознательной идеи.

Приступая къ идеѣ природы, Аристотель сначала разсматриваетъ природу, какъ причину, для чего нибудь дѣйствующую, имѣющую цѣлесообразное стремленіе, — потомъ уже переходитъ къ необходимости и ея отношеніямъ. Обыкновенно дѣлаютъ наоборотъ: обращаются сначала къ необходимому и существеннымъ считаютъ не то, что опредѣлено цѣлью, а что вышло изъ внѣшней необходимости; долгое время все пониманіе природы сводили на одно раскрытіе необходимости. Аристотель начинаетъ съ идеальнаго момента природы; для него цѣль — „внутренняя опредѣленность самаго предмета.“ „Въ ней заключена дѣятельность природы, ея самосохраненіе, постоянное, безпрерывное, и, слѣдовательно, зависящее не оть случая и удачи.“ Цѣль равно становитъ предъидущее и послѣдующее, причину и произведеніе; сообразно ей всѣ частныя дѣйствія отнесены къ единству, такъ что производимое есть именно природа вещи. „Нѣчто становится, какимъ оно предсуществовало.“ „Кто принимаетъ случайное образованіе, тотъ снимаетъ природу, ибо начало ея состоитъ въ томъ, что она себя приводитъ въ движеніе; природа есть то, что достигаетъ своей цѣли.“ Природа вещи — всеобщее, само съ собою тождественное, кото-

рое само себя, такъ сказать, отталкиваетъ, т. е. осуществляетъ; но то, что осуществляется, что возникаетъ —то было въ основѣ: это цѣль, родъ, предсуществовавшіе, какъ возможность. Отъ цѣли переходитъ Аристотель къ средѣ, къ средству: „Ласточка," говоритъ онъ: „вьетъ гнѣздо, паукъ плететъ паутину, дерево врастаетъ въ землю—въ нихъ самихъ находится причина такого дѣйствованія." Инстинктъ заставляетъ ихъ искать сочетанія среды съ самосохраненіемъ; средство —не что иное, какъ особенное представленіе цѣли, жизнь—цѣль самой себѣ, она достигаетъ, воспроизводитъ и хранитъ вызванный организмъ свой. Растеніе, животное становится *такимъ,* потому что оно въ водѣ или на воздухѣ—тутъ кругъ. Эта способность видоизмѣняться, принадлежащая живому,—не просто случайность и слѣдствіе одной внѣшней среды: она возбуждается внѣшнимъ условіемъ, но одѣйствотворяется на столько, на сколько соотвѣтствуетъ внутреннему понятію животнаго. „Иногда природа не достигаетъ того, чего хочетъ; ея ошибки—уроды; но ошибаться можетъ тотъ, кто дѣлаетъ съ цѣлью." Природа имѣетъ при себѣ свои средства и эти средства — сама цѣль; она похожа на человѣка, который самъ себя лечитъ." Говоря о необходимости, Аристотель превосходно побѣждаетъ мысль внѣшней необходимости въ развитіи природы слѣдующимъ примѣромъ: „Можно предположить, что домъ необходимо возникъ, потому что тяжелѣйшія части его внизу, а легкія вверху, такъ что, слѣдуя своей природѣ, фундаментъ опустился ниже земли, а сверхъ земли улеглись бревна... конечно, и это отношеніе было въ разсчетѣ, однако не вслѣдствіе его воздвигнули домъ. Такъ и во всемъ, для чего нибудь существующемъ: оно, т. е. существующее, не безъ того,

что необходимо его природѣ, но и не потому. Такая необходимость относится къ предмету, какъ вещественность вообще; въ матеріи необходимость, а въ основѣ —цѣль, и то и другое начало, но цѣль—высшее.“ Она двигающее, которому необходимое—необходимо, но она не покоряется ему, а совсѣмъ напротивъ, держитъ его въ своей власти, не даетъ ему вырваться изъ цѣлесообразности и удерживаетъ внѣшнюю силу необходимости.

Я оставляю прекрасные выводы Аристотеля пространства и времени единственно изъ боязни, что они вамъ покажутся слишкомъ абстрактными, и перейду къ его психологіи (которую, впрочемъ, можно назвать и физіологіей). Не думайте, что тутъ пойдетъ собственно метафизика души, что онъ, какъ схоластики, поставитъ передъ собой душу и пресерьезно начнетъ разбирать, что она за вещь такая, простая или сложная, духовная или вещественная,—нѣтъ, такими абстрактными игрушками спекулятивный духъ Аристотеля не могъ заниматься: его психологія разсматриваетъ дѣятельность въ живомъ организмѣ—не болѣе. Съ самаго приступа онъ проводитъ яркую черту между своимъ воззрѣніемъ и дуализмомъ метафизики; онъ говоритъ, что душу разсматриваютъ, какъ отдѣляемое отъ тѣла въ мышленіи съ логической стороны ея, и какъ нераздѣльное съ тѣломъ въ чувствахъ—физіологически, и тотчасъ присовокупляетъ, въ видѣ объясненія: „Съ одной стороны гнѣвъ, напримѣръ, разсматривается, какъ порывъ и кипѣніе крови, съ другой стороны—какъ желаніе справедливаго вознагражденія: это похоже на то, еслибъ одинъ домъ разсматривать со стороны представляемой имъ защиты отъ дождя и вѣтра, другой, со стороны матеріала, изъ котораго онъ построенъ, одинъ

со стороны формы, другой — со стороны вещества и необходимости.“ Душа есть энергія перехода изъ возможности въ дѣйствительность, сущность органическаго тѣла, его εἶδος, чрезъ посредство котораго она по возможности становится тѣломъ одушевленнымъ; душа достигаетъ формы, наиболѣе соотвѣтствующей себѣ: для того она и дѣятельна. „Нельзя спрашивать,“ говоритъ Аристотель, „тѣло и душа одно ли, или разное, такъ какъ нельзя спросить: воскъ и его форма одно ли.“ Совсѣмъ не въ томъ интересъ отношенія души къ тѣлу, что они тождественны или нѣтъ; главный вопросъ, по Аристотелю, состоитъ въ томъ, *тождественна ли дѣятельность съ органомъ.* Вещественная сторона представляетъ только возможность, не реальность души; субстанція глаза — видѣніе: лишите его способности зрѣнія, — вещество можетъ остаться тоже, но смыслъ утраченъ; глазъ, его составныя части, актъ видѣнія принадлежитъ единой цѣлости, и въ ней полная истина ихъ, а не врознь: такъ душа и тѣло составляютъ живую неразрывность. Душу Аристотель опредѣляетъ трояко: какъ питающуюся, какъ чувствующую и какъ разумную, соотвѣтственно тремъ главнѣйшимъ функціямъ души и имъ соотвѣтствующимъ царствамъ жизни: растительному, животному и человѣческому; въ человѣкѣ соединяется растительная и животная натура въ высшемъ единствѣ. Переходя къ взаимному отношенію трехъ душъ, Аристотель говоритъ: „растительная и чувственная душа находятся въ мыслящей, питающаяся душа составляетъ природу растеній; растительная душа — первая степень дѣятельности, находится и въ чувствующей душѣ, но такъ, какъ возможность ея.“ Она въ ней непосредственное по себѣ бытіе; всеобщее, существенное не ей принадлежитъ, но безъ нея быть не

можетъ; она изъ подлежащаго дѣлается сказуемымъ, изъ высшей дѣятельности нисходитъ на значеніе субстрата, носителя. То же отношеніе животнорастительной души къ мыслящей: высшее бытіе животнаго нисходитъ въ мыслящемъ существѣ *въ одно изъ его естественныхъ опредѣленій*, въ его всеобщую возможность, но то и другое покорено ею для себя бытіемъ (т. е. энтелехіей). Какая изумительная вѣрность и какая глубина въ этомъ взглядѣ на природу! Аристотель не только далеко оставилъ за собою грековъ, но и почти всѣхъ новыхъ философовъ. Послѣдуемъ за нимъ далѣе въ разборѣ функцій души.

„Чувствованіе — вообще возможность, но эта возможность съ тѣмъ вмѣстѣ дѣятельность. Первая перемѣна чувствующаго происходитъ отъ производящаго впечатлѣніе; но когда оно произведено, тогда мы обладаемъ впечатлѣніемъ, какъ знаніемъ," и въ этой страдательной сторонѣ чувствованія, возбуждаемой внѣшнимъ, находитъ Аристотель его различіе съ сознаніемъ. Причина этого различія состоитъ въ томъ, что чувствующая дѣятельность имѣетъ предметомъ частное, а знаніе — всеобщее, которое само нѣкоторымъ образомъ составляетъ сущность души. Оттого всякій можетъ думать, когда хочетъ, и мышленіе свободно; чувствовать же — не въ волѣ человѣка: для чувствованія необходимъ производитель. Чувство въ возможности — то, что ощущаемое въ дѣйствительности; оно страдательно, пока не приведетъ себя въ уровень съ впечатлѣніемъ; но, выстрадавъ, оно готово и дѣлается тождественно по ощущаемому. „*Какъ сущіе*, звукъ и слухъ разны, но въ основѣ своей они одинаковы"; дѣятельность слуха — ихъ единство, чувствованіе есть форма ихъ тождественности, снятіе противоположности предмета и органа;

чувство воспринимаетъ ощущаемыя формы безъ матеріи: такъ воскъ принимаетъ печать, захватывая не металлъ, а только его форму. Это сравненіе Аристотеля подало поводъ къ безконечнымъ толкамъ о душѣ, какъ о пустомъ пространствѣ (tabula rasa) наполняемомъ одними внѣшними впечатлѣніями; но такъ далеко сказанное сравненіе нейдетъ; воскъ въ самомъ дѣлѣ отъ печати ничего не принимаетъ; выдавленная форма, какъ внѣшнее очертаніе его, нисколько ему не существенно; въ душѣ, напротивъ, форма принимается самой сущностью ея, претворяется ею, такъ что душа представляетъ живую и усвоенную себѣ совокупность всего ощущаемаго. Приниманіе души дѣятельно; принявъ, она снимаетъ страдательность, освобождается отъ нея*); реф-

*) Здѣсь по неволѣ вспоминается споръ, долго тянувшійся между идеалистами и эмпириками о началѣ вѣдѣнія. Одни началомъ ставили сознаніе, другіе — опытъ. Спорили, писали томы и были очевидно неправы, потому что обѣ стороны принимали отвлеченіе за истину. Лейбницъ, своими геніальными „nisi intellectus," указалъ на разрѣшеніе спора; но его не поняли, находили, что это діалектическая уловка, искаженіе вопроса, и требовали лаконически то или другое: первенство опыта, или сознанія, la bourse ou la vie! Теперь этотъ вопросъ никого не занимаетъ; очевидность истины съ той и другой стороны и невозможность удержаться въ одномъ опредѣленіи, не перейдя въ другое, прямо ведетъ къ заключенію, что истина состоитъ въ единствѣ односторонностей, не исчерпывающихъ ея вразъ, необходимыхъ другъ для друга. И чего добивались споривше? для чего имъ хотѣлось утвердить ничтожное хронологическое первенство за опытомъ, или за сознаніемъ? Вѣроятно, они думали на этомъ первенствѣ основать майоратъ, не замѣчая, что въ чью бы пользу ни разрѣшили вопроса,— побѣда досталась бы противникамъ. Если начало знанія — опытъ, то знаніе дѣйствительное должно доказать, что предположеніе, предупреждающее его, не есть знаніе, что отъ него должно отречься, потому что оно не знаніе; начало, въ самомъ дѣлѣ, тотъ моментъ знанія, въ которомъ оно равно незнанію,—одна возможность знанія, снимаемая развитіемъ. Знаніе равно невозможно безъ опыта и безъ смысла. Если феноменально опытъ предшествуетъ сознанію, то это не

лексія сознанія снова поставляетъ различіе; но различіе, имѣющее оба момента внутри сознанія, ощущаемое въ отношеніи къ мышленію, представляетъ его непосредственность, его вещественную, матеріальную часть, безъ которой оно невозможно, внѣшнюю искру, возжигающую мышленіе; однажды вызванная мысль остановиться не можетъ, она не можетъ относиться къ своему предмету бездѣятельно, ибо она только и есть дѣятетьность; предметъ мысли самъ является въ формѣ мысли, лишенной объективности ощущаемаго, и оба термина движенія въ ней самой. Для мысли нѣтъ другаго бытія, какъ дѣятельное для себя бытіе, *она вовсе не имѣетъ по себѣ бытія*, ея по себѣ бытіе, матеріальное существованіе, есть именно *ея другое.* „Разумъ во всемъ у себя, онъ все мыслитъ; но онъ не имѣетъ дѣйствительности безъ мышленія, онъ ничего прежде, нежели мыслитъ," онъ живъ въ дѣятельности. „Разумъ — книга съ бѣлыми листами, *на которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, ничего не написано.*" Этого примѣра такъ же не поняли, какъ примѣра о воскѣ; дѣятельность тутъ принадлежитъ самой книгѣ, а внѣшнее только поводъ; разумѣется, разумъ — бѣлый листъ прежде мышленія; разумъ — динамія всего мыслимаго, но онъ ничего безъ мышленія; мыслитъ же опять онъ самъ, — внѣшность не умѣетъ писать на бѣломъ листѣ, она будитъ только писаря. „Разумъ страдателенъ," говоритъ Аристотель, „въ чув-

больше значитъ, какъ то, что онъ служитъ внѣшнимъ условіемъ для обличенія предсуществующаго ему разумѣнія, которое осталось бы одною возможностію, невозбужденное опытомъ. Подобныя абстракціи, удерживаемыя въ противорѣчащей полярности, ведутъ къ антиноміямъ, въ которыхъ безконечно повторяется противорѣчіе, съ монотонностью, приводящей въ отчаяніе, и указующей на какую-то неладность въ самомъ вопросѣ. Въ этихъ антиноміяхъ безпрерывно вращается разсудочная наука. Мы съ ними еще разъ встрѣтимся.

ствѣ и въ представленіи, но въ этомъ по себѣ бытіи его, онъ еще не развитъ; нусъ себя думаетъ чрезъ воспріятіе мыслимаго, это мыслимое становится, съ тѣмъ вмѣстѣ, возбуждающее (касающееся), оно создается въ то время, *какъ касается.* Разумъ — дѣятельность; то движется, то дѣятельно, что ищетъ, что проситъ; цѣль, искомое, напротивъ, пребываютъ въ покоѣ, но въ мышленіи предметъ самъ мыслимый, самъ произведеніе мышленія, къ себѣ стремится, оттого онъ безконеченъ и свободенъ, и тождественъ съ своею дѣятельностью, оттого онъ не имѣетъ другой дѣйствительности, кромѣ для себя бытія.“ Если мы нусъ возьмемъ за способность внѣшняго знанія, а не за дѣятельность, и мышленіе подчинимъ результатамъ такого знанія, то мышленіе будетъ хуже того, чего достигаетъ,—бѣдною и скучною воспроизводящею способностью. Свой разборъ мышленія Аристотель заключаетъ слѣдующими, чисто эллинскими словами: „Въ системѣ міра намъ данъ короткій срокъ пребыванія—жизнь; даръ этотъ прекрасенъ и высокъ. Бодрствованіе, чувствованіе, мышленіе —высшія блага, исполненныя наслажденія. Мышленіе, имѣющее предметомъ себя, претворило предметъ въ себя, такъ что мышленіе и мыслимое сливаются, и предметъ становится ея дѣятельностью и энергіей. Такое мышленіе — верхъ блаженства и радость въ жизни доблестнѣйшее занятіе человѣка.“ Энергію мышленія онъ ставитъ выше мыслимаго; для него живое мышленіе — высшее состояніе великаго процесса всемірной жизни. Вотъ вамъ грекъ во всей мощи и красѣ своего развитія! Это послѣднее торжественное слово *пластическаго* мышленія древнихъ; это рубежъ, далѣе котораго эллинскій міръ не могъ идти, оставаясь самимъ собою.

Осень, 1844 г.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Послѣдняя эпоха древней науки

Воззрѣніе Аристотеля не достигло такой наукообразной формы, которая бы, находя все въ себѣ и въ методѣ, поставила бы его независимо отъ самого Аристотеля; оно не достигло той зрѣлой самобытности, чтобъ совсѣмъ оторваться отъ лица, и, слѣдственно, не могло перейдти во всей полнотѣ къ его преемникамъ, — перейдти, какъ такое наслѣдіе, которое стояло бы только развивать и вести стройно впередъ. Въ наукѣ Аристотеля, какъ въ царствѣ ученика его, Александра Македонскаго, единство животворящее, средоточіе, къ которому все относилось,—не было полной принадлежностью ни науки, ни царства; имъ не доставало всего того, что въ нихъ привносила геніальность исполина мысли и исполина воли. Возможность имперіи Александра лежала въ современныхъ ему обстоятельствахъ, но дѣйствительность ея была въ немъ; со смертію его она распалась; послѣдствія ея были вѣрны и обстоятельствамъ и лицу, но царство, какъ органическое цѣлое, какъ соціальная индивидуальность, не могло удержаться. Также точно ученіе Платона и его предшественниковъ представляло Аристотелю возможность подняться на ту высоту, на которую его возвелъ его геній; но геніальность дѣло личное; нельзя требовать, чтобъ каждый перипатетикъ, наприм., имѣлъ бы такой талантъ, который поднялъ бы его на тотъ пьедесталъ, на которомъ стоялъ Аристотель, потому что онъ былъ геній. Слѣдствіемъ всего этого было формальное, подавтори-

тетное изученіе самого Аристотеля, вмѣсто усвоенія духа животворящаго его науку. Ученики его тогда только могли бы понять, усвоить себѣ воззрѣніе Аристотеля, когда бы они такъ стали на его почвѣ, чтобъ вовсе не заботились о его словахъ, а вели бы далѣе самое дѣло; но для этого надобно было, чтобъ доля, принадлежавшая геніальной личности, перешла въ безличность методы, т. е. людямъ надобно было прожить еще двѣ тысячи лѣтъ. Въ наше время, подвигъ Гегеля состоитъ именно въ томъ, что онъ науку такъ воплотилъ въ методу, что стоитъ понять его методу, чтобъ почти вовсе забыть его личность, которая часто безъ всякой нужды выказываетъ свою германскую физіономію и профессорскій мундиръ Берлинскаго Университета, не замѣчая противорѣчія такого рода личныхъ выходокъ съ средою, въ которой это дѣлается. Но это появленіе личныхъ мнѣній у Гегеля до такой степени неважно и неумѣстно, что никто (изъ порядочныхъ людей) не останавливается передъ ними, а его же методою бьютъ на голову тѣ выводы, въ которыхъ онъ является не органомъ науки, а человѣкомъ, не умѣющимъ освободиться отъ паутины ничтожныхъ и временныхъ отношеній; изъ его началъ смѣло идутъ противъ его непослѣдовательности — съ твердымъ сознаніемъ, что идутъ *за него*, а не *противъ него*. Чѣмъ болѣе вліяніе лица, чѣмъ болѣе вырѣзывается печать индивидуальности частной, тѣмъ труднѣе разобрать въ ней черты родовой индивидуальности, а наука-то и есть родовое мышленіе; потому она и принадлежитъ каждому, что она не принадлежитъ никому.

Эѳирное начало, тонкое вѣяніе духа глубокаго и полнаго живымъ пониманьемъ, носившееся надъ твореніями Аристотеля, тотчасъ низверглось, попавшись въ

холодильникъ разсудочнаго пониманія его послѣдователей. Слова его повторялись съ грамматическою вѣрностью,—но это была маска, снятая съ мертваго, представившая каждую черту, каждую морщину трупа и утратившая теплыя, колеблющіяся формы жизни. Аристотель не могъ привить свою философію такъ въ кровь своихъ современниковъ, чтобъ сдѣлать ее ихъ плотью и кровью; ни его послѣдователи не были готовы на это, ни его метода: онъ изъ простой эмпиріи поднимаетъ предметъ свой до многосторонной спекуляціи и истощивъ его, идетъ за другимъ; онъ, какъ рыболовъ, безпрестанно погружаетъ голову въ воду, чтобъ исторгнуть оттуда что нибудь, вывести на свѣжій воздухъ и усвоить себѣ; совокупность этихъ усвоеній даетъ тѣло его наукѣ, но средство этого претворенія — опять его личность, добавляющая своей мощью недостатокъ методы, ибо *открытая* метода его просто формальная логика; скрытое начало, связующее всѣ творенія Аристотеля, если и просвѣчиваетъ, то, навѣрное можно сказать, нигдѣ не выражено въ наукообразной формѣ; — оттого-то ближайшіе послѣдователи, усвоивъ себѣ то, что передавалось наукообразно, утратили все, что принадлежало орлиному взгляду генія. Неполнота или недостатокъ великаго мыслителя обличаются не въ немъ, а въ послѣдователяхъ, потому что они держатся въ неотступной и строгой вѣрности буквальному смыслу словъ, тогда какъ геніальная натура, по внутреннему устройству души своей, переходитъ во всѣ стороны за формальные предѣлы, хотя бы они были поставлены ея собственной рукой; это перехватываніе за предѣлы односторонности, даже современности, и составляетъ яркое величіе генія. Аристотель, такъ же, какъ и Платонъ, потускли въ философскихъ школахъ, слѣдовавшихъ за

ними; они остаются какими-то осѣняющими свыше тѣнями, недосягаемыми, высокими, отъ которыхъ всѣ ведутъ свое начало, къ которымъ всѣ хотятъ прикрѣпиться, но которыхъ никто не понимаетъ въ самомъ дѣлѣ. Послѣ многихъ вѣтвящихся школъ академическихъ и перипатетическихъ, не сдѣлавшихъ ничего важнаго, является неоплатонизмъ наслѣдникомъ всей древней мысли, исполненіемъ Платона и Аристотеля. Неоплатонизмомъ перешла древняя мысль въ новый міръ, —но это было болѣе переселеніе душъ, нежели развитіе: мы увидимъ это сейчасъ. Какъ лицо, какъ самъ онъ, Аристотель былъ схороненъ подъ развалинами древняго міра до тѣхъ поръ, пока Аравитянинъ не воскресилъ его и не привелъ въ Европу, погрязавшую во мракѣ невѣжества, — средневѣковой міръ, съ какой-то любовью накладывавшій на себя всякія цѣпи, съ подобострастіемъ склонился подъ авторитетъ рѣшительно непонятаго Аристотеля. При всемъ этомъ, doctores seraphici et angelici, унижаясь передъ Аристотелемъ, сдѣлали изъ него схоластическаго, скучнаго, іезуитическаго патера-формалиста. И бѣдный стагиритъ долженъ былъ раздѣлить всю ненависть воскреснувшей мысли, съ лютеровскимъ ярымъ гнѣвомъ возставшей противъ схоластики и романтическихъ оковъ*). Собственно отъ

*) Предупреждая возраженіе какого нибудь филолога, считаемъ нужнымъ замѣтить, что мы разумѣемъ судьбы Аристотеля на западѣ. Въ Восточной Имперіи, вѣроятно, до самыхъ турковъ, водились люди, читавшіе древнихъ философовъ, въ томъ числѣ Аристотеля, и смотрѣвшіе на него съ своей точки зрѣнія, — исторіи науки, собственно, до этого дѣла нѣтъ; исторія вообще не обязана заниматься всѣмъ, что дѣлаютъ люди и что они вездѣ дѣлаютъ. Все, что выпадаетъ изъ общаго русла или не втекаетъ въ него, что замираетъ въ стоячести, или, усталое, падаетъ на полдорогѣ, что случайно, частно, — тогда только имѣетъ право на историческое значеніе, когда оно не безслѣдно; въ

Аристотеля до „великаго возстановленія“ наукъ въ XVI столѣтіи (instauratio magna), наукообразнаго движенія не было, не смотря на то, что человѣчество въ этотъ промежутокъ сдѣлало колоссальные шаги, которые привели его къ новому міру мышленія и дѣянія. Для нашей цѣли, мы, ничего не теряя, могли бы перешагнуть отъ Аристотеля къ Бэкону,—но позвольте самымъ сжатымъ образомъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ времени, промежуточномъ между эллинской наукой, окончившейся Аристотелемъ, и новой, начавшейся съ Бэкона и Декарта и возмужавшей въ лицѣ Спинозы.

Наука грековъ, вступая въ послѣднюю фазу свою, ищетъ *очевиднаго*, одно очевидное принимаетъ за истину. Требованія ея становятся яснѣе и, съ тѣмъ вмѣстѣ, площе; она цѣлью своихъ изъисканій ставитъ внѣшній *критеріумъ* истины, ищетъ его въ личномъ мышленіи: —конечно, критеріумъ только и можно найдти въ мышленіи, но въ мышленіи, освобожденномъ отъ личнаго характера. Отъискиваніе критеріума, т. е. повѣркп, съ разсудочной точки зрѣнія—неразрѣшимая задача; умъ, отрѣшившійся отъ предмета и опредѣлившій себя отрицательно, можетъ понять истину, какъ свой законъ,

противномъ случаѣ, исторія забываетъ — и въ этомъ великое милосердіе ея! Исторія Китая, обыкновенно, преподается короче, нежели исторія каждаго города Италіи: неужели вы думаете, причина этому пристрастіе, даль или близость? Въ такомъ случаѣ, Плутархъ до высочайшей степени пристрастный человѣкъ, почему онъ писалъ біографіи Перикла, Алкивіада и проч., а не каждаго аѳинскаго гражданина? или почему въ своихъ біографіяхъ онъ не разсказываетъ, какъ у его героевъ рѣзались зубы, какъ ихъ отнимали отъ груди, или какъ въ болѣзненномъ и старческомъ бреду они капризничали, охали и проч.? Исторія, какъ Французская Академія, никому сама не предлагаетъ мѣста въ себѣ, а разбираетъ права тѣхъ, которые сами стучались въ дверь ея.

но никогда не пойметъ этого закона истиною предмета. И именно, въ этомъ отчужденномъ, сосредоточенномъ въ себѣ состояніи мысли, когда у ней теряется земля подъ ногами и чувствуется какая-то пустота внутри, возникаетъ потребность строгаго догматизма, мышленіе хочетъ въ немъ окопаться, укрѣпиться противъ всякаго нападенія, не зная, что худшій врагъ уже въ груди ея. Да и какъ было не искать людямъ неприкосновенной твердыни внутри себя и въ теоретическомъ мірѣ, когда все окружающее начало ломиться и оказываться ложнымъ или дряхлымъ. Свѣтлая эпоха греческой жизни приходила тогда къ концу; година, исполненная тяжкихъ страданій и униженій, наставала для Греціи; побѣдители востока не имѣли силы защищаться противъ суроваго запада. Въ жизни греческой такъ тѣсно соединялись всѣ элементы, что ни искусство, ни наука не могли, не измѣнившись, пережить гражданское устройство; для ихъ науки нужны были Аѳины, Аѳины, вѣрующіе въ себя... ну, просто, нужна была юношеская беззаботность, дозволяющая предаваться мысли,— а могла ли она остаться около того времени, какъ послѣдній царь македонскій съ поникнувшимъ челомъ шелъ по римскимъ улицамъ, прикованный къ торжественной колесницѣ побѣдителя? Когда это случилось, разлагающій ядъ давно разъѣдалъ Элладу; ни въ науку, ни въ государство, ни въ людей не было вѣры; объ Олимпѣ и говорить нечего — его не отвергали изъ какой-то учтивости, да стращали имъ толпу. Вотъ въ это время, а не во время софистовъ, въ самомъ дѣлѣ, явилось безобразное зрѣлище риторовъ-діалектиковъ, говорившихъ и проповѣдывавшихъ безъ всякихъ убѣжденій: это было какое-то холодное адвокатство въ наукѣ, двуличное и коварное, мгновенное и пустое; едва изрѣдка

появлялись искры, напоминавшія острый, поэтическій, легкій и глубокій аѳинскій умъ. Явленіе это болѣе принадлежитъ общественной жизни, нежели наукѣ, оно было —отраженіемъ гражданскаго растлѣнія въ сферѣ мышленія. Но въ той же самой сферѣ явилось и самое энергическое противодѣйствіе общественной безнравственности—стоицизмъ. Ученіе стоиковъ по преимуществу нравственное; оно прямо идетъ къ вопросамъ жизненнымъ, стремится дать совѣтъ, укрѣпить грудь противъ ударовъ судьбы, возбудить гордое сознаніе долга и заставить всѣмъ жертвовать ему,—что другое могли проповѣдывать люди мысли, передъ глазами которыхъ разъигрывался послѣдній замыкающій актъ трагедіи, гдѣ гибнулъ цѣлый міръ и изъ-за видимыхъ развалинъ этого міра трудно было разсмотрѣть будущее, тихо и незамѣтно водворявшееся, передъ этимъ страшнымъ зрѣлищемъ агоніи, исполненной старческаго, безсильнаго разврата, истощенья, гадкой въ своемъ циническомъ раболѣпіи?—философу оставалось скрестить руки на груди и мужественно стать протестомъ, своимъ неучастіемъ заклеймить общество, громко обличить его позоръ, и когда нѣтъ надежды спасти его, употребить всѣ силы, чтобъ спасти *нѣсколько лицъ*, оторвать ихъ отъ зараженной среды и пробудить нравственное чувство въ ихъ груди. Стоики обрекли себя на это. Но такое ученіе печально, угрюмо, „не жертвуетъ граціямъ,“—оно учитъ умирать, учитъ цѣною головы подтверждать истину, быть непреклонно-твердымъ въ несчастіяхъ, побѣждать страданія, пренебрегать наслажденіями:—все это добродѣтели, но добродѣтели человѣка въ несчастномъ положеніи; все это слишкомъ мрачно, чтобъ быть нормальнымъ. Рука стоика, всегда готовая прервать нить собственной жизни, была без-

страшно-жестка: она до всего касалась перстами грубыми,—и нѣжное, едва уловимое благоуханіе, въ которомъ, какъ въ своей атмосферѣ, является все аѳинское, —исчезаетъ отъ ихъ прикосновенія, или не существуетъ для него. Римскій духъ, практическій, опредѣленный, рѣзкій и холодный, началъ тогда проникать всюду, началъ становиться всемірнымъ, господствующимъ дыханіемъ; на римской почвѣ стоики развились вполнѣ; въ Греціи они были болѣе теоретики; здѣсь они отворяли себѣ жилы и приготовляли въ собственномъ саду костры; въ нихъ именно преобладалъ римскій элементъ: умы сухо-энергическіе и озлобленные, груди твердыя, но наболѣвшія, люди практическіе, но чрезвычайно односторонніе и формальные,—правила ихъ просты, чисты, —но въ своей абстрактной чистотѣ онѣ, какъ кислородъ, не составляютъ здоровой среды дыханія именно потому, что нѣтъ примѣси, которая бы смягчала рѣзкую чистоту. Нравоученія стоиковъ имѣли цѣлью образовать *мудраго;* они вѣрили только въ возможность добродѣтели частнаго лица; они искали развить нравственное только въ лицѣ мудраго, а не въ республикѣ, какъ Платонъ; они первые высказали колоссальную мысль, что мудрый не связанъ внѣшнимъ закономъ, ибо онъ въ себѣ носитъ живой источникъ закона и неповиненъ давать отчетъ кому либо, кромѣ своей совѣсти — мысль глубокая и многозначительная, но такая, которая высказывается только въ тѣ эпохи, когда мыслящіе люди разглядываютъ обличившуюся во всемъ безобразіи лжи несоотвѣтственность существующаго порядка съ сознаніемъ; такая мысль есть полнѣйшее отрицаніе положительнаго права; между тѣмъ, освобождая такимъ образомъ мудраго, стоики излагали свою нравственность сентенціями, т. е. готовыми статьями своего кодекса. Сентенціи въ

философіи нравственности безобразны; онѣ унижаютъ человѣка, выражая верховное недовѣріе къ нему, считая его несовершеннолѣтнимъ, или глупымъ; сверхъ того, онѣ безполезны, потому что всегда слишкомъ общи, никогда не могутъ обнять всѣхъ обстоятельствъ, видоизмѣняющихся въ данномъ случаѣ, а внѣ данныхъ случаетъ — онѣ не нужны; наконецъ, сентенція — мертвая буква; она не даетъ выхода изъ себя для исключительныхъ обстоятельствъ, и когда являются эти обстоятельства, — сила вещей отбрасываетъ отвлеченное правило, ломаетъ его, какъ раму, неимѣющую мощи сдержать содержаніе. Человѣкъ нравственный долженъ носить въ себѣ глубокое сознаніе, какъ слѣдуетъ поступить во всякомъ случаѣ, и вовсе не какъ рядъ сентенцій, а какъ всеобщую идею, изъ которой всегда можно вывести данный случай; онъ импровизируетъ свое поведеніе. Но стоики — формалисты и недовѣрчивые, съ юридической точки зрѣнія смотрѣли на нравственный вопросъ и составляли моральныя сентенціи; ихъ ученіе стремилось явнымъ образомъ окрѣпнуть, оцѣпенѣть въ окончанной догматикѣ.

И въ то же самое время, какъ мрачный, аскетическій стоицизмъ съ своими самоубійствами и суровыми правилами овладѣлъ умами, распространялось съ такой же быстротою другое ученіе, явно противоположное стоицизму (по выраженію): эпикуреизмъ — послѣдняя попытка, чисто греческая, свѣтло и отчасти дешево примирить мысль съ жизнію, себя съ окружающимъ. „Цѣль жизни, ея истина — сознательное, проникнутое мыслію наслажденіе собою, блаженство; въ немъ добро, въ немъ прекрасное, къ нему должно стремиться, снимая все мѣшающее, какъ зло.“ Итакъ блаженство — вотъ критеріумъ Эпикура. Ничто не можетъ быть нелѣпѣе, какъ

вѣчные разсказы добрыхъ людей о томъ, что Эпикуръ проповѣдывалъ цѣлью жизни грубое и животное удовлетвореніе страстей: это такъ же ограниченно и плоско, какъ воображать, что Гераклитъ только плакалъ, а Демокритъ—только хохоталъ, что софисты были шарлатаны и мошенники... Все это принадлежитъ особому воззрѣнію на философію, очень похожему на то воззрѣніе, которымъ изъ передней разсматриваютъ балъ. Блаженство, безъ всякаго сомнѣнія, цѣль жизни: все живое и сознающее имѣетъ неотъемлемое право на наслажденіе жизнію; но вопросъ: въ чемъ состоитъ блаженство человѣка? Для звѣря оно—въ сытости и въ слѣдованіи естественнымъ побужденіямъ; для звѣря-человѣка точно также; но не надобно забывать, что человѣкъ-звѣрь не въ нормальномъ состояніи: это такое же уродство, какъ человѣкъ, который бы отрекся отъ всего физическаго, какъ отъ недостойнаго себя; для человѣка нѣтъ блаженства въ безнравственности: въ нравственности и добродѣтели только и достигаетъ онъ высшаго блаженства: потому-то человѣку и совершенно естественно любить добродѣтель, любить нравственность. Моралистамъ хочется непремѣнно понуждать человѣка къ добру, заставлять его поступать нравственно, такъ какъ врачъ заставляетъ принимать отвратительную горечь; они въ томъ-то и находятъ достоинство, чтобъ человѣкъ *нехотя* исполнялъ обязанности; имъ не приходитъ въ голову, что если эти обязанности истинны и нравственны, то каковъ же тотъ человѣкъ, которому исполненіе ихъ противно? не приходитъ въ голову требованіе—примирить сердце и разумъ такъ, чтобъ человѣкъ исполненіе дѣйствительнаго долга не считалъ за тяжкую ношу, а находилъ въ немъ наслажденіе, какъ въ образѣ дѣйствія, наиболѣе есте-

ственномъ ему и признанномъ его разумомъ. Если добродѣтель только понудительная обязанность, внѣшнее велѣніе, то ее нельзя любить; можно ей жертвовать, можно покориться ей — но не болѣе; можно, наконецъ, быть по разсчету добродѣтельнымъ, ожидая возмездія: здѣсь опять цѣль — блаженство, но ниже, корыстнѣе понятое; возмездіе сопричисносущно самой добродѣтели, нравственное дѣяніе есть уже награда совершившаяся, блаженство само по себѣ. Иначе мы впадемъ въ то сомнѣніе, которое такъ мило выражено Шиллеромъ:

GEWISSENSSCRUPEL.

Gerne dien' ich den Freunden, doch thu' ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.

ENTSCHEIDUNG.

Da ist kein anderer Rath, du musst suchen, sie zu verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut (*).

Тотъ, кто находитъ въ добродѣтели наслажденіе, можетъ сказать, какъ Эпикуръ: „должно предпочитать разумное несчастіе безумному счастію,“ — и это очень просто, потому что безумное счастіе — нелѣпость для человѣка: для того, чтобъ имъ наслаждаться, онъ долженъ отречься отъ верховной сущности своей—разума. Всякій безнравственный поступокъ, сдѣланный сознательно, отрицаетъ разумъ, оскорбляетъ его, угрызеніе совѣсти напоминаетъ человѣку, что онъ поступилъ какъ рабъ, какъ животное, и нѣтъ блаженства при этомъ укоряющемъ голосѣ. Стоицизмъ больше формально про-

*) Сомнѣніе.

Охотно служу я друзьямъ моимъ, но по несчастію мнѣ это пріятно: меня часто упрекаетъ совѣсть въ безнравственности за это.

Рѣшеніе.

Дѣлать тутъ нѣчего, старайся ихъ ненавидѣть, и дѣлай съ отвращеніемъ то, что тебѣ повелѣваетъ долгъ.

тивоположенъ эпикуреизму, нежели въ самомъ дѣлѣ; развѣ онъ не потому хотѣлъ быть самоотверженнымъ, что въ самоотверженіи видѣлъ болѣе человѣчественное удовлетвореніе, нежели въ слабодушномъ потворствѣ и распущенности характера; стоицизмъ выразилъ только свое воззрѣніе иначе, освѣтилъ его съ противоположной стороны; вызванный, какъ реакція, какъ протестъ, онъ круто и аскетически принялся исправлять нравы, онъ былъ похожъ на строгій и суровый католицизмъ, явившійся послѣ Лютера. Эпикуреизмъ, совсѣмъ напротивъ, вѣрный греческому генію, понялъ роскошно, человѣчественно-просто вопросъ стоицизма и не разсѣкъ души человѣческой на страшную противоположность долга и влеченія, натравливая ихъ другъ на друга, а стремился ихъ примирить въ блаженствѣ, удовлетворяющемъ и долгу и страстямъ; для него исполненіе долга неразрывно съ наслажденіемъ, то есть, естественно и разумно. Состояніе нравственнаго дуализма противорѣчитъ значенію самопознающаго существа,—нелѣпость, похожая на то, еслибъ звѣрь, чувствуя потребность насыщенія, раздиралъ собственную грудь; простая, органическая цѣлесообразность громко вопіетъ противъ стоическаго унынія, скрежета зубовъ; такой аскетизмъ и гоненіе всего естественнаго ведетъ прямо къ оригеновскимъ поправкамъ физическаго. Замѣтьте, что чистота нравовъ эпикуровыхъ учениковъ вошла въ пословицу, и она очень понятна: человѣку, признающему свои права на наслажденіе, легко понимать права наслажденій надъ собою; ему не страшны страсти; онѣ не врагами, не ночными татями пробираются въ его сердце: онъ знакомъ съ ними и знаетъ ихъ мѣсто. Тотъ, кто дѣлаетъ цѣлью одно обузданіе страстей, тотъ даетъ страстямъ силу и высоту, которыхъ онѣ не имѣ-

ютъ вовсе, — онъ ихъ ставитъ соперникомъ разуму. Страсти крѣпнутъ и растутъ именно оттого, что имъ придаютъ огромную важность. Лукрецій говоритъ, что иногда надобно уступать потребности наслажденія для того, чтобъ она не безпрестанно насъ занимала. Эпикуръ, столь противоположный стоикамъ, послѣдними словами своего ученія сталъ рядомъ съ ними: „свобода отъ боязни и желаній," говоритъ онъ, „есть высшее блаженство." При этомъ, замѣтьте, обѣ школы даютъ личности человѣка несравненно важнѣйшее значеніе, нежели всѣ предшествовавшія имъ философскія ученія, — это преддверіе признанія безконечности человѣческаго духа, которое должно было развиться въ новомъ мірѣ. Вы можете мнѣ возразить, что эпикуреизмъ, однако, способствовалъ къ распространенію чувственности и матеріализма въ Римѣ. Да. Но въ какую эпоху? въ ту, въ корую Римъ былъ развращенъ до обоготворенія Клавдіевъ, Калигулы, и проч. Люди искали забыться, отвернуться отъ гражданскаго міра, отъ предчувствій и воспоминаній и толковали эпикуреизмъ по своему.

Эпикуреизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе; Эпикуръ былъ атомистъ и эмпирикъ — почти такъ же, какъ естествоиспытатели прошлаго вѣка и отчасти нашего. Не смотря на большую смѣлость его, онъ такъ же не выдержалъ своего воззрѣнія до конца, какъ всѣ греки, какъ самые стоики, которые, ставъ въ противоположность съ вѣрованіями языческаго міра, принимали какой-то фатализмъ и какія-то мистическія вліянія. Эпикуръ принимаетъ нелѣпость случайнаго соединенія атомовъ, какъ причину возникновенія сущаго, и прекрасно говоритъ о высшемъ существѣ, „которому ничего не достаетъ, неразрушимомъ, непреходящемъ и котораго надобно чтить не по внѣшнимъ причинамъ, а

потому, что оно по сущности своей достойно," и проч. Это свидѣтельствовало бы только, что онъ чувствовалъ предѣлы своего воззрѣнія, онъ провидѣлъ верховное начало, царящее надъ физическимъ многоразличіемъ; но сверхъ этого онъ толкуетъ о какихъ-то соподчиненныхъ богахъ, типахъ, служащихъ вѣчными идеалами людямъ. Какъ онъ мирилъ съ этимъ сонмомъ боговъ случайность возникновенія — непонятно, да вѣроятно онъ и самъ не понималъ какъ. Философы-деисты XVIII вѣка, вообще натуралисты, на всякомъ шагу представляютъ примѣры всесовершеннѣйшей противоположности своихъ физическихъ теорій съ какими-то попытками d'une religion raisonnée, naturelle, philosophique. Не смотря на эту непослѣдовательность, вліяніе эпикуреизма было значительно. Эпикурейцы принимали фактъ и опытъ не только за точку отправленія, но и за непреложный критеріумъ. Они были эмпирики и шли къ истинѣ инымъ путемъ: обыкновенно мыслители только одной ногой упирались въ фактъ и тотчасъ переходили къ всеобщему и отвлеченному, низводя потомъ логическое многоразличіе,—эпикурейцы оставались при эмпирическомъ; этотъ путь въ односторонности своей не можетъ выпутаться изъ эмпиріи и дойдти до всеобъемлющихъ синтетическихъ мыслей, но онъ имѣетъ въ себѣ такую неотразимость, такую непреложную очевидность и осязаемость, что тотчасъ дѣлается доступенъ, популяренъ, практиченъ. Не смотря на типы и идеалы, эпикуреизмъ былъ послѣдній ударъ на смерть язычеству. Стоицизмъ могъ перейдти въ мистицизмъ, — платонизмъ въ самомъ дѣлѣ перешелъ въ него. Аристотеля можно было перетолковать,—эпикуреизма ни подъ какимъ видомъ: онъ простъ, положителенъ. Вотъ за что и бранили его такъ злобно; онъ вовсе не былъ ни

развратнѣе, ни богоотступнѣе всѣхъ прочихъ философскихъ ученій въ Греціи; да и что намъ за дѣло заступаться за языческую правовѣрность? всѣ философы очень подозрительны со стороны политеизма, хотя въ нихъ во всѣхъ, и въ Эпикурѣ точно также, есть остатки его. Проклятая положительность и опытный путь—вотъ что озлобило людей въ родѣ Цицерона.

Противъ догматизма эпикурейскаго и стоическаго вскорѣ повѣялъ ѣдкій воздухъ скептицизма,—и послѣднія мысли древней философіи, становившіяся старчески упрямыми въ своей догматикѣ, рушились передъ его мощью и разсѣялись въ вечернемъ туманѣ, павшемъ на греко-римскій міръ. Скептицизмъ, естественное послѣдствіе догматизма: догматизмъ вызываетъ его на себя; скептицизмъ — реакція. Философскій догматизмъ, какъ все косное, твердое, успокоившееся въ довольствѣ собою,—противенъ вѣчнодѣятельной, стремящейся натурѣ человѣка; догматизмъ въ наукѣ не прогрессивенъ; совсѣмъ напротивъ, онъ заставляетъ живое мышленіе осѣсть каменной корой около своихъ началъ; онъ похожъ на твердое тѣло, бросаемое въ растворъ для того, чтобъ заставить кристаллы низвергнуться на него; — но мышленіе человѣческое вовсе не хочетъ кристаллизоваться, оно бѣжитъ косности и покоя, оно видитъ въ догматическомъ успокоеніи отдыхъ, усталь, наконецъ ограниченность; въ самомъ дѣлѣ, догматизмъ необходимо имѣетъ *готовое абсолютное*, впередъ идущее, и удерживаемое въ односторонности какого нибудь логическаго опредѣленія; онъ удовлетворяется своимъ достояніемъ, онъ не вовлекаетъ началъ своихъ въ движеніе, напротивъ, это неподвижный центръ, около котораго онъ ходитъ по цѣпи. Какъ только мысль начинаетъ разглядывать эту гранитную неподвижность, —

духъ человѣческій, этотъ actus purus, это движеніе по превосходству, возмущается и устремляетъ всѣ усилія свои, чтобъ смыть, разбить этотъ подводный камень, оскорбляющій ее,—и не было еще примѣра, чтобъ упорно стоящій въ наукѣ догматизмъ вынесъ такой напоръ. Скептицизмъ, какъ мы сказали,—противодѣйствіе, вызываемое полузаконной догматикой философіи; онъ самъ по себѣ невозможенъ тамъ, гдѣ невозможны твердыя мысли, принятіе на авторитетъ, стремленіе сдѣлать изъ науки, вмѣсто текущаго живаго мышленія, сухія нормы въ родѣ XII таблицъ. Но до тѣхъ поръ, пока наука не пойметъ себя именно этимъ живымъ, текучимъ сознаніемъ и мышленіемъ рода человѣческаго, которое, какъ Протей, облекается во всѣ формы, но не остается ни при одной,—до тѣхъ поръ, пока въ науку будутъ врываться готовыя истины, которыхъ принятіе ничѣмъ не оправдано, которыя взяты съ улицы, а не изъ разума, не только врываться, но и находить мѣсто и право гражданства въ ней,—до тѣхъ поръ, время отъ времени, злой и рѣзкій скептицизмъ будетъ поднимать свою голову Секста-Эмпирика, или Юма, и убивать своей ироніей, своей негаціей *всю науку*, за то, что она *не вся наука*. Сомнѣніе—вѣчно припаянный элементъ ко всѣмъ моментамъ развивающагося наукообразнаго мышленія,—мы его встрѣчаемъ вмѣстѣ съ наукой въ Греціи, и послѣдовательно будемъ встрѣчаться съ нимъ при всякой попыткѣ философскаго догматизма; онъ провожаетъ науку черезъ всѣ вѣка.

Характеръ скептицизма, которымъ заключилось мышленіе древняго міра, весьма замѣчателенъ; направленный противъ догматизма въ его двухъ формахъ, онъ совершилъ de facto то, чего домогался догматизмъ: онъ отрѣшилъ личность отъ всего сущаго, освободилъ ее

отъ всего положительнаго и такимъ образомъ отрицательно призналъ безконечное ея достоинство. Скептицизмъ освободилъ разумъ отъ древней науки, которая воспитала его; но это освобожденіе отнюдь не было гармоническое, сознательное провозглашеніе его правъ, его аутономіи: это было освобожденіе реакціонное, освобожденіе 93 года, освобожденіе отъ древняго міра, расчищавшее мѣсто міру грядущему. Скептицизмъ отправился отъ самаго страшнаго сознанія, какое только можетъ посѣтить человѣческую душу; онъ не только сомнѣвался въ возможности знать истину, но просто и не сомнѣвался въ невозможности знать ее; онъ былъ увѣренъ, что бытіе и мышленіе равно не имѣютъ повѣрки, что это несоизмѣримыя данныя, можетъ быть, даже мнимыя. Вмѣсто критеріума онъ поставилъ *кажется,* и, горько улыбаясь, успокоился на немъ; однажды убѣдившись въ неспособности разума подняться до истины, скептики не хотѣли и пытаться, а только доказывали, что попытки другихъ нелѣпы. Но не вѣрьте этому равнодушію: это то отчаянное равнодушіе безпомощности, съ которымъ вы смотрите на тѣло усопшаго друга; вы должны примириться съ тѣмъ, что его нѣтъ; что хочешь, дѣлай — не поможешь; скрѣпивъ сердце, вы идете къ своимъ дѣламъ. Какъ ни храбрись Секстъ-Эмпирикъ*), человѣку не легко примириться съ

*) Секстъ-Эмпирикъ жилъ во II вѣкѣ послѣ Р. Х. Человѣкъ ума необъятнаго, но чисто отрицательнаго, онъ не только все отрицалъ, но еще хуже, онъ принималъ все; въ его діалектикѣ есть какая-то иронія, повергающая въ отчаяніе; онъ отвергаетъ каузальность, напр., но потомъ говоритъ: стало быть, есть достаточная причина отвергать причину какъ причину — но если такъ, то и причина отвергать каузальность несостоятельна. Онъ, какъ Кантъ, выставилъ ряды антиномій — и всѣ ихъ оставилъ антиноміями. Послѣднимъ словомъ своимъ онъ сказалъ: „Тогда только тревожность духа успокоится и водво-

невѣріемъ въ себя, съ достовѣрностью неабсолютности своего разума; самый смѣхъ скептиковъ, иронія ихъ, показываютъ, что на душѣ ихъ не такъ-то было легко. Не все смѣются отъ веселья.

Противъ скептицизма древній міръ рѣшительно не имѣлъ орудія, потому что скептицизмъ былъ вѣрнѣе себѣ, нежели всѣ философскія системы древняго міра. Одинъ скептицизмъ не запятналъ себя въ древнемъ мірѣ безхарактернымъ и легкомысленнымъ потворствомъ язычеству; онъ не отворялъ съ такою легкостью дверей своихъ всякаго рода представленіямъ, которыя на время облегчаютъ неразрѣшимый вопросъ и пускаютъ нездоровые соки во весь организмъ. Дѣйствительная наука могла бы снять скептицизмъ, отречься отъ самаго отрицанія; для нея скептицизмъ—моментъ: но древняя наука не имѣла этой силы; она чувствовала грѣхи свои и не смѣла прямо выступить противъ скептицизма, уличавшаго ее въ несостоятельности. Онъ освободилъ разумъ отъ нея и повергъ его въ какую-то пустоту, въ которой вовсе не было содержанія: все поглотилось разверзшеюся пропастью отрицательнаго мышленія. Скептицизмъ раскрывалъ безконечную субъективность безъ всякой объективности. Вѣрный себѣ, онъ не высказалъ своего послѣдняго слова — и хорошо сдѣлалъ: его бы не поняли. Скептики искали успокоенія въ своей собственной личности; сомнѣваясь во вселенной, сомнѣваясь въ разумѣ, въ истинѣ, они указывали каждому, какъ на послѣднее убѣжище, какъ на якорь спасенія — на свою личность; но не прямо ли это вело къ положенію самопознанія, какъ сущности? не пока-

рится счастливая жизнь, когда бѣгущему отъ зла или стремящемуся къ добру укажутъ, что нѣтъ ни добра, ни зла.“ Послѣ такихъ словъ, міръ, который привелъ къ нимъ, долженъ пересоздаться.

зываетъ ли это, что въ концѣ древняго міра духъ человѣческій, утративъ довѣріе къ міру, къ праву, къ политеизму, къ наукѣ, провидѣлъ, что въ одномъ углубленіи въ себя можно найдти замѣну всѣмъ утратамъ? Это пророческое предсознаніе безконечнаго достоинства человѣка, едва мерцающее въ скептицизмѣ, явившемся убить пластическую, художественную науку Греціи, далеко перехватывало за предѣлы тогдашняго состоянія мысли. Человѣку надобно было почти двумя тысячелѣтіями приготовиться, чтобъ вынести сознаніе своего величія и достоинства.

Послѣ горячешнаго и безумнаго времени первыхъ цезарей, настало для Рима время нѣсколько спокойное; старикъ, вставшій съ одра смерти, почувствовалъ, что онъ въ болѣзни не только не утратилъ всѣхъ силъ, а пріобрѣлъ новыя: онъ не замѣчалъ, что это послѣднее упрямство жизни, напряженіе, за которымъ неминуемо слѣдуетъ гробъ. Все пришло въ порядокъ, и жизнь имперіи развертывалась величаво, могущественно; прокладывая свои каменныя дороги и воздвигая вѣчные дворцы, она могла еще плѣнить поддѣльной красотой своей Гиббона. Правда, что-то предчувствовалось, какой-то лихорадочный трепетъ время отъ времени пробѣгалъ по членамъ всей имперіи; на границахъ собирались какія-то дикія, долговолосыя и бѣлокурыя толпы; рабы смотрѣли на своихъ господъ съ большей ненавистью, нежели на этихъ варваровъ; люди, одаренные зоркими глазами, видѣли неотразимость грозы — но такихъ людей бываетъ немного. Оффиціально, Римъ стоялъ сильно и тяготѣлъ надъ всѣмъ древнимъ міромъ; оффиціально, онъ былъ еще *вѣчный городъ*; тупое довѣріе къ незыблемости существующаго порядка еще владѣло большинствомъ умовъ. Весь древній міръ со-

брался въ Римъ, какъ въ одинъ узелъ, въ одинъ царящій органъ: оттого именно Римъ и утрачиваетъ свою особность и дѣлается представителемъ не себя, а цѣлой вселенной; всѣ жизненныя силы покоренныхъ имъ народовъ текли въ него; онъ какъ бы для того совлекалъ ихъ, чтобъ можно было, по извѣстному поэтическому выраженію Калигулы — однимъ ударомъ снести голову древнему міру. Суровый Римъ могъ покорить вселенную, приладить свой умъ къ чужой мысли, свою душу къ чужому искусству,—но продолжать греческой жизни не могъ; въ его душѣ какъ-то печально сочаталась отвлеченность и практическій смыслъ, въ его душѣ была безконечная мощь и вмѣстѣ съ нею пустота, ничѣмъ ненаполняемая — ни побѣдами, ни юридической казуистикой, ни утонченной нѣгой, ни развратомъ тираніи и кровавыхъ зрѣлищъ. Жизнь Греціи не перешла въ Италію. Des Lebens May blüht einmal und nicht wider!

Въ противоположность гражданско политическому центру въ Римѣ, въ Александріи сосредоточились полнѣйшіе и послѣдніе представители древней мысли; тамъ матеріально, здѣсь интеллектуально собирались дружины древняго міра подъ ветхія свои знамена — не для того, чтобъ побѣдить, а для того, чтобъ склонить ихъ наконецъ передъ новымъ знаменіемъ. Вопросъ, поглотившій всѣ вопросы въ неоплатонизмѣ, состоялъ въ опредѣленіи отношеній частнаго къ всеобщему, міра явленій къ началу являющемуся, человѣка къ Богу.

Вы видѣли изъ прошлаго письма, что греческая мысль, какъ только становилась лицомъ къ лицу съ этимъ вопросомъ, оказывалась несостоятельною; какъ только она поднималась на эту высоту, у ней всякій разъ кружилось въ головѣ, и она начинала бредить и поддаваться языческимъ представленіямъ. Неоплатонизмъ

серьезнѣе и шире взялся за эти вопросы: онъ принялъ въ себя много юдаическаго, вообще восточнаго, и сочеталъ эти элементы, неизвѣстные греческой наукѣ, съ глубокимъ изученіемъ Пиѳагора, Платона и Аристотеля; онъ съ самаго начала почти не стоитъ на языческой почвѣ, не смотря на то, что высшій представитель его, Проклъ, съ упрямствомъ удерживаетъ греческое многобожіе. Политеизмъ обоготворялъ, оличалъ разныя силы природы, давалъ имъ образъ человѣческій, и этимъ образомъ давалъ характеръ той естественной силы, которой живымъ представителемъ являлся образъ. Неоплатоники отвлеченные моменты логическаго процесса, моменты міроваго развитія представляли фазами безусловнаго духа, безтѣлеснаго, соприсносущаго міру, замкнутаго въ себѣ; они понимали его „живымъ въ движеньи вещества,“ по превосходному державинскому выраженію. Грубо понятый неоплатонизъ — своего рода язычество, своего рода антропоморфизмъ, но не художественный, а мистическій; они собственно не хотятъ кумира, но принявъ іероглифическій языкъ, они такъ затемняютъ смыслъ своей рѣчи, что трудно догадаться, что у нихъ символъ, и что представляемое, — тѣмъ болѣе трудно, что они всѣми силами стараются показать свою преданность язычеству, и понимая разныя отвлеченныя истины подъ именами боговъ и богинь, сбиваютъ съ толку*); неоплатоники дѣлали опыты раціонально оправдать язычество, наукой доказать абсолютность его — и, разумѣется, только нанесли новый ударъ древней религіи; если ужь однажды замѣшаны были разумъ и наука въ дѣло фантастическихъ пред-

*) У Прокла это всего яснѣе; онъ былъ посвященъ во всѣ таинства и удивлялъ жрецовъ своими теологическими тонкостями.

ставленій, то можно было ждать, что они обличатъ ихъ недѣйствительность. Философія что бы ни принялась оправдывать, оправдываетъ только разумъ, т. е. себя. Точка отправленія Прокла — восторженная созерцательность; человѣкъ жизнію, настроеніемъ духа долженъ приготовлять себя къ восторженности, возводящей его на высоту созерцательности, которой только возможно вѣдѣніе безусловнаго. Безусловное, какъ оно есть само по себѣ, отвлеченное отъ условнаго, знать нельзя; оно въ себѣ остающееся, отвлеченное единство, — но оно дѣлается понятнымъ, обнаруживаясь, происходя, развиваясь. Но развитіе единаго не есть необузданное себяистрачиваніе, теряющееся въ ариѳметической безконечности, нѣтъ — оно, развиваясь, остается самимъ собою. Взаимодѣйствіе этой полярности, предѣлъ, мѣра — перегибъ къ средоточію. Отсюда Проклъ выводитъ свои три момента: *Единство*, *Безконечность*, *Мѣра*. Нельзя не замѣтить, что при всей силѣ и высотѣ этого воззрѣнія, оно отправляется не отъ логическаго предшествующаго, а отъ непосредственнаго вѣдѣнія, даннаго восторженностью; его мысль вѣрна, но метода не наукообразна, не оправдана. Религія идетъ отъ безусловной истины: ей не нужно такого оправданія, но неоплатоники хотѣли науки — и какъ наука, ихъ воззрѣніе, при всей высотѣ своей, не совсѣмъ состоятельно.

Неоплатонизмъ всѣми сторонами души своей, всѣми симпатіями, положеніемъ мысли относительно временнаго, выходитъ изъ древней мысли и вступаетъ въ міръ христіанскій; но, не смотря на это, неоплатоники не хотѣли принять христіанства: они мечтали новое вино налить въ старые мѣха. Неоплатонизмъ — отчаянный опытъ древняго разума спастись своими средства-

ми, опытъ величественный, но неудачный. Неужели неоплатоническимъ отвлеченнымъ, труднымъ, запутаннымъ языкомъ, ихъ философскимъ эклектизмомъ, ихъ теургической гностикой и любовью къ сверхъестественному можно было остановить паденіе Рима, остановить эпикуреизмъ, остановить скептицизмъ, и наконецъ, неужели ихъ языкомъ можно было говорить съ народомъ? Неоплатонизмъ блѣднѣетъ передъ христіанствомъ, какъ все отвлеченное блѣднѣетъ передъ полнымъ жизни. Во всѣхъ этихъ ученіяхъ вѣетъ грядущее, но во всѣхъ *чего-то* не достаетъ,—того властнаго глагола, той молніи, которая сплавляетъ изъ отрывчатыхъ и полувысказанныхъ начинаній единое цѣлое. У неоплатониковъ —почти какъ у нынѣшнихъ мечтателей соціалистовъ— пробиваются великія слова: примиреніе, обновленіе, παλιγενεσις, αποκαταστασις, παντων, но они остаются отвлеченными, неудобопонятными, такъ какъ ихъ теодицея; неоплатонизмъ былъ для ученыхъ, для немногихъ. „У насъ (т. е. у христіанъ) дѣти теперь," говоритъ Тертулліанъ: „больше знаютъ о Богѣ, нежели ваши мудрецы". Бороться съ христіанствомъ было безумно; но гордая философія, точно такъ же, какъ гордый Римъ, не обратила сначала вниманія на это. Странное дѣло: Римъ какъ будто утратилъ, въ гнусную эпоху лихихъ цезарей, весь свой умъ и впадалъ въ жалкое старчество людей, которые дѣлаются ничтожными и суетными на краю могилы; проповѣдываніе Евангелія уже раздавалось на площадяхъ его, а римская аристократія и умники съ улыбкой смотрѣли на бѣдную ересь назарейскую и писали подлые панегирики, пошлые мадригалы, не замѣчая, что рабы, бѣдняки, всѣ труждающіеся и обремененные, слушали новую вѣсть искупленія. Тацитъ не понялъ сначала и Плиній не понялъ потомъ, что

совершалось передъ ихъ глазами. Неоплатоники видѣли такъ же, какъ стоики и скептики, странное состояніе гражданскаго порядка и нравственнаго быта, но увлеченные созерцательностью, они не могли съ отчаянія удариться въ невѣріе, въ чувственность; несостоятельность міра положительнаго привела ихъ къ презрѣнію всего временнаго, естественнаго, къ отъисканію другаго міра внутри себя—независимаго и безусловнаго; этотъ міръ, при глубокомъ и страстномъ вниканіи въ него, велъ къ признанію одного отвлеченнаго и духовнаго за истину*); но это духовное было и шире и выше понято ими, нежели всей предшествующей мыслію; одно оно исполняло то, къ чему они стремились, одно христіанство соотвѣтствовало неоплатонизму; а между тѣмъ, неоплатоники не только были язычниками по привычкѣ, или потому что, родившись язычниками, изъ *ложнаго стыда* хотѣли остаться ими, — нѣтъ, они въ самомъ дѣлѣ воображали, что миѳы язычества лучшая плоть для истины. Люди, наклонные все матеріальное считать призракомъ, въ самомъ началѣ сдѣлали такую грубую ошибку, что потомъ имъ легко было принимать послѣдствія, вовсе нейдущія изъ ихъ началъ, и мириться со всѣмъ тѣмъ, съ чѣмъ не хотѣли мириться. Но что же мѣшало имъ отречься отъ стараго, умершаго воззрѣнія? То, что это вовсе не такъ легко, какъ кажется.

*) Вотъ что говоритъ Порфирій о своемъ учителѣ: „Плотинъ намъ казался существомъ высшимъ, онъ стыдился своего тѣла, не любилъ говорить ни о своей семьѣ, ни о родителяхъ, ни объ отчизнѣ. Никогда не дозволялъ онъ, чтобъ его тѣло было повторено живописцемъ или ваятелемъ; когда Аврелій просилъ его позволенія срисовать его, онъ отвѣтилъ ему: Не довольно ли, что мы принуждены таскать съ собою тѣло, въ которомъ заключены природою, неужели намъ еще оставлять изображеніе тюрьмы, какъ будто видъ ея имѣетъ въ себѣ что либо величественное?“ Это чисто-романтическое направленіе!

Побѣжденное и старое не тотчасъ сходитъ въ могилу; долговѣчность и упорность отходящаго основаны на внутренней хранительной силѣ всего сущаго: ею защищается до-нельзя все однажды призванное къ жизни; всемірная экономія не позволяетъ ничему сущему сойдти въ могилу прежде истощенія всѣхъ силъ. Консервативность въ историческомъ мірѣ такъ же вѣрна жизни, какъ вѣчное движеніе и обновленіе; въ ней громко высказывается мощное одобреніе существующаго, признаніе его правъ; стремленіе впередъ, напротивъ, выражаетъ неудовлетворительность существующаго, исканіе формы, болѣе соотвѣтствующей новой степени развитія разума; оно ничѣмъ не довольно, негодуетъ; ему тѣсно въ существующемъ порядкѣ; а историческое движеніе тѣмъ временемъ идетъ діагонально, повинуясь обѣимъ силамъ, противопоставляя ихъ другъ другу, и тѣмъ самымъ спасаясь отъ односторонности. Воспоминаніе и надежда, status quo и прогрессъ—антиномія исторіи, два ея берега—status quo основанъ на фактическомъ признаніи, что каждая осуществившаяся форма—дѣйствительный сосудъ жизни, побѣда одержанная, истина, доказанная непреложно бытіемъ; онъ основанъ на вѣрной мысли, что человѣчество въ каждый историческій моментъ обладаетъ всею полнотою жизни, что ему нѣчего ждать будущаго, чтобъ пользоваться своими правами. Консервативное направленіе будитъ въ душѣ святыя воспоминанія, близкія и родныя, зоветъ возвратиться въ родительскій домъ, гдѣ такъ юно, такъ беззаботно текла жизнь, забывая, что домъ этотъ сдѣлался тѣсенъ и полуразвалился; оно отправляется отъ золотаго вѣка. Совершенствованіе идетъ къ золотому вѣку, протестуетъ противъ признанія опредѣленнаго за безусловное; видитъ въ истинѣ былаго и сущаго истину

относительную, неимѣющую права на вѣчное существованіе, и свидѣтельствующую о своей ограниченности именно своей преходимостью; оно хранитъ также въ себѣ былое, но не хочетъ его сдѣлать мѣтой его мечты—въ будущемъ, въ святомъ упованіи. Міръ языческій, исключительно національный, непосредственный, былъ всегда подъ обаятельной властію воспоминанія; христіанство поставило надежду въ число краеугольныхъ добродѣтелей. Хотя надежда всякій разъ побѣдитъ воспоминаніе, тѣмъ не менѣе борьба ихъ бываетъ зла и продолжительна. Старое страшно защищается, и это понятно; какъ жизни не держаться ревниво за достигнутыя формы? Она новыхъ еще не знаетъ, она сама эти формы; сознать себя прошедшимъ — самоотверженіе, почти невозможное живому: это самоубійство Катона. Отходящій порядокъ вещей обладаетъ полнымъ развитіемъ, всестороннимъ приложеніемъ, прочными корнями въ сердцѣ; юное, напротивъ, только возникаетъ; оно сначала является всеобщимъ и отвлеченнымъ, оно бѣдно и наго; а старое богато и сильно. Новое надобно созидать въ потѣ лица, а старое само продолжаетъ существовать и твердо держится на костыляхъ привычки. Новое надобно изслѣдовать; оно требуетъ внутренней работы, пожертвованій; старое принимается безъ анализа, оно готово — великое право въ глазахъ людей; на новое смотрятъ съ недовѣріемъ, потому что черты его юны; а къ дряхлымъ чертамъ стараго такъ привыкли, что онѣ кажутся вѣчными. Сила, чары воспоминанія могутъ иногда пересилить увлеченія манящей надежды; хотятъ прошедшаго во что бы то ни стало, въ немъ видятъ будущее. Таковъ, напримѣръ, Юліанъ-Отступникъ. Въ его время, вопросъ о бытіи и не-бытіи древняго міра уже страшно постановился; не

знать его было нельзя. Три возможныя рѣшенія представлялись: язычество, т. е. былое, воспоминаніе; отчаяніе, т. е. скептицизмъ — ни былаго, ни будущаго, и наконецъ, принятіе христіанства и съ тѣмъ вмѣстѣ выходъ въ новый грядущій міръ, съ оставленіемъ мертвымъ хоронить мертвыхъ. Юліанъ былъ горячій мечтатель, человѣкъ съ энергической душой, сначала безъ дѣла весь отданный греческой наукѣ, потомъ въ дальней Лютеціи занятый рѣшеніемъ тяжкаго вопроса о современности, — онъ рѣшилъ его въ пользу прошедшаго. Замѣтимъ, между прочимъ, что ни средоточіе неоплатонизма, ни Юліанъ, не жили въ Византіи: они могли мечтать о миновавшихъ нравахъ, о возстановленіи древняго порядка дѣлъ внѣ новой столицы, внѣ города, которымъ Константинъ отрекся отъ язычества и отъ неразрывнаго съ язычествомъ быта древней столицы. Теоретически казалось возможнымъ не токмо воскресить былое, но, воскрешая, просвѣтлить его. Юліанъ былъ человѣкъ нравовъ строгихъ и высокихъ доблестей. Въ лицѣ его древній міръ очистился, просіялъ, какъ будто сознательно приготовляясь къ честной и безпостыдной кончинѣ. Воля его была тверда, благородна, умъ геніальный. Все тщетно! Воскресить прошедшее было просто невозможно. Мало зрѣлищъ болѣе торжественныхъ и успокоительныхъ, какъ безсиліе такихъ гигантовъ, какъ Юліанъ, противъ духа времени; по ихъ силѣ и по безсилію дѣйствія, можно легко измѣрить всю несостоятельность несхороненнаго прошедшаго противъ нарождающагося будущаго. Конечно, воспоминанія Аѳинъ и Рима, грустныя и упрекающія, являлись на опустѣвшихъ стѣнахъ и мощно звали къ себѣ; конечно, жаль было прекрасный міръ, уходившій въ гробъ — намъ вчуже жаль его до слезъ, но что же

дѣлать противъ совершившагося событія? Его смерть была трагическій фактъ, котораго не принять нельзя было людямъ, присутствовавшимъ при похоронахъ. Не споримъ, своего рода мрачная поэзія окружаетъ людей прошедшаго; есть что-то трогательное въ ихъ погребальной процессіи, идущей вспять, въ ихъ вѣчно неудачныхъ опытахъ воскресить покойника. Вспомните о евреяхъ, ожидающихъ до сего дня возстановленія царства израильскаго, борящихся до сихъ поръ противъ христіанства... Что можетъ быть печальнѣе положенія еврея въ Европѣ — этого человѣка, отрицающаго всю широкую жизнь около себя на основанін неподвижныхъ преданій! груди его некому распахнуться, потому что все сочувствовавшее съ нимъ умерло, вѣка тому назадъ; онъ съ ненавистью и съ завистью смотритъ на все европейское, зная, что не имѣетъ законнаго права ни на какой плодъ этой жизни и въ то же время не умѣетъ обойдтись безъ удобства европеизма... Всякій рѣзкій переворотъ долго послѣ себя оставляетъ представителей враждующихъ сторонъ. Вы найдете жидовскую неподвижность и въ Сенъ-Жерменскомъ Предмѣстьи, въ нашихъ старыхъ и новыхъ раскольникахъ... Неоплатоники были въ томъ же самомъ положеніи; они, какъ мы сказали, всѣмъ слоемъ своего ума, всѣмъ ученіемъ своимъ вышли изъ древняго міра и натягивали какое-то близкое сродство съ нимъ, котораго вовсе не было въ ихъ душѣ; они своего рода раціонализмомъ дошли до аллегорическаго оправданія язычества, и вообразили, что они вѣрятъ въ него. Они хотѣли какимъ-то философски-литературнымъ образомъ воскресить умершій порядокъ вещей. Они обманывали себя болѣе, нежели другихъ. Они въ прошедшемъ видѣли собственно будущій идеалъ, но облеченный въ ризы прошедшаго.

Еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, давно прошедшій бытъ могъ воскреснуть на мигъ, во время полнаго разгара неоплатонизма, поклонники его содрогнулись бы передъ нимъ, не потому, что онъ былъ дуренъ въ *свое* время, а потому что *его* время уже миновало; потому что онъ представлялъ вовсе не ту среду, которая была нужна для современнаго человѣка, — что сдѣлали бы Проклъ и Плотинъ въ суровомъ времени пуническихъ войнъ? Но тѣмъ не менѣе люди, предавшіеся былому, глубоко страдаютъ; они столько же вышли изъ окружающаго, какъ и тѣ, которые живутъ въ одномъ будущемъ. Страданія эти необходимо сопровождаютъ всякій переворотъ: послѣднее время передъ вступленіемъ въ новую фазу жизни тягостно, невыносимо для всякаго мыслящаго; всѣ вопросы становятся скорбны, люди готовы принять самыя нелѣпыя разрѣшенія, лишь бы успокоиться; фанатическія вѣрованія идутъ рядомъ съ холоднымъ невѣріемъ, безумныя надежды объ-руку съ отчаяніемъ, предчувствіе томитъ, хочется событій, а по видимому ничего не совершается*)... Это — глухая, подземная работа, пробивающаяся на свѣтъ, мучительная беременность, время тягости и страданій; оно похоже на переходъ по степи, безотрадный, изнуряющій — ни тѣни для отдыха, ни источника для оживленія; плоды, взятые съ собою, гнилы, плоды встрѣчающіеся кислы. Бѣдныя промежуточныя поколѣнія — они поги-

*) Посмотрите, какія страшныя слова вырываются иногда у Плинія, у Лукана, у Сенеки. Вы въ нихъ найдете и апотеозу самоубійству, и горькіе упреки жизни, и желаніе смерти, да какой смерти — „смерти съ упованіемъ уничтоженія“! — „Смерть единственное вознагражденіе за несчастіе рожденія, и что намъ въ ней, если она ведетъ къ безсмертію? Лишенные счастія не родиться, неужели мы лишены счастія уничтожиться?“ (Hist. Nat.) Это говоритъ Плиній. Какая усталь пала на душу людей этихъ, какое отчаяніе придавило ихъ!

бают на полу-дорогѣ обыкновенно, изнуряясь лихорадочнымъ состояніемъ; поколѣнія выморочныя, непринадлежащія ни къ тому, ни къ другому міру — они несутъ всю тягость зла прошедшаго и отлучены отъ всѣхъ благъ будущаго. Новый міръ забудетъ ихъ, какъ забываетъ радостный путникъ, пріѣхавшій въ свою семью, верблюда, который несъ все достояніе его и палъ на пути. Счастливы тѣ, которые закрыли глаза, видя хоть издали деревья обѣтованнаго края; большая часть умираетъ или въ безумномъ бреду, или устремляя глаза на давящее небо и лежа на жесткомъ, каленомъ пескѣ... Древній міръ, въ послѣдніе вѣка своей жизни, испыталъ всю горечь этой чаши; круче и сильнѣе переворота въ исторіи не было; спасти могло одно христіанство; а оно такъ рѣзко становилось въ противоположность съ міромъ языческимъ, ниспровергая всѣ прежнія вѣрованія, убѣжденія его, что трудно было людямъ разомъ оторваться отъ прошедшаго. Надобно было переродиться, по словамъ Евангелія, отказаться отъ всей суммы нажитыхъ истинъ и правилъ, — это чрезвычайно трудно; практическая, обыдённая мудрость несравненно глубже пускаетъ корни, нежели само положительное законодателство. А между тѣмъ, новый міръ только и могъ начаться съ такого разрыва; неоплатоники были реформаторы, они хотѣли побѣлить да подновить новое зданіе; они хотѣли, не жертвуя старымъ, воспользоваться новымъ — и имъ не удалось. „Кто отца своего любитъ болѣе меня, тотъ недостоинъ меня.“ Древняя мысль сначала аристократически не знала христіанства; когда же она поняла его, — испуганная, вступила съ нимъ въ борьбу; она истощала всѣ средства, чтобъ безуспѣшно противодѣйствовать ему: она была умна, но безсильна и несовременна.

Пять столѣтій выдержала она себя; наконецъ, въ 529 году, Юстиніанъ изгналъ всѣхъ языческихъ философовъ изъ предѣловъ имперіи и закрылъ послѣднюю неоплатоническую школу; *семь* послѣднихъ представителей древней науки бѣжали въ Персію; Персъ Хозрой выпросилъ имъ позволеніе возвратиться на родину, и они потерялись безвѣстными скитальцами, они не нашли уже аудиторій своихъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, распространился страшный моръ; казалось, физическіе элементы, самъ шаръ земной участвуютъ въ послѣднемъ актѣ этой трагедіи; люди умирали сотнями, города пустѣли, судорожно и болѣзненно сжималось сердце оставшихся, — въ этихъ судорогахъ умиралъ древній міръ. Императоръ Левъ Исавръ попробовалъ уничтожить его духовное завѣщаніе: онъ сжегъ огромную библіотеку въ Византіи и запретилъ преподавать въ школахъ что либо, кромѣ религіи.

Новый міръ, торжественно и глубокознаменательно встрѣтившійся съ старымъ Римомъ въ лицѣ апостола Павла, представшаго передъ цезаремъ Нерономъ — побѣдилъ.

Вы можете меня упрекнуть, что, обѣщая писать объ изученіи природы, я доселѣ всего менѣе говорилъ о естествовѣдѣніи,— но упрекъ вашъ врядъ ли будетъ справедливъ. Цѣль моихъ писемъ вовсе не та, чтобъ знакомить васъ съ фактическою частью естественныхъ наукъ; мнѣ хотѣлось одного: по мѣрѣ возможности показать, что антагонизмъ между философіей и естествовѣдѣніемъ становится со всякимъ днемъ нелѣпѣе

и невозможнѣе; что онъ держится на взаимномъ непониманіи, что эмпирія такъ же истинна и дѣйствительна, какъ идеализмъ, что спекуляція есть ихъ единство, ихъ соединеніе. Для достиженія предположенной цѣли мнѣ казалось*) необходимымъ раскрыть, откуда развился антагонизмъ естествовѣдѣнія съ философіей, а это само собою вело къ опредѣленію науки вообще и къ историческому очерку ея. Въ логикѣ, наука выходитъ готовой, какъ вооруженная Паллада изъ головы Юпитера; ей не достаетъ рожденія и ребячества; въ исторіи она выростаетъ изъ едва замѣтнаго зародыша. Не зная эмбріологіи науки, не зная судебъ ея, трудно понять ея современное состояніе; логическое развитіе не передаетъ съ тою жизненностью и очевидностью положенія науки, какъ исторія. Логика на все смотритъ съ точки зрѣнія вѣчности — оттого все относительное и историческое теряется въ ней. Логика, раскрывая нелѣпость, думаетъ, что она сняла ее; исторія знаетъ, какими крѣпкими корнями нелѣпость приростаетъ къ землѣ — и она одна можетъ ясно раскрыть состояніе современной борьбы.

Но упрекъ былъ бы и съ другой стороны несправедливъ; мы говорили только о древнемъ мірѣ, а въ древнемъ мірѣ все наукообразное развитіе сосредоточивалось въ философіи. Въ строгомъ смыслѣ слова, древній міръ не имѣлъ науки о природѣ; въ немъ было благородное стремленіе все узнать, объяснить явленія, понять окружающее; Плиній говоритъ, что незнаніе природы — гнусная неблагодарность; но древніе естествоиспытатели чаще всего ограничивались этимъ благороднымъ стремленіемъ и поверхностными теоріями. Древній міръ

*) См. начало втораго письма.

не умѣлъ наблюдать, не умѣлъ пытать явленія и ихъ допрашивать; оттого естествовѣдѣніе его состояло изъ общихъ взглядовъ вѣрности поразительной и изъ частныхъ фактовъ большею частью отрывочныхъ и худо обслѣдованныхъ*); для него наука была дилетантизмомъ, художественной потребностью, а не жгучей жаждой истины; оттого Плинію, какъ и Лукрецію, довлѣетъ сочувствіе съ природой и поэтическое созерцаніе ея. Historia Naturalis Плинія даетъ примѣры на каждомъ шагу; начнетъ ли онъ описывать небо — онъ останавливается съ итальянскимъ пристрастіемъ къ солнцу и называетъ его божествомъ *всевидящимъ и всеслышащимъ*, божествомъ всеоживляющимъ, божествомъ, удаляющимъ грустные помыслы; обратится ли онъ къ землѣ—опять вдохновеніе (и нѣсколько реторики): онъ ее называетъ матерью кроткой, милосердой, которая кормитъ насъ, даетъ защиту, опору, и послѣ смерти скрываетъ въ своихъ нѣдрахъ бренные остатки. „Воздухъ реветъ бурей и сгущается въ тучи, вода льется дождями, цѣпенѣетъ градомъ, несется потоками, а земля — at hæc benigna mitis, indulgens usuique mortalium semper ancilla, quae coacta generat! Она на всѣ наши нужды имѣетъ отвѣтъ; она произвела даже ядовитыя растенія для того, чтобъ человѣкъ, наскучившій жизнію, могъ легко прекратить ее, не бросаясь со скалъ“ (Historia Naturalis Lib. II, LXIII).

Не изучать природу, а наслаждаться поэтическимъ пониманіемъ ея — вотъ чего хотѣлось древнимъ. Впрочемъ, обращаясь назадъ, мы встрѣчаемъ, какъ великое

*) Одна отрасль естествовѣдѣнія, тѣсно связанная съ математикой и заставлявшая по неволѣ наблюдать — астрономія, развилась въ наиболѣе наукообразную форму при Ипархѣ и Птоломеяхъ,— оттого „Алмагеста“ и устояла до самаго Коперника.

исключеніе, того же колоссальнаго человѣка, который по всему великій представитель древняго міра — Аристотеля. Его общій взглядъ на природу мы знаемъ; но онъ великъ и какъ наблюдатель,—онъ оставилъ превосходныя монографіи. Извѣстно, что Александръ Македонскій на походахъ своихъ не забывалъ высылать цѣлые отряды воиновъ на ловлю звѣрей и отправлялъ ихъ къ Аристотелю: такимъ образомъ онъ первый занимался сравнительной анатоміей; онъ помышлялъ уже о стройномъ рядѣ развитія животнаго царства; его раздѣленіе, какъ мы имѣли случай замѣтить, осталось до сихъ поръ. Взглядъ Аристотеля въ естествовѣдѣніи, какъ и вездѣ, спекулятивенъ и до чрезвычайности реаленъ; принимая природу за процессъ, за дѣятельность одѣйствотворяющую возможность, заключенную въ ней Аристотель равно далекъ отъ идеальности Платона и отъ матеріализма Эпикура, хотя въ немъ есть оба эти элемента. Въ послѣдователяхъ его, особенно занимавшихся естестествовѣдѣніемъ, начинаетъ замѣтно преобладать матеріализмъ; такъ, напримѣръ, *Стратонъ* стремился все сущее объяснить одними физическими средствами; онъ отвергалъ всякую за-природную причину; цѣлесообразность мірозданія казалась ему вымысломъ или, по крайней мѣрѣ, предположеніемъ, не имѣющимъ доказательствъ. Всѣ явленія и ихъ связь принималъ онъ за слѣдствіе случайнаго взаимодѣйствія основныхъ свойствъ природы, заключенныхъ въ вѣчной матеріи. Міръ чувствованій — точно также проявленіе естественной силы, особымъ образомъ опредѣленной въ организмѣ, котораго вещественные элементы сочетались первоначально безъ цѣли, а потомъ воспользовались представившимися условіями, чтобъ развиться до возможнаго предѣла; достигнувъ его, организмъ не разви-

вается, а повторяетъ себя для сохраненія рода*). Самыми полными представителями этого воззрѣнія, сдѣлавшагося подъ конецъ общимъ воззрѣніемъ древнихъ натуралистовъ, могутъ быть Лукрецій и Плиній-Младшій. Греческая мысль сдѣлалась въ нѣкоторыхъ областяхъ общѣе и яснѣе, перейдя на римскую почву. Лукрецій, въ началѣ своей знаменитой поэмы «De rerum natura», говоритъ съ той же ироніей о темнотѣ греческихъ философовъ, съ какой нынѣ говорятъ французы о германской наукѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Лукрецій ясенъ и увлекателенъ; въ немъ эпикурейское воззрѣніе созрѣло, согрѣтое огненной кровью поэта, и пышно расцвѣло. Съ перваго взгляда кажется страннымъ сочетаніе поэзіи съ эпикурейскимъ матеріализмомъ; но вспомнимъ, что этому человѣку съ горячимъ сердцемъ и съ реальными страстями предстоялъ выборъ между падающимъ язычествомъ, темнымъ аскетизмомъ неоплатониковъ и свободнымъ взглядомъ тогдашняго матеріализма. Сказки миѳологіи граціозны и милы, особенно для насъ, знающихъ, что это сказки; во время Лукреція онѣ становились противны; противодѣйствіе язычеству было въ модѣ, въ хорошемъ тонѣ; напрасно Цицеронъ краснорѣчиво хотѣлъ талейрановски пройдти между философіей и язычествомъ, примирить ихъ внѣшнимъ образомъ и сочетать въ насильственный и невозможный бракъ; Юлій Цезарь въ засѣданіи сената открыто сказалъ, что не вѣритъ въ безсмертіе души, а потомъ Сенека повторилъ это со сцены. Извѣстно, какъ строгъ былъ въ отношеніи къ мнѣніямъ, древній греко-римскій міръ, особенно во время Лукреція; спустя полвѣка послѣ

*) Buhle. Geschichte der Phil. seit der Wiederherstellung der Wissenschaften. 1800. T. I.

него, цезари догадались, что имъ надобно поддерживать всею властью своей язычество. Калигула въ томъ же сенатѣ разсказывалъ о таинственныхъ видѣніяхъ и былъ горячій поклонникъ кумировъ; о rendez-vous, назначенныхъ ему луною, и проч.; Еліогабалъ еще болѣе. Лукрецій начинаетъ à la Hegel съ бытія и небытія, какъ съ дѣятельныхъ началъ взаимодѣйствующихъ и сосуществующихъ; эти логическія абстракціи выражены у него языкомъ атомистовъ: атомы и пустота — вотъ полюсы, вотъ крайности, стремящіяся къ равновѣсію. Атомы несутся въ безконечной пустотѣ, встрѣчаются, летятъ вмѣстѣ, проникаютъ другъ въ друга, сочетаваются въ тѣла въ то время, какъ другіе теряются въ неизмѣримой пустотѣ*). Возникаютъ цѣлые міры тамъ, гдѣ встрѣчаются условія возникновенія, и гибнутъ міры тамъ, гдѣ эти условія нарушены; но эта гибель и это возникновеніе относятся только къ частямъ; совокупность же всего сущаго, все обнимая въ себѣ, вѣчна и безконечна: „стрѣла пущенная можетъ летѣть цѣлые вѣка и все такъ же быть далекою отъ конца вселенной, какъ въ первую минуту, когда она пущена“; вселенная живетъ въ этихъ видоизмѣненіяхъ, это ея жизнь, ея развитіе, которыя и составляютъ ея цѣль. Милое физическое невѣжество иногда невольно срываетъ улыбку, когда читаешь Лукреція, котораго доля лжи и истины уже очевидна изъ сказаннаго; но чаще онъ увлекаетъ пламенемъ, струящимся черезъ всю поэму; такого сочувствія съ жизнію отъ Лукреція до Гёте вы не встрѣ-

*) Кстати замѣтить здѣсь, что древніе были самые плохіе химики (въ теоретическомъ смыслѣ); однако они предвидѣли и догадывались о химическомъ сродствѣ; они понимали, что извѣстныя вещества съ одними соединяются, имѣютъ къ нимъ симпатію, съ другими нѣтъ (гомеомеріи).

тите. Да и только въ древнемъ мірѣ могла прійдти въ голову и такъ исполниться мысль—изложить космологію и физику въ поэмѣ, стихами! Это потому, что они именно съ пластической стороны смотрѣли на все, тѣмъ болѣе на природу. Любовь къ жизни, любовь къ наслажденію и мудрая мѣра въ нихъ, пренебреженіе смерти*), и какой-то братски-родственной взглядъ на все живое, вотъ философія Лукреція. Онъ бросился въ физику, потому что язычество съ своимъ фатумомъ и съ своими олимпійцами подозрительнаго поведенія не удовлетворяли; онъ торжественео въ каждой пѣсни провозглашаетъ, что Эпикуръ величайшій изъ грековъ, что съ него началась нравственность, нравственность сознательная, человѣческая, которой мѣшали всякія привидѣнія языческой религіи**); что съ тѣхъ поръ нравственность имѣетъ мѣрило въ самомъ человѣкѣ, и проч. Ставъ на эту точку, гонимый своимъ огненнымъ сердцемъ, разумѣется, онъ пошелъ до всякихъ крайностей, но по дорогѣ встрѣтилъ и высказалъ бездну прекраснаго. Одно изъ лучшихъ мѣстъ въ его поэмѣ — это его геогонія; онъ разсказываетъ развитіе планеты отъ стихійной борьбы до того уравновѣшеннаго состоянія, когда показались растенія; потомъ заставляетъ *особенно* развившіяся растенія скучать своей привязанностью къ землѣ и оторваться отъ стебля; это животное — и наконецъ человѣкъ, родившійся прямо изъ земли на стеблѣ. Хотя все это нѣсколько смѣшно, но поэтичнѣе мудрено себѣ представить переходъ отъ растеній къ жи-

*) Лукрецій, между прочимъ, въ утѣшеніе умирающихъ, говоритъ, что всѣ мертвые — ровесники, ибо для нихъ нѣтъ времени.

**) Вспомните краснорѣчивыя страницы августиновой de Civitate Dei и его обличенія всей суетности и непослѣдовательности языческой религіи, всей уродливости ея нравственности.

вотнымъ, какъ представляя цвѣтокъ, оторвавшійся отъ стебля и полетѣвшій бабочкой; замѣтьте, что Лукрецій при этомъ упоминаетъ, что необходимыя условія возникновенія органической жизни — теплота и влага. Отвергая безсмертіе души, онъ принимаетъ какую-то эѳирную душу, которая такъ легка и жидка, что какъ вылетитъ, такъ и пропадетъ въ безконечной пустотѣ; составныя части ея бываютъ разны: такъ у льва душа захватила въ себя огню, а у оленя холоднаго вѣтра! Теперь земной шаръ старѣется, и оттого онъ утратилъ способность производить новые роды, а только поддерживаетъ прежніе. Онъ произвелъ ихъ въ свою юность, когда внутри его кипѣли въ преизбыткѣ силы; тогда даже являлись уродливыя существа, которымъ впослѣдствіи природа отказала въ правѣ на жизнь (и такъ Лукрецій предполагалъ ископаемыя животныя?).

Historia Naturalis Плинія,—энциклопедія, задуманная и выполненная колоссально, представляетъ общій сводъ знаній космологическихъ, физическихъ, географическихъ и проч. Это сочиненіе показало бы рубежъ, далѣе котораго знаніе природы не шло въ римскомъ мірѣ, еслибъ слѣдомъ за нимъ не явился Галенъ; но Галенъ занимался исключительно медициной, и потому его открытія, сверхъ собственно-патологическихъ, всѣ относятся къ физіологіи и анатоміи; о нервной системѣ до Галена имѣли очень сбивчивое понятіе, называли часто нервами связки, сухія жилы; наконецъ и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ узнавали ихъ, имъ приписывали невѣрно и смутно ихъ отправленія. Галенъ первый показалъ, что нервы идутъ изъ мозга, что въ нихъ и въ мозгу вся причина сочувствованія, что нервъ заставляетъ по волѣ сжиматься мышцы, и слѣдовательно есть органъ, управляющій движеніемъ. Онъ доказалъ это тѣмъ, что мыш-

цы лишаются свойствъ движенія, если перерѣзать управляющій нервъ, и именно лишаются ниже перерѣза, т. е. въ части, разобщенной съ мозгомъ. Съ тѣхъ поръ стали душу, т. е. ея мѣсто искать исключительно въ головномъ мозгу*). Воззрѣніе Плинія вообще идетъ изъ тѣхъ же началъ, какъ воззрѣніе Лукреція, но онъ богаче свѣдѣніями и болѣе послѣдователенъ своему взгляду; его взглядъ опредѣленъ исчерпывающимъ образомъ имъ самимъ. „Вселенная," говоритъ онъ, „вмѣстѣ съ небомъ, покрывающимъ ее со всѣхъ сторонъ, представляется вѣчнымъ, безпредѣльнымъ существомъ, непроисшедшимъ, непереходящимъ. Изслѣдованіе того, что внѣ вселенной, людямъ безполезно, да, и сверхъ того, оно неудобопонятно для ума человѣческаго; вселенная свята, вѣчна, неизмѣрима, вся во всемъ, сама все. Она конечна и похожа на безконечное, правильна во всѣхъ явленіяхъ своихъ и похожа на лишенную правильности (необходима и повидимому случайна); она все обнимаетъ видимое на свѣтѣ и во тьмѣ спрятанное; она произведеніе сущности вещей и въ то же время сама сущность вещей." Не надобно однако думать, что Плиній очень глубокомысленно понималъ то, что высказалось такъ поэтически. Онъ далеко отстаетъ отъ Аристотеля, —мысль потеряла свою свѣжесть и ясность, она слишкомъ облеклась въ реторическія формы, была слишкомъ

*) Галенъ первый замѣтилъ, что артеріи наполнены кровью, а не воздухомъ; при разсѣченіи труповъ, разумѣется, артеріи всякой разъ представлялись пустыми и до Галена полагали, что въ нихъ обращается воздухъ. Между прочимъ, Галенъ говоритъ: еслибъ людямъ удалось узнать составъ воздуха, объяснилась бы животная теплота: *„горѣніе поддерживается тѣмъ же, чѣмъ жизнь."* Это предвѣдѣніе кислорода! Въ XVI вѣкѣ Цизалпинъ вздумалъ доказывать, что центръ нервной системы въ сердцѣ, а Цизалпинъ былъ очень и очень ученый докторъ. Вотъ каковы были средніе вѣка для естествовѣдѣнія!

внѣшня. Плиній, наприм., не могъ уразумѣть намека пиѳагорейцевъ и Аристотеля о тяготѣніи, а говоритъ, что легкія тѣла стремятся вверхъ, тяжелыя внизъ, мѣшаютъ другъ другу и на взаимномъ противодѣйствіи остаются въ равновѣсіи: такъ земной шаръ не падаетъ оттого, что атмосфера его поддерживаетъ. Какъ могъ обширный умъ его удовлетвориться такими жалкими объясненіями—это столько же непонятно, какъ разные анекдоты, приводимые имъ, среди дѣльныхъ зоологическихъ описаній, наприм., о рыбѣ ehineis, которая останавливаетъ корабли дѣйствіемъ своихъ мышцъ, объ андрогинахъ, переходящихъ изъ пола въ полъ, о женщинахъ, родившихъ слона, объ астомахъ, питающихся воздухомъ. Древніе съ дѣтской довѣрчивостью вѣрили и опыту и преданію, принимая фактическій міръ за такую же дѣйствительность, какъ міръ мысли, какъ міръ традиціонный, и ставя легенды въ число фактовъ. Въ самомъ дѣлѣ, единство бытія и мышленія, факта и понятія, составляло непосредственное вѣрованіе ихъ, мѣшавшее рефлексіи и анализу, непозволявшее возникнуть истинной наукѣ и совершенно свойственное артистическому дилеттантизму; оттого-то они такъ часто путаютъ эмпирію съ діалектикой, опытъ съ преданіемъ, ставя ихъ на одну доску, переходя произвольно отъ одного къ другому.

Декабрь, 1844 г.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Схоластика

Греко-римская жизнь, дряхлѣя, отрицала, мало по малу, то тотъ основный элементъ свой, то другой; но все это были полумѣры, событія болѣе, нежели убѣж-

денія, или убѣжденія, непереходившія въ событія. Философія съ Сократа, и даже до него, стремилась снять односторонность эллинскаго воззрѣнія и во многомъ отрицала его,— но отрицала внутри извѣстнаго круга, за предѣлы котораго, не смотря на всю жизненность свою она рѣдко переходила. Историческія событія вводили обычаи прямо противоположные религіознымъ нормамъ древней жизни; но они прививались тайкомъ и безсознательно; напр., обоготвореніе цезарей фактически снимало язычество, перенося боговъ совсѣмъ на иную почву; статуя представляла мистическое сочетаніе камня съ самой всеобщей человѣческой или божественной сущностью; поклоненіе Клавдію или Нерону смѣшивало божественное съ существующимъ человѣкомъ— это своего рода атеизмъ. Основы гражданскаго устройства древнихъ республикъ считались едиными истинными, и были поруганы какой-то нелѣпой пародіей на нихъ во время имперіи. Всѣ эти отрицанія, вы видите, недобросовѣстны, лукавы, отрывочны. Образованные люди видѣли нелѣпость язычества, были вольнодумцы и кощуны,— но язычество оставалось, какъ оффиціальная религія, и на улицѣ они поклонялись тому, надъ чѣмъ ругались дома, потому что чернь стояла за него; иначе и быть не могло: у ней только и оставалось. Ни у кого не было храбрости открыто, громогласно отрицать основанія древней жизни, — да и во имя чего могла возникнуть такая высокая дерзость? Внутри римской жизни могло явиться мрачное, печальное отрицаніе Секста-Эмпирика, глумливое, злое Лукіана, холодно-образованное Плинія, или, наконецъ, отрицаніе разврата и безучастія, того душевнаго холода и чувственнаго огня, которому нѣтъ дѣла до религіознаго и гражданскаго порядка, но который плачетъ объ умершей Муренѣ и рукоплещетъ умирающему

гладіатору, поднося къ губамъ изображеніе *божественнаго*, т. е. царствующаго на сію минуту цезаря. Отрицанія обновляющаго, созидающаго, не было въ римской жизни, или оно было только въ возможности принять христіанство.

Христіанство является совершенно противоположнымъ древнему порядку вещей; это не то половинное и безсильное отрицаніе, о которомъ мы говорили*), а отрицаніе, полное мощи, надежды, откровенное, безпощадное

*) Сравните *созидающее* разрушеніе блаженнаго Августина съ esprits forts древняго міра, или съ ихъ отчаяннымъ скрежетомъ зубовъ. Плиній, наприм., говоритъ, что единственное утѣшеніе людямъ состоитъ въ томъ, что боги также не всемогущи, не могутъ себя сдѣлать смертными, людей безсмертными, ни того, чтобъ прошедшее не было, или, чтобъ два раза десять не было двадцать. Онъ съ горькимъ упрекомъ замѣчаетъ, что люди, не довольствуясь Олимпомъ и не имѣя силъ отречься отъ него, выдумали себѣ новыя цѣпи, склонились передъ отвлеченными страшилищами — передъ *случаемъ* и *счастіемъ*, и трепещутъ безумно передъ собственными вымыслами. Лукіанъ—Вольтеръ той эпохи. Возьмите, напримѣръ, его *трагическаго Юпитера*, это комедія-buffa на Олимпѣ. Онъ представляетъ Юпитера, растерявшагося отъ спора эпикурейца, отвергающаго боговъ, съ стоикомъ; не зная, что дѣлать, Юпитеръ собираетъ совѣтъ. Начинается споръ, кому гдѣ сидѣть. Юпитеръ приказываетъ сперва усадить золотыхъ боговъ, потомъ мраморныхъ, и притомъ сперва праксителевой работы, потомъ другихъ мастеровъ. Нептунъ тутъ же объявляетъ, что онъ не сядетъ ниже какого нибудь египетскаго урода изъ золота съ собачьей мордой. Велѣно быть безъ чиновъ. Вдругъ съ топотомъ и трескомъ переваливается колоссъ родосскій и говоритъ, что онъ хотя и мѣдный, но мѣди въ него пошло больше, нежели золота въ иного золотаго бога. Пока они вздорятъ и пока Юпитеръ собираетъ нелѣпыя мнѣнія, между которыми отличается мнѣніе олимпійскаго Скалозуба—Геркулеса, который проситъ позволенія покачать колонны портика, подъ которыми идетъ споръ, эпикуреецъ побѣждаетъ стоика—и Олимпъ въ дуракахъ. Можно было потрясти язычество, особенно въ извѣстномъ кругу людей, такими ѣдкими насмѣшками — но такое отрицаніе оставляло пустоту въ душѣ. И потомъ, порицая язычество, тѣ же люди видѣли въ соціализмѣ древняго міра идеалъ; они хотѣли сохранить Римъ и Грецію съ ихъ **гражданскимъ устройствомъ, одностороннимъ и тѣсно связаннымъ съ религіей.**

и увѣренное въ себѣ. Возьмите „De Civitate Dei“ Августина и полемическія сочиненія первыхъ христіанскихъ писателей — вотъ какъ надобно отрекаться отъ стараго и ветхаго; но такъ можно отрекаться, имѣя новое, имѣя святую вѣру. Добродѣтели языческаго міра—блестящіе пороки въ глазахъ христіанина; въ статуѣ, передъ красотой которой склонялся грекъ, онъ видитъ чувственную наготу; онъ отказывается отъ прекраснаго греческаго храма и помѣщаетъ алтарь свой въ базиликѣ, лишь бы не служить богу истинному въ тѣхъ стѣнахъ, въ которыхъ служили богамъ ложнымъ. Вмѣсто гордости —христіанинъ смиряется; вмѣсто стяжанія, онъ обрекаетъ себя добровольной нищетѣ; вмѣсто упоеній чувственностью — онъ наслаждается лишеніями*). Христіанство было прямымъ, рѣзкимъ антитезисомъ тезису древняго міра. Многіе воображаютъ, что послѣднія три столѣтія такъ же отдѣлены отъ среднихъ вѣковъ, какъ средніе вѣка отъ древняго міра, — это несправедливо: вѣка реформаціи и образованности представляютъ послѣднюю фазу развитія католицизма и феодальности; можетъ быть, они во многомъ перешли кругъ, котораго очертаніе сдѣлано было изъ Ватикана, — но тѣмъ не менѣе они представляютъ органическое продолженіе предъидущаго; всѣ основы соціализма западно-европейскаго остались неприкосновенными, христіанство осталось нравственной основой жизни; новое понятіе о правѣ выросло на той же почвѣ римскаго, каноническаго и варварскаго права; различіе его состояло не въ различіи основаній — а въ иномъ (часто произвольномъ) толкованіи ихъ, болѣе сообразномъ съ

*) Выраженіе, принадлежащее Григорію-Назіанзину въ письмѣ къ Василію Великому: „Помнишь ли,“ говоритъ онъ: „какъ мы наслаждались лишеніями и постомъ?“

новой степенью образованности. Ни Лютеръ, ни Вольтеръ не провели огненной черты между былымъ и новымъ, какъ Августинъ; у нихъ такая черта не имѣла бы смысла, точно такъ, какъ у Сократа, у Платона, переходившихъ во многомъ циклъ аѳинской жизни, но принадлежавшихъ къ ней. Противоположность христіанскаго воззрѣнія съ древнимъ требовала не *передѣлки*, а пересозданія. Древній міръ — чувственный, художественный, все принимавшій съ легкостью и съ юношескою улыбкою, вездѣ пробивался къ мысли, и нигдѣ не могъ отрѣшиться отъ непосредственности, нигдѣ не умѣлъ идти до крайнихъ выводовъ. Его наука была поэма, его художество было религіей, его понятіе о человѣкѣ не раздѣлялось съ понятіемъ гражданина, его республика поддерживалась страшно задавленной каріатидой невольничества, его нравственность состояла изъ юридическихъ обязанностей*), онъ уважалъ въ согражданинѣ монополію, привилегію, а не человѣческую личность его. Юношескій міръ этотъ былъ увлекательно прекрасенъ и съ тѣмъ вмѣстѣ непростительно легкомысленъ; философствуя, онъ отталкивалъ важнѣйшіе вопросы, потому что они не такъ легко разрѣшались, или удовлетворялся легкими рѣшеніями ихъ; утопая въ роскоши и наслажденіяхъ, онъ не думалъ о темномъ подвалѣ, въ которомъ стонутъ въ колодкахъ рабы, возвратившіеся съ поля. Вдругъ прелестныя декораціи, ограничивавшія горизонтъ древняго міра, исчезли,— открылась безконечная даль, которой и не подозрѣвалъ міръ гармонической соразмѣрности; основы

*) Если нѣкоторые мыслители стояли выше общественнаго мнѣнія о нравственности, то это только значитъ, что они уже перешли предѣлъ древняго воззрѣнія. Въ этомъ отношеніи, можетъ быть, Сенека всѣхъ выше: потому-то онъ и стоитъ на самомъ краю древняго міра.

его показались мелки въ этомъ безбрежіи, а лицо человѣка, потерянное въ гражданскихъ отношеніяхъ древняго міра, выросло до какой-то недосягаемой высоты, искупленное Словомъ Божіимъ. Непосредственныя и гражданскія опредѣленія оказались второстепенными; личность христіанина стала выше сборной личности города; ей раскрылось все безконечное достоинство ея —Евангеліе торжественно огласило права человѣка, и люди впервые услышали, *что они такое.* Какъ было не перемѣниться всему! Древняя любовь къ отечеству, высокая и прекрасная, но ограниченная и несправедливая, замѣняется любовью къ ближнему, узкая національность единствомъ въ вѣрѣ; Римъ съ гордостью удостоивалъ избранныхъ правомъ своего гражданства, —христіанство предлагало всѣмъ крещеніе водою. Древній міръ вѣрилъ безотчетно въ природу, въ ея дѣйствительность, принималъ ее какъ фактъ, принималъ потому, что видѣлъ своими глазами; для него природа была все, за ея предѣлами ничего; онъ видѣлъ во временномъ естественномъ вѣчное и духовное, онъ видѣлъ въ красотѣ высшее выраженіе высшаго, никогда не могъ оторваться отъ природы—и оттого никогда не зналъ ея. Новый міръ именно въ матеріальную природу, въ явленія и не вѣрилъ; онъ отвергалъ дѣйствительность преходящаго, вѣрилъ событію духовному, принималъ красоту за низшее выраженіе высшаго, не былъ пластиченъ, чувствовалъ свой разрывъ съ природой и стремился къ духовному примиренію съ ней въ мышленіи, къ искупленію природы въ себѣ. Древній міръ жилъ въ настоящемъ, вспоминалъ часто былое, но о будущемъ не думалъ; а если и являлась страшная мысль рока, преслѣдовавшая его безпрестанно, то это для того, чтобъ толкнуть человѣка къ наслажденіямъ, совѣтомъ

въ родѣ non curiamo l'incerto domani застольной пѣсни изъ „Лукреціи“; оттого — этотъ упоительный, чувственный bien être въ жизни, эта роскошь въ наслажденіяхъ, эта страстная нѣга, доходящая до поэтической увлекательности и до отвратительной животности, въ сравненіи съ которой нашъ комфортъ жалокъ и нашъ развратъ смѣшонъ; для древняго міра какъ будто не было жизни за гробомъ; Ахиллъ сказалъ Улиссу въ преисподней, что онъ пошелъ бы въ рабы, лишь бы на землю; мысль о смерти иногда страшила ихъ, мысль о будущей жизни почти вовсе не занимала никого. Вѣра въ безсмертіе сдѣлалась, напротивъ, одной изъ краеугольныхъ основъ христіанства; признавая вѣчность свою и преходимость естественнаго, человѣкъ совсѣмъ иначе взглянулъ на все окружающее его. „Два града сдѣлали двѣ любви: земной градъ любовь къ себѣ до пренебреженія Богомъ; градъ небесный — любовь къ Богу до пренебреженія собою“ (De Civ. Dei).

Въ то время, какъ проповѣдованіе Евангелія измѣняло внутренняго человѣка, дряхлое устройство государственное оставалось въ явномъ противорѣчіи съ догматами религіи. Христіане приняли римское государство и римское право; побѣжденный и отходящій міръ нашелъ средство проникнуть въ станъ побѣдителей. Восточная Имперія, принявъ во всей чистотѣ евангельское ученіе, осталась при той формѣ цезарскаго управленія, которое Діоклеціанъ — злѣйшій гонитель христіанства—развилъ до нелѣпости. Въ Западной Имперіи, съ своей стороны, явился новый элементъ, также не христіанскій, элементъ тевтонизма, народнаго духа дикихъ полчищъ, страшныхъ въ невинной кровожадности своей, въ своей скитающейся неутомимости, въ своемъ дружинномъ братствѣ и любви къ необузданной

волѣ. Надобно было усмирить, укротить дикарей; надобно было сломить ихъ желѣзную и задорную волю волей еще болѣе желѣзной и настойчивой. Эту великую задачу задали себѣ первосвященники римскіе; разрѣшая ее, они утратили свой характеръ чуждости всему мірскому; католицизмъ сорвалъ германца съ его почвы и пересадилъ на другую, но самъ, между тѣмъ, пустилъ корни въ землю, которую стремился вытолкнуть изъ подъ ногъ мірянъ; желая управлять жизнію, онъ долженъ былъ сдѣлаться практическимъ, печься о мнозѣ; отвергая эти заботы, онъ принялъ ихъ. Началась безпрерывная борьба духовнаго порядка со свѣтскимъ; католицизмъ мало по малу побѣждалъ, побѣждалъ для того, чтобъ наконецъ спокойно насладиться плодомъ своихъ трудовъ въ лицѣ, наприм., Льва X, который больше похожъ на доблестнаго цезаря, нежели на намѣстника св. Петра. Въ эту борьбу послѣдовательно вовлеклись всѣ стороны тогдашней жизни; самыя странныя противорѣчія безпрестанно встрѣчаются въ одной и той же груди. Эта борьба Гвельфовъ и Гибелиновъ, повторявшаяся въ разныхъ видахъ, похожа на бой змѣи съ человѣкомъ, представленный Дантомъ, — бой, въ которомъ то человѣкъ дѣлается змѣей, то змѣя человѣкомъ; въ этой борьбѣ одного нѣтъ — эгоизма и холода, все увлечено, несется, крутится, и во всемъ элементъ безконечности и элементъ безумія. Научный интересъ того времени сосредоточивался въ схоластикѣ. Схоластика — неловкій, жесткій и сухой амфибій — замѣняла истинную науку до самыхъ временъ негодующаго безпокойства и освобожденія теоретической дѣятельности въ XVI вѣкѣ. Отношеніе свое къ истинѣ и къ предмету схоластика опредѣляла странно, чисто формально и совершенно несамостоятельно. Не думайте,

чтобъ схоластика была вообще христіанской мудростью, —нѣтъ, ее ищите въ отцахъ церкви первыхъ вѣковъ, особенно восточныхъ. Схоластика была и не вполнѣ религіозна и не вполнѣ наукообразна; отъ шаткости въ вѣрѣ, она искала силлогизмы, отъ шаткости въ логикѣ —она искала вѣрованія; она предавала свой догматъ самому щепетильному умствованію, и предавалала умствованіе самому буквальному приниманію догмата. Она одного боялась, какъ огня: самобытности мысли; ей лишь бы чувствовать помочи Аристотеля, или другаго признаннаго руководителя. О естествовѣдѣніи не можетъ быть и рѣчи: схоластика такъ презирала природу, что не могла заниматься ею; природа страшно противорѣчила ихъ дуализму; природа не брала участія въ безконечныхъ спорахъ схоластиковъ: какого же она могла ожидать участія отъ нихъ, убѣжденныхъ, что высшая мудрость только и существуетъ въ ихъ опредѣленіяхъ, раздѣленіяхъ и проч.? Вообще они считали природу подлой рабой, готовой исполнять своевольную прихоть человѣка, потворствовать всѣмъ нечистымъ побужденіямъ, отрывать отъ высшей жизни, и въ то же время они боялись ея тайнаго, демоническаго вліянія, увѣренные, что вся вселенная находится въ личныхъ отношеніяхъ съ каждымъ человѣкомъ — непріязненныхъ или мирволящихъ. Ясно, что, вмѣсто естествовѣдѣнія, явились астрологія, алхимія, чародѣйство. Съ ограниченной точки зрѣнія схоластическаго дуализма, значеніе всего естественнаго опредѣлялось превратно; все хорошее отнимали у природы и ставили внѣ ея, хотя никто и не спрашивалъ, гдѣ собственно ея предѣлы; все естественное, физическое покрывали завѣсой, стыдились тѣла, — въ немъ видѣли распутную наложницу духа и скорбѣли объ этой связи. Люди того времени предста-

вляли себѣ внутри земнаго шара Люцифера, жующаго Іуду и Брута, къ которымъ тяготитъ все тяжелое міра вещественнаго и все злое міра нравственнаго. Они хотѣли попрать ногами, уничтожить временное, хотѣли не знать его; дуализмъ схоластики не имѣетъ въ себѣ ничего всѣхскорбящаго, примиряющаго, исполненнаго любви — хотя говоритъ объ ней очень много; это апотеоза отвлеченнаго, формальнаго мышленія, апотеоза личности эгоистической, сознавшей достоинство свое, но недостойной еще понять его, не правомъ пренебреженія природою, а правомъ освобожденія себя и природы въ дѣйствительномъ, вселюбящемъ мышленіи. Схоластики не уразумѣли на столько христіанства, чтобъ понять искупленіе *не отрицаніемъ конечнаго, а спасеніемъ его*. Христіанство снимаетъ собственно дуализмъ—суровое воззрѣніе католическихъ теологовъ не могло постигнуть этого*). Замѣтьте, это одна изъ существеннѣйшихъ ошибокъ западнаго воззрѣнія, вызвавшая впослѣдствіи только сильное противодѣйствіе. Оно придало среднимъ вѣкамъ ихъ угрюмый, натянутый, темный характеръ. Міръ схоластическій печаленъ; это міръ искуса, міръ уничтоженія всего непосредственнаго, міръ скучнаго формализма и мертвеннаго взгляда на жизнь; мысль перестала быть „доблестною потребностью,“ какъ называлъ ее Аристотель; она мучитъ, терзаетъ средневѣковаго человѣка; она сознала всю мощь раздвоенія и прошла между сердцемъ и умомъ, между подлежащимъ и сказуемымъ, между духомъ и матеріей, желая все торжество предоставить внутреннему и имъ посрамить все внѣшнее. Единство бытія и мышленія шло

*) Апостолъ Павелъ къ Коринѳянамъ говоритъ: „Вся тварь ждетъ искупленія.“ Этого не хотѣли понять схоластики.

такъ же впередъ у древнихъ, какъ ихъ противорѣчіе у схоластиковъ; иначе не возникли бы и знаменитые споры номиналистовъ и реалистовъ. Примѣръ какого нибудь Рожера Бэкона, не презирающаго опыта; какого нибудь Раймунда Луллія, бросающагося между тысячью фантастическими и поэтическими затѣями на химію, ничего не доказываетъ; такія отрывочныя явленія не имѣютъ связи со всѣмъ окружающимъ; разсудочный, сухой спиритуализмъ, буквальныя толкованія, логическія уловки, діалектическія дерзости и раболѣпіе передъ авторитетомъ — таковъ характеръ схоластики до реформаціи, до XVI вѣка. Въ концѣ этого вѣка, погибъ Петръ Рамусъ за то, что смѣлъ возстать противъ Аристотеля; Джордано Бруно и Ванини были казнены за ихъ ученыя убѣжденія,— одинъ въ 1600, другой въ 1619 году. Какая же дѣйствительная наука могла развиться въ этой душной и узкой атмосферѣ? Одна формалистика —блѣдный плющъ, выросшій на тюремной оградѣ, прозябала въ ней; ея томный, лунный свѣтъ былъ безъ теплоты и самобытности, ея вопросы*) были такъ далеки отъ жизни и такъ мелочны, что ревнивая цензура папская выносила ее. Ученыя занятія, въ это время, получили характеръ чисто книжный, котораго они въ древнемъ мірѣ не имѣли; кто хотѣлъ знать, развертывалъ книгу, отъ жизни же и отъ природы отворачивался. Схоластики искали истину позади себя, они хотѣли ей *выучиться*, они думали, что она цѣликомъ написана — и, разумѣется, не двигались впередъ. Характеръ этотъ частію перешелъ въ кровь нѣмецкихъ ученыхъ.

*) Предметы споровъ у схоластиковъ иногда поразительны; напр.: „Адамъ въ первобытномъ состояніи зналъ ли Lieber sententiarum Петра Ломбардскаго, или нѣтъ?“

Наконецъ, послѣ тысячелѣтняго безпокойнаго сна, человѣчество собрало новыя силы на новый подвигъ мысли; въ XV вѣкѣ, пробуждаются иныя требованія, тянетъ утреннимъ воздухомъ. Настала эпоха передѣлыванія. Вниманіе людей обращалось болѣе и болѣе на реальные предметы, на морскія путешествія, совершенныя тогда, на новую часть земнаго шара, на странную и отчасти обидную для схоластиковъ мысль Коперника, на то тихое, незамѣтное открытіе, сдѣланное въ душной мастерской, передъ горномъ, за станкомъ литейщика, о которомъ алхимикъ Клодъ Фролло сказалъ смиренному аббату beati Martini: „ceci tuera cela“; но оно убило не зодчество, а темноту. Въ Италіи всего ранѣе раздались новыя требованія: мечтатель Ріензи вспомнилъ древній Римъ и хотѣлъ возстановить его; ему рукоплескалъ Петрарка — возстановитель классическаго искусства и поэтъ на *вульгарномъ* нарѣчіи. Греки наѣзжали изъ Византіи и привозили съ собою руно, схороненное у нихъ въ продолженіи десяти вѣковъ. Другъ Козьмы Медичи, Марзилій Фицинъ, превосходно переводилъ Платона, Прокла и Плотина. Самое изученіе Аристотеля получило новый характеръ; доселѣ, Аристотель былъ какимъ-то подавляющимъ гнетомъ, его изучали формально, механически, по уродливымъ переводамъ; теперь взяли подлинникъ. Правда, умы были до того развращены схоластикой, что ничего не умѣли понимать просто; чувственное воззрѣніе на предметы было притуплено, ясное сознаніе казалось пошлымъ, а пошлая логомахія безъ содержанія, опертая на авторитеты, была принимаема за истину; чѣмъ узорчатѣе, щеголеватѣе, непонятнѣе были формы, тѣмъ выше ставили писателя. Томы вздорныхъ коментаріевъ писались объ Аристотелѣ; таланты, энергіи, цѣлыя жизни тра-

тились на самую безполезнѣйшую логомахію; но, между тѣмъ, горизонтъ расширялся; собственное изученіе древнихъ писателей понѣволѣ заносило мысли свѣжія и живыя; вліяніе ихъ было неизмѣримо. Слабая, непривычная къ самомышленію, лѣнивая и формальная способность средневѣковыхъ умовъ не могла сама собою отрѣшиться отъ безжизненной формалистики своей; у нея не было человѣческаго языка, на которомъ можно было бы говорить дѣло; наконецъ, ей было стыдно говорить *о дѣлѣ*, потому что она считала его вздоромъ. Вдругъ найдена чужая рѣчь, готовая, стройная, выражавшая провосходно то, чего схоластическіе доктора и не умѣли и не смѣли высказать; мало этого — чужая рѣчь опиралась на славныя имена. Чувствующіе свое несовершеннолѣтіе нашли новые авторитеты и возстали противъ старыхъ. Все заговорило цитатами изъ Виргилія, Цицерона, а отъ Аристотеля, напротивъ, стали отрекаться. Патрицій представилъ, въ половинѣ XVI вѣка, папѣ Григорію XIV сочиненіе, въ которомъ обращалъ его вниманіе на противорѣчіе аристотелевскаго ученія съ церковью; этого противорѣчія не замѣтили лѣтъ пятьсотъ къ ряду добрые схоластики и доказывали догматы Аристотелемъ, Аристотеля — догматами. Наконецъ, въ одномъ изъ древнѣйшихъ средоточій схоластики и чуть ли не въ самомъ главномъ, въ Парижѣ, явился Гуссъ перипатетизма — Пьеръ la Ramée, и объявилъ, что онъ противъ всѣхъ готовъ защищать тезисъ: „Все ученіе Аристотеля ложно“. Крикъ негодованія раздался между учеными, онъ дошелъ до дворца Франциска I; король назначилъ надъ нимъ судъ, для того, чтобъ *осудить* его. Рамусъ защищался, какъ левъ, но пощады не было; его прогнали, обвинили, и онъ послѣ этого пошелъ скитаться по всей Европѣ, изго-

няемый и преслѣдуемый, бранясь, переѣзжая съ мѣста на мѣсто. Пятьдесятъ лѣтъ боролся этотъ человѣкъ съ Аристотелемъ, и наконецъ погибъ въ борьбѣ. Онъ проповѣдовалъ противъ стагирита, точно такъ же, какъ гугеноты проповѣдовали противъ папы. Сходство его съ протестантами очень велико; онъ былъ прозаичнѣе, можетъ быть, пошлѣе, площе своихъ враговъ, площе многихъ комментаторовъ Аристотеля (Помпонація, наприм.), но у него были практическія и своевременныя требованія; онъ гнушался формализмомъ и словопреніемъ; ему хотѣлось приложенія, пользы; онъ былъ ниже Аристотеля, такъ какъ многіе протестанты ниже католическаго воззрѣнія; но онъ боролся съ Аристотелемъ схоластики такъ, какъ протестанты съ католицизмомъ XVI вѣка. Около того же времени, является торжественная и непрерывающаяся процессія людей мощныхъ и сильныхъ, приготовившихъ пропилеи новой наукѣ; во главѣ ихъ (не по времени, а по мощи) Джордано Бруно, потомъ Ванини, Карданъ, Кампанелла, Тилезій, Парацельсъ*) и др. Главный характеръ этихъ великихъ дѣятелей состоитъ въ живомъ, вѣрномъ чувствѣ тѣсноты, неудовлетворительности въ замкнутомъ кругѣ современной имъ науки, во всепоглощающемъ стремленіи къ истинѣ, въ какомъ-то дарѣ провидѣнія ея.

Время возстанія противъ схоластики исполнено драматическаго интереса. Читая біографіи, развертывая писанія энергическихъ людей, рвавшихъ цѣпи, которыя опутывали науку, вы увидите разомъ двойную борьбу, въ которую они были вовлечены. Одна совершается въ ихъ душѣ — борьба психическая, трудная, волнующая

*) Первый профессоръ химіи отъ сотворенія міра.

ихъ безпрерывно, придающая многимъ изъ нихъ эксцентрическій, почти судорожный видъ. Другая борьба наружная, оканчивающаяся на кострѣ, въ темницѣ; ибо схоластика, устрашенная нападками, спряталась за инквизицію, смертными приговорами возражала на смѣлые тезисы противниковъ, и вырывая ихъ языкъ клещами палача, заставляла умолкать. Многихъ удивляетъ шаткая непослѣдовательность ихъ и мужественная воля, неполнота, такъ сказать, ихъ мысли, и полнота самоотверженія; но развѣ можно сразу отдѣлиться отъ историческихъ предразсудковъ? Не отъ непониманія зависитъ эта шаткость. Истина всегда бываетъ проще нелѣпости, но умъ человѣка вовсе не одна возможность пониманія, не tabula rasa: онъ засоренъ со дня рожденія историческими предразсудками, повѣрьями и проч.; ему трудно возстановить нормальное отношеніе свое къ простому пониманію, особенно въ то время, о которомъ идетъ рѣчь. Что удивительнаго, что Парацельсъ вѣрилъ въ алхимію, Карданъ называлъ себя магомъ*)? Имъ трудно было вырвать изъ груди мнѣнія, освященныя вѣками, трудно было примирить ихъ съ восходящимъ свѣтомъ сознанія. Они, впрочемъ, и не сдѣлали этого. Они были такъ восторженны, что не могли порядкомъ установиться; это эпоха первой любви, упоенія, незнающаго мѣры, эпоха новости поражающей; не ищите у нихъ строгой, наукообразной формы; ими только открыта почва науки, ими только освобождена мысль, содержаніе ея понято больше сердцемъ и фантазіей, нежели разумомъ. Вѣка должны были пройдти прежде, нежели наука могла развить методой тѣ истины, кото-

*) Даже Бэконъ Веруламскій не могъ совершенно отдѣлаться отъ астрологіи и магіи.

рыя Джордано Бруно высказалъ восторженно, пророчески, вдохновенно. Это принятіе въ кровь и плоть своихъ убѣжденій придало имъ ихъ личную мощь, поддержало ихъ въ борьбѣ внѣшней: гонимые, скитальцы изъ страны въ страну, окруженные опасностями—они не зарыли изъ благоразумнаго страха истины, о которой были призваны свидѣтельствовать; они высказывали ее вездѣ; гдѣ не могли высказывать прямо,—одѣвали ее въ маскарадное платье, облекали аллегоріями, прятали подъ условными знаками, прикрывали тонкимъ флёромъ, который для зоркаго, для желающаго, ничего не скрывалъ, но скрывалъ отъ врага: любовь догадливѣе и проницательнѣе ненависти. Иногда они это дѣлали, чтобъ не испугать робкія души современниковъ; иногда, чтобъ не тотчасъ попасть на костеръ. Легко, въ наше время, человѣку развивать свое убѣжденіе, когда онъ только и думаетъ о болѣе ясной формѣ изложенія;— въ ту эпоху это было невозможно. Коперникъ скрывалъ свое открытіе авторитетами, взятыми изъ древнихъ философовъ, и можетъ быть, одно это спасло его лично отъ гоненій, впослѣдствіи обрушившихся на Галилея и на всѣхъ послѣдователей его. Надобно было хитрить... „Хитрость," говоритъ одинъ мыслитель: „женственность воли, иронія дикой силы." Махіавелли зналъ кой-что объ этой хитрости. Все вмѣстѣ придавало тогдашнимъ дѣятелямъ характеръ трепетнаго безпокойства и волненія. Они не были въ полномъ миру ни съ собою, ни съ окружающимъ. Истинно спокоенъ или человѣкъ, принадлежащій зоологіи, или тотъ, кто, однажды кончивъ съ собою, видитъ согласіе своихъ внутреннихъ убѣжденій съ наружнымъ міромъ. Они были безпокойны, потому что окружающій ихъ порядокъ становился пошлымъ и нелѣпымъ, а внутренній былъ потрясенъ; раз-

глядѣвъ то и другое, они не могли скрыть своего распаденія, не могли не быть безпокойными: — такимъ людямъ, какъ Бруно, не дается великій талантъ счастливо и спокойно жить въ средѣ, прямо противоположной ихъ убѣжденіямъ.

Для живаго примѣра одушевленнаго, юношескаго мышленія этой эпохи, передамъ вамъ нѣсколько главныхъ мыслей Джордано Бруно, который, безъ сомнѣнія, оставляетъ далеко за собою всѣхъ товарищей своихъ*). Главная цѣль Бруно — развить и понять жизнь, какъ единое, всемірное, безконечное начало и исполненіе всего сущаго, понять вселенную, какъ эту единую жизнь, понять самое единство это безконечнымъ единствомъ разума и бытія, единствомъ, побѣдоносно проторгающемся черезъ ряды многоразличія. Вотъ краеугольные камни всего ученія Бруно, прямо противоположнаго дуализму схоластики. Такъ какъ жизнь одна, умъ одинъ, и одно единство ихъ связуетъ, слѣдовательно, заключаетъ Бруно, если мы возьмемъ умъ въ цѣлости всѣхъ его моментовъ, мы все сущее подведемъ подъ него; не есть ли это прямое предвѣдѣніе логической философіи нашего времени? „Природа," говоритъ онъ, „внутри своихъ предѣловъ можетъ все сдѣлать изъ всего, а умъ можетъ все узнать изъ всего"; природу и умъ онъ понимаетъ двумя моментами одного развитія. „Одна и та же матерія проходитъ всѣми формами: то, что было зерномъ, дѣлается травою, колосомъ, хлѣбомъ, питательнымъ сокомъ, зародышемъ, человѣкомъ, трупомъ, зем-

*) Самое подробное изложеніе Бруно, со множествомъ выписокъ, у Буле въ „Gesch. der neuern Philosophie", II Band, отъ 703 до 856. Въ геттингенской библіотекѣ Буле нашелъ много неизвѣстныхъ сочиненій Бруно и ими пользовался.

лею... но есть нѣчто, остающееся самимъ собою отъ этого развитія,—матерія; *она безусловна,* ея проявленія условны; матерія *все,* потому что она ничего въ особенности; дѣятельная возможность формы присуща ей; она развивается жизнію до своего перегиба въ умъ; въ природѣ слѣдъ идеи (vestigium); за ея физическимъ бытіемъ (postnaturalia) начинается понятіе, тѣнь идеи (umbra). Ни произведенія природы, отдѣльно взятыя, ни понятія, никогда не достигаютъ полноты. Такъ, наприм., каждый человѣкъ въ каждую минуту все то, что онъ можетъ быть въ эту минуту, но не все то, что онъ вообще можетъ быть по своей сущности... Вселенная же, напротивъ, дѣйствительно все, что можетъ быть на самомъ дѣлѣ и разомъ, ибо она обнимаетъ всю вещественность вмѣстѣ съ вѣчными и неизмѣнными формами ея измѣняющихся произведеній; въ этомъ состоитъ ея великое единство, себѣ равенство. Во вселенной вездѣ средоточіе; въ ней средоточіе и окружность не раздѣлены, такъ, какъ наибольшее не отдѣлено отъ наименьшаго — на всякомъ мѣстѣ владычество Божіе. Но," прибавляетъ Бруно, „недостаточно для истины понять единство только какъ точку соединенія различій: надобно такъ понять его, чтобъ умѣть снова вывести и всѣ противорѣчія." Представьте себѣ, какъ должны были раскрыться рты докторовъ sublissimorum, dialectricorum, когда они услышали эту глубокую, вдохновенную рѣчь! Прибавлю еще выписку, чтобъ показать, какой поразительно вѣрный взглядъ имѣлъ онъ о злѣ. „Между *тѣнями идеи* нѣтъ дѣйствительнаго противорѣчія; одно понятіе соединяетъ прекрасное и уродливое, доброе и злое. Несовершенное, злое не имѣютъ собственной идеи, на которой бы они покоились, по которой бы опредѣлялись (какъ по своему идеалу); между тѣмъ, все дѣйствительное предпо-

лагаетъ идею и понятіе; но въ томъ и дѣло, что понятіе злаго въ другомъ (въ противоположномъ); своего понятія у зла нѣтъ; напротивъ, понятіе, отъ котораго оно зависитъ, отрицаетъ дѣйствительность его, такъ какъ и въ самомъ дѣлѣ зло представляетъ какое-то существующее небытіе, нѣчто отрицательное (non ens in ente, vel, ut apertius dicam, defectus in effecto).» Гегель, мнѣ кажется, не отдалъ всей справедливости Бруно, не потому ли уже, что Шеллингъ поставилъ его такъ высоко? Послѣднее очень понятно. Бруно—живая, прекрасная связь между неоплатонизмомъ, котораго вліяніе на немъ весьма замѣтно, и натурфилософіей Шеллинга, на которую онъ, въ свою очередь, имѣлъ большое вліяніе. Гегель не хотѣлъ узнать въ Бруно человѣка новаго міра такъ, какъ не хотѣлъ видѣть въ Бемѣ человѣка средневѣковаго; или, можетъ быть, въ груди величайшаго германскаго мыслителя лежала народная связь съ theosopho teutonico, а романская горячая и реальная кровь итальянца не была ему такъ родственна. Бемъ—великій человѣкъ; но это не мѣшаетъ Джордано Бруно стоять подлѣ него, потому что и онъ великій человѣкъ*). Оставляя Италію, замѣтимъ, что романскому племени былъ предоставленъ блестящій починъ новой науки. Но собственно въ *новой* философіи оно мало участвовало, какъ будто оно истощило всю умозрительную способность свою на это начало,— оно, такъ богатое способностями на все другое? Какъ будто *новая* фидософія, философія реформаціи, дуализмъ, выше схоластическаго, но все же дуализма, обманула ожида-

*) Мы не минуемъ Бема, хотя, надобно сказать, въ исторіи науки онъ мало имѣлъ вліянія; его наукообразно поняли только въ нашемъ вѣкѣ.

нія живой и реальной мысли романской, которая уже въ концѣ XVI столѣтія стояла выше дуализма. Если это такъ, мысль романская можетъ явиться завершительницею начатаго?

Въ это время возбужденности, энергіи, люди со всѣхъ сторонъ протестовали противъ средневѣковой жизни, вездѣ отрекались отъ нея, во всемъ требовали перемѣны: церковь римская оканчивала борьбу съ лютеранизмомъ страдательнымъ принятіемъ протестантовъ за совершенное событіе; схоластика рѣшительно видѣла несостоятельность свою противъ напора новыхъ идей, т. е. идей древняго міра. Наука, искусство, литература — все перемѣнилось на античный ладъ, такъ какъ готическая церковь снова уступила мѣсто греческому периптеру и римской ротондѣ. Классическое воззрѣніе заставило людей ясно смотрѣть на вещи; латинскій языкъ Рима пріучилъ къ мужественной рѣчи, къ энергическому обороту; до этого времени, употреблялась латынь школы, блѣдная, искаженная, неловкая и потерявшая свою душу, такъ сказать; древніе писатели очеловѣчили неестественныхъ людей средневѣковыхъ, разбудили ихъ отъ эгоизма романтической сосредоточенности и психическихъ раздраженій. Помните, какъ Гёте разсказываетъ въ „Римскихъ Элегіяхъ“ вліяніе итальянскаго неба на него, выросшаго въ сѣренькомъ климатѣ Германіи,—таково было дѣйствіе классической литературы на ученыхъ XVI столѣтія. Въ сторону пошлые споры схоластическіе! воскликнулъ средневѣковый человѣкъ: дайте упиться одами Горація, дайте подышать подъ этимъ свѣтлымъ лазоревымъ небомъ, насмотрѣться на роскошныя деревья, подъ тѣнью которыхъ и кубки съ сокомъ виноградныхъ гроздій дозволены, и страстныя объятія любви перестаютъ быть преступле-

ніемъ! Humanitas, humaniora*) раздавалось со всѣхъ сторонъ, и человѣкъ чувствовалъ, что въ этихъ словахъ, взятыхъ отъ *земли,* звучитъ vivere memento, идущее на замѣну memento mori, что ими онъ новыми узами соединяется съ природой; humanitas, напоминало не то, что люди сдѣлаются землей, а то, что они вышли изъ земли, и имъ было радостно найдти ее подъ ногами, стоять на ней; католическая строгость и германская народная наклонность къ грустной мечтѣ приготовили къ этому крутому перегибу! Конечно, если мы пристально всмотримся въ дѣйствительную жизнь среднихъ вѣковъ, то увидимъ, что она болѣе наружно покорялась велѣніямъ Ватикана и романтическому настроенію; жизнь вездѣ восполняла полутайкомъ недостаточныя и узкія основанія средневѣковаго быта, довольствуясь періодическими раскаяніями, наружными формами, и потомъ, для большаго удобства, покупкою индульгенцій. Тѣмъ не менѣе тогдашняя жизнь была сумрачна, натянута; сосѣдъ скрывалъ отъ сосѣда подъ условными формами и простую мысль и мелькнувшее чувство; онъ стыдился ихъ, онъ боялся ихъ. Романтизмъ имѣлъ въ себѣ много задушевнаго, трогательнаго, но мало свѣтлаго, простаго, откровеннаго; конечно, человѣкъ и тогда предавался радости, наслажденіямъ,—но онъ это дѣлалъ съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ мусульманинъ пьетъ вино; онъ дѣлалъ уступку, отъ которой самъ отрекался; уступая сердцу, онъ былъ униженъ, потому что не могъ противостоять влеченію, котораго не признавалъ справедливымъ. Грудь человѣческая, изъ которой невозможно было изгнать реальныхъ потребностей, тяжело подымалась, рвалась къ жизни болѣе ровной;

*) Homo отъ humus.

всегдашняя натянутость такъ же надоѣла человѣку, какъ всегдашнее вооруженіе рыцарю; хотѣлось мира внутренняго,—этого романтизмъ дать не могъ: онъ весь основанъ на несогласіи, на противорѣчіяхъ; его любовь—платонизмъ и ревность; его надежда—въ могилѣ; безвыходная тоска—основа его внутренней жизни; вся его поэзія—въ этой роющейся тоскѣ, вѣчно сосредоточенной на своей личности, вѣчно растравляющей мнимыя раны, изъ которыхъ текутъ слезы, а не кровь; въ этихъ мученіяхъ вся нѣга эгоистическаго романтика, добродушно считающаго себя самоотверженнымъ мученикомъ; искомый *миръ*, искомый покой представляли на первый случай искусство древняго міра, его философія. Къ суровому готическому воззрѣнію начали прививаться мягкіе, человѣческіе элементы древней цивилизаціи; романтикъ сталъ догадываться, что первое условіе наслажденія—забыть себя; онъ сталъ на колѣни передъ художественными произведеніями древняго міра; онъ научился поклоняться изящному безкорыстно; мысль греко-римская воскресена для него въ блестящихъ ризахъ; въ тысячелѣтнемъ гробѣ успѣло предаться тлѣнію то, что должно было истлѣть; очищенная, вѣчно юная, какъ Ахиллъ, вѣчно страстная, какъ Афродита, явилась она людямъ—и люди, всегда готовые увлечься, оскорбительно забыли романтическое искусство, отворачивались отъ его дѣвственныхъ красотъ и стыдливой закутанности. Поклоненіе древнему искусству—не временная прихоть; оно ему подобаетъ; это единственное право, оставшееся за нимъ на вѣчную жизнь; это его истина, которая прейдти не можетъ; это безсмертіе Греціи и Рима;—но и готическое искусство имѣло свою истину, которую уничтожить нельзя было; въ эпоху противодѣйствія нѣкогда дѣлать такой разборъ.

Европа приняла древнюю образованность, такъ, какъ Россія, во время Петра I, приняла въ свою очередь образованность европейскую. Нельзя не замѣтить, впрочемъ, что классическое образованіе, распространившееся по всей Европѣ, было образованіемъ аристократическимъ; оно принадлежало *неопредѣленному,* но тѣмъ не менѣе дѣйствительному сословію *образованныхъ* людей proprie sic dictum. легистамъ, духовнымъ, ученымъ, рыцарямъ,—по мѣрѣ того, какъ они изъ вооруженной аристократіи переходили въ придворную; наконецъ, всѣмъ матеріально обезпеченнымъ и празднымъ. Крестьяне, городская *чернь,* т. е. бѣдные мѣщане, работники, пролетаріи, не только не участвовали въ этой перемѣнѣ, но рѣзче и глубже распались съ искусственно-образованною средою, нежели прежде. Новые языки, вошедшіе около того же времени въ употребленіе, не сблизили ихъ; на *вульгарныхъ* нарѣчіяхъ писались и говорились латинскія и греческія мысли, такъ, какъ въ среднихъ вѣкахъ по-латинѣ говорились конечно вовсе не римскія вещи. Массы отъ этого переворота пали въ грубѣйшее невѣжество; прежде, для нихъ были трубадуры, легенды; проповѣдники говорили для нихъ, монахи посѣщали ихъ, была между высшимъ образованіемъ и ими связь: теперь все талантливое, образованное захватило элементы, чуждые народу, ничего не говорящіе его сердцу; и замѣтьте при этомъ, что новая цивилизація не успѣла такъ переработаться въ сущность принявшихъ ее, чтобъ позволить имъ свободно, т. е. по своему выражаться. Поэты, воспѣвая греческихъ боговъ и римскихъ героевъ, цѣликомъ брали свои восторги у Виргилія; прозаики писали и говорили цицероновски,—печальная и безучастная толпа не слушала ихъ: она лишилась своихъ пѣвцовъ съ сказками и

сагами, потрясавшими такъ сильно сердца ея знакомыми звуками и родными образами. Это распаденіе съ массами, вырощенное не на феодальныхъ предразсудкахъ, а вышедшее полусознательно изъ самой образованности, усложнило, запутало развитіе истинной гражданственности въ Европѣ. Аристократія образованности, знанія несравненно оскорбительнѣе аристократіи крови: она не основана на непосредственности, на темной вѣрѣ, а на сознательномъ превосходствѣ, на гордомъ пренебреженіи массъ; искусственная образованность, которая шла на замѣну феодальному готизму, была надменна и смотрѣла свысока; вы можете найдти эту надменность во всѣхъ ея представителяхъ, въ Вольтерѣ и Боленброкѣ, точно такъ, какъ въ доктринерахъ революціи 30 года, и въ берлинскихъ катедральныхъ философахъ. Но геній Европы не потерялся отъ этого раздвоенія, не сталъ ходить съ понурой головой, оплакивая былое и приходя въ отчаяніе, что не умѣетъ переварить въ себѣ совершившагося событія. Мало ли временнаго зла проходитъ рядомъ съ вѣчнымъ благомъ, даже въ частной жизни одного семейства, не только въ сложной многоначальной жизни цѣлаго народа; зло—несчастное, но иногда необходимое условіе добра—проходитъ; добро остается; сильная натура переработываетъ въ себѣ зло, борется съ нимъ, побѣждаетъ; сильная натура умѣетъ выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, умѣетъ похоронить милое себѣ и, оставаясь вѣрною ему, идти на новое дѣйствованіе и на новые труды; а слабыя натуры теряются въ своемъ плачѣ объ утратѣ, хотятъ невозможнаго, хотятъ прошедшаго, не умѣютъ найдтись въ дѣйствительности и, какъ этрурійскіе жрецы, поютъ однѣ похоронныя пѣсни, не имѣя смысла разглядѣть новой жизни и брачныхъ гимновъ ея.

Если классическое образованіе миновало массы и отрѣзало отъ нихъ высшія сословія, то, напротивъ, реформація съ своими расколами не миновала ихъ. Мистицизмъ и ученія, возбужденныя протестантизмомъ, его таинственная простота, явившаяся замѣнить величественный ритуалъ католицизма, его догматическіе вопросы дотронулись до совѣсти каждаго человѣка. Даже британская натура забыла свое практическое настроеніе и бросилась въ лабиринтъ теологическихъ тонкостей; про Германію и говорить нечего. Слѣдствія этихъ споровъ, распрей, были сообразны духу народному: для Англіи — Кромвель, Пенсильванія; для Германіи—Яковъ Бемъ; скажемъ о немъ нѣсколько словъ.

Самопознаніе раскрывается не въ одной наукѣ; логическая форма—послѣдняя, завершающая, далѣе которой собственно вѣдѣніе не йдетъ. Наука не только не исключительный органъ самопознанія, но она весьма долго неудобный, неготовый органъ для него; конечно, наука въ абсолютномъ смыслѣ, вѣчная органика истины; но пора согласиться, что въ дѣйствительности, т. е. во времени, въ исторіи все обусловлено, и что только объ исторической наукѣ и можетъ идти рѣчь, когда говорится о дѣйствительномъ развитіи. Въ логикѣ все совершено sub specie æternitatis; потому-то временное и не нашло еще въ ней своего тождества съ вѣчнымъ. Пока разумъ и истина раздвоены, пока форма и содержаніе противопоставлены другъ другу, до тѣхъ поръ наука не въ состояніи вывести полную истину самопознанія или полное самопознаніе истины—что все равно. Человѣкъ сознаетъ себя, пока разработывается высшая форма болѣе и болѣе въ другихъ сферахъ дѣятельности, путями опытности, событій и своего взаимодѣйствія съ внѣшнимъ міромъ, путями восторженнаго поэти-

ческаго предвѣдѣнія. Сначала, самопознаніе человѣка — *его инстинктъ*, несознательная разумность животнаго, темныя, непреодолимыя влеченія, удовлетвореніе которыхъ, успокоивая животную сторону, возбуждаетъ сторону человѣческую; возникающій разумъ развертываетъ свое содержаніе въ два направленія; въ практической области онъ является какъ слагающееся общинное житье, какъ житейская мудрость поведенія, дѣйствованія, какъ многосторонная связь трудовъ, работъ съ окружающей средою, какъ развитіе нравственной воли; мысль, выработывающаяся въ этихъ сферахъ, имѣетъ всю полноту и жизненность конкретнаго и всю неуловимость его въ отвлеченную форму; все практическое является частнымъ, условнымъ, единовременнымъ удовлетвореніемъ физической или нравственной потребности; высокій смыслъ ея творческой совокупности теряется отъ стука молотовъ, отъ пыли, отъ раздробленности; между тѣмъ, какъ только чековѣкъ отеръ потъ послѣ тяжкаго труда устройства, у него явилось уже требованіе на иное удовлетвореніе, его ужь что-то безпокоитъ, и дѣтскій разумъ его, нераздѣльный съ чувствами, непонимающій всѣхъ средствъ своихъ, начинаетъ облекать природу и мысли въ пеструю, яркую одежду дѣтскаго воображенія. Необузданныя сначала фантазіи, уравновѣшиваясь, принимаютъ стройный и изящный видъ художественнаго произведенія; въ художественномъ произведеніи дѣйствительно сочеталось содержаніе съ содержимымъ; въ немъ мысль непосредственна и непосредственность одухотворена; въ статуѣ человѣкъ видитъ внѣ себя примиреніе, которое онъ ищетъ, поклоняется ему и называетъ его Аполлономъ или Палладой; но это ненадолго; безпокойная мысль разъѣдаетъ художественное произведеніе, подчиняетъ

себѣ форму, низводитъ ее на степень символики, а сама восходитъ на высоту вдохновеннаго, таинственнаго созерцанія; самопознаніе находитъ въ этой символикѣ образъ; глаголъ, облегчающій ему уразумѣніе невыразимой, но носящейся въ сознаніи истины; здѣсь образъ не есть уже живое и единственное тѣло идеи, какъ въ художественномъ произведеніи; символическій образъ готовъ, передавъ вамъ смыслъ свой, послуживъ сосудомъ истины, исчезнуть, распуститься въ свѣтѣ самосознающей мысли; этотъ мерцающій полупрозрачный образъ отражаетъ человѣку его черты, но черты преображенныя, просвѣтленныя; человѣкъ узнаетъ себя въ нихъ, и боится узнать себя. Символика — языкъ, вдохновенный іероглифъ мистическаго самопознанія. Языкъ Пиѳагора и Прокла, языкъ Якова Бема, принимаемые ими образы всегда могутъ быть понимаемы разно: они, какъ зеркало, разуму отражаютъ разумъ, а чувственности — чувственность; легкіе и одухотворенные іероглифы въ грубыхъ рукахъ чувственныхъ мистиковъ, возвращающихся къ матеріализму изувѣрствомъ — дѣлаются дивящими призраками; духъ, ихъ одушевлявшій, религіозная мысль ихъ отлетаетъ, кружевное покрывало, едва колебавшееся между человѣкомъ и истиной — превращается въ сырой, могильный саванъ, и яркая мысль, свѣтившаяся въ очахъ вдохновеннаго созерцанія, замѣняется мрачно безумнымъ взглядомъ мага и каббалиста. Я считалъ необходимымъ напомнить вамъ все это, приближаясь къ странному лицу Якова Бема. Его вдохновенное, мистическое созерцаніе, истекавшее изъ святаго источника, привело его къ воззрѣнію такой необъятной ширины, о которой наука его времени не смѣла мечтать, — къ такимъ истинамъ, которыя человѣчество узнало вчера, а Бемъ жилъ слишкомъ двѣ-

сти лѣтъ тому назадъ. И то же высокое ученіе Бема, облекаясь въ странныя мистическія и алхимическія одежды, дало основу самымъ эксцентрическимъ, самымъ безумнымъ отклоненіямъ отъ простосердечнаго принятія истины: шведенборгіанцы, Экартсгаузенъ, Штиллингъ и ихъ послѣдователи, Гоэнло и нынѣшніе германскіе духовидцы, заклинатели, прокаженные, испорченные, всѣ эти кликуши разныхъ нечитаемыхъ журналовъ и разныхъ сумасшедшихъ домовъ большую долю своего мракобѣсія почерпнули изъ Якова Бема.

Полнаго очерка бемова ученіе я не имѣю возможности передать вамъ; мы ограничимся нѣсколькими чертами; впрочемъ, ex ungue leonem!

Языкъ Бема теменъ, безграмотенъ; но его рѣзкая и оригинальная рѣчь — полна сильной, огненной поэзіи. Вотъ основныя мысли его философіи природы: „Все возникаетъ отъ *да* и *нѣтъ*. *Да*, взятое помимо отрицанія, помимо *нѣтъ*,—вѣчный покой, все и ничего, вѣчное молчаніе, свобода отъ всякаго мученія, и слѣдственно отъ всякой радости, безразличіе, невозмущаемая тишина. Но *да* и не можетъ существовать безъ *нѣтъ*; оно необходимо присуще его выходу изъ безразличія. *Нѣтъ*, само по себѣ ничего, а ничего — стремленіе къ чему нибудь (eine Sucht nach Etwas). *Да* и *нѣтъ* — не разное, но различенное; безъ различенія не было бы ни образа, ни сознанія, жизнь была бы вѣчнымъ безстрастнымъ, равнодушнымъ истеченіемъ; желаніе предполагаетъ, что чего либо *нѣтъ*, къ чему мы стремимся. *Нѣтъ* останавливаетъ безконечную лучезарность положительнаго и на точкѣ ихъ встрѣчи закипаетъ жизнь; это перегибъ, удерживающій безконечное развитіе для конечной опредѣленности. Единство, выступая въ многоразличіе, непремѣнно расчленяется и, развиваясь въ

этомъ расчлененіи, возвращается сознаніемъ къ новому духовному единству... Свѣта не было бы, еслибъ не было тьмы, или еслибъ онъ и былъ, то безпрепятственно разсѣеваясь, что освѣщалъ бы онъ? Но свѣтъ самъ собою ставитъ тьму, тоска безразличности стремится къ различенію; на этомъ основана вѣчная потребность *быть чѣмъ нибудь* (Etwasseinwollen); въ этой потребности раздвоенія проявляется *я* (т. е. субъективность) природы... Открывая собою божественную и вѣчную волю, природа — произведеніе тихой вѣчности; она образуетъ, производитъ и расчленяетъ для того, чтобъ радостно сознавать себя... что сознаніе выражаетъ словомъ, то образуетъ природа въ свойства. Первое свойство вѣчной природы (Бемъ отдѣляетъ вѣчныя свойства отъ временнаго проявленія ихъ; первыя онъ называетъ вѣчной природою, вторыя физической природой) — безусловное *желаніе* сдѣлаться чѣмъ нибудь; второе — *противодѣйствіе*, останавливающее желаніе, перегибъ, причина страданій и жизни; третье — *чувствительность*, самосознаніе свойствъ; четвертое — *огонь*, блескъ, до котораго поднялось естественное и мучительное разрушеніе предъидущихъ свойствъ; пятое—*любовь*; шестое—*звукъ*, гласность и пониманіе свойствъ между собою; седьмое — *сущность*, какъ носящая личность, какъ субъектъ шести предъидущихъ свойствъ, какъ ихъ душа... Все въ природѣ открываетъ себя; природа всему даетъ языкъ; самоочертаніе — глаголъ, которымъ вещь проявляетъ свое внутреннее. Быть только внутреннимъ невыносимо; внутреннее стремится быть наружнымъ. Вся природа звучитъ о своихъ свойствахъ и показываетъ себя... Въ сосредоточенной жизни природы открывается *сущность* (какъ мысль человѣка), а въ желаніи (человѣка) лежитъ стремленіе одѣйствотвориться

(по Бему, обнаружиться природой). Наружная природа образуется изъ шести вѣчныхъ свойствъ; въ седьмомъ она успокоивается, какъ въ субботѣ своей... Вода, воздухъ ближе къ безразличному единству, какъ все мягкое, лишенное рѣзкости; напротивъ, твердыя тѣла выше своею сложностью расчлененіями, снятыми уже въ нихъ. По видимому міру, по солнцу, звѣздамъ, элементамъ, тварямъ можно опредѣлить ихъ причину; ибо ни одна вещь не имѣетъ основы индѣ, а основа и причина ея необходимо тамъ, гдѣ она возникла. Истинная причина всему, послѣдняя основа — божественный духъ вездѣ сущій... Онъ не далекъ, онъ близокъ, умѣй только видѣть его," говоритъ восторженный Бемъ: „человѣкъ тупой, скажу я невѣрующему, — если ты думаешь, что нѣтъ въ тѣбѣ самомъ божественнаго, то ты не образъ и не подобіе Божіе; если ты разрозненъ съ нимъ, то какъ ты сдѣлаешься однимъ изъ сыновъ его?"

Изъ того же начала необходимаго расчлененія стремится Бемъ вывести зло и все дурное. Зло онъ принимаетъ за одно изъ условій феноменальнаго бытія; начало его общее съ добромъ, качество есть уже зло, какъ ограниченность, какъ эгоистическое отторженіе отъ единства, какъ обособленіе и исключеніе всѣхъ другихъ свойствъ. Латинское слово qualitas Бемъ поэтически (хотя нельзя сказать, что тутъ поэзія заодно съ грамматикой) производитъ отъ нѣмецкихъ словъ Qual — мученіе и Quellen — истекать, качество мучиться (die Qualität quält sich ab); чтобъ освободиться во всеобщемъ единствѣ, оно чувствуетъ недостатокъ, потому что оно *нѣчто* физическое, алчное все усвоить себѣ, себялюбивое; но это отчужденіе побѣждается просвѣтленіемъ, и то, что было страданіемъ во тьмѣ, расцвѣтаетъ наслажденіемъ въ свѣтѣ; все, что было страхомъ, ужасомъ, трепетомъ,

станетъ крикомъ радости, звономъ и пѣніемъ... Зло—необходимый моментъ въ жизни и необходимо переходимый... безъ зла все было бы такъ же безцвѣтно, какъ безцвѣтенъ былъ бы человѣкъ, лишенный страстей; страсть, становясь самобытною,—зло, но она же источникъ энергіи, огненный двигатель... Доброта, не имѣющая въ себѣ зла, эгоистическаго начала,'—пустая сонная доброта. Зло врагъ самого себя, начало безпокойства, безпрерывно стремящееся къ успокоенію, т. е. къ снятію самого себя...“

Довольно съ васъ. Если вы желаете подъ этими странными словами понять широкія мысли, отвсюду просвѣчивающія у Бема, вы ихъ увидите даже въ бѣдныхъ выпискахъ, сдѣланныхъ мною. Если же его слова вамъ (какъ прежде васъ многимъ) покажутся бредомъ,—я не берусь васъ разувѣрить...

Основанія реформаціоннаго воззрѣнія столько же способствовали наукообразному развитію мышленія, сколько феодализмъ мѣшалъ ему; пытливое изслѣдованіе получило законное право: вглядываясь пристально въ споры того времени и манеру ихъ, чувствуешь отраду и грусть; вы видите, что мысль побѣждаетъ, что ей даютъ вездѣ мѣсто, что она признана, но съ тѣмъ вмѣстѣ видите, что она суха, холодна, формальна, что она убила бы жизнь, еслибъ жизнь можно было убить. Въ наукѣ, побѣда надъ средневѣковымъ воззрѣніемъ не была такъ торжественна, такъ полна, какъ въ области искусства: Рафаэль, Тиціанъ, Корреджіо сдѣлали невозможнымъ дуализмъ въ эстетикѣ; въ наукѣ, католическій идеализмъ, называвшійся схоластикой, былъ побѣжденъ протестантской схоластикой, называемой идеализмомъ. Какъ художественность составляетъ управляющій характеръ греческой эпохи, такъ точно отвлеченное мышленіе

является главной чертой эпохи реформаціонной, дуализмъ школьный и до чрезвычайности прозаической; съ развитіемъ его жизнь мелѣетъ, становится безцвѣтнѣе*). Въ лѣтописяхъ этой науки, мы не будемъ болѣе встрѣчать ни величественно пластическія личности гражданъ-мудрецовъ древняго міра, ни строгія, мрачныя лица средневѣковыхъ докторовъ, ни энергическія, огненныя черты людей переворота въ XVI столѣтіи. Философы, какъ люди, стираются болѣе и болѣе; ихъ отвлеченныя занятія, ихъ ученые интересы дѣлаютъ ихъ чуждыми жизни; послѣ Бруно философія имѣетъ одну великую біографію del gran Ebreo науки (Спинозы)**). Гегель довольно странно объясняетъ это; онъ говоритъ, что въ новое время гражданское достигло того разумнаго совершенства, при которомъ индивидуальностямъ нѣчего болѣе заботиться о внѣшнемъ, и каждому указано свое мѣсто. Внутреннее и внѣшнее, думаетъ онъ, стоятъ самобытно и такъ, что внѣшній порядокъ идетъ самъ собою и человѣкъ можетъ не думая о немъ учредить свой внутренній міръ самъ собой. Я думаю, несовсѣмъ легко доказать это германской исторіей отъ вестфальскаго мира до нашего вѣка; но какъ бы то ни было, Гегель высказалъ совершенно нѣмецкую мысль— non vitia hominis***)!..

*) Странное дѣло: въ протестантизмѣ, какъ и въ дѣлѣ науки, романскіе народы являются только на заглавномъ листѣ съ своимъ Брешіанскимъ Арнольдомъ и Жироламомъ Саванаролой, съ своими гугенотами... потомъ они предоставляютъ міру германическому собрать первые плоды, какъ будто выжидая чего либо.

**) Развѣ прибавить Лейбница и Фихта?

***) Gesch. der Phil. Th. III, p. 276 и 277. Всего лучше доказываетъ эту мысль длинная біографія Гегеля, написанная Розенкранцомъ и вышедшая съ годъ тому назадъ; въ ней есть высокаго интереса отрывки изъ гегелевыхъ бумагъ и почти безъ всякаго интереса жизнеописа-

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Декартъ и Бэконъ

Hier können wir sagen sind wir zu Hause, und können wie die Schiffer nach langer Umherfahrt auf der ungestümen See „Land!“ rufen*). Такъ привѣтствуетъ Гегель Декарта. „Съ Декарта,“ продолжаетъ онъ, „начинается *настоящее отвлеченное* мышленіе; вотъ начала, изъ которыхъ разовьется *чистое умозрѣніе* — новая наука — наша наука.“

И мы скажемъ: берегъ — но въ противоположномъ смыслѣ; для Гегеля это берегъ, къ которому приплываетъ мысль, какъ къ спокойной гавани своей, къ гавани, съ которой начинается ея царство. Мы, напротивъ, видимъ въ *новой* философіи берегъ, на которомъ мы стоимъ, готовые покинуть его при первомъ попутномъ вѣтрѣ, готовые сказать спасибо за гостепріимство и, оттолкнувъ его, плыть къ инымъ пристанямъ. Судьба новой философіи совершенно сходна съ судьбою всего реформаціоннаго: ничего стараго не оставлено въ покоѣ, ничего новаго съ основанія не воздвигнуто; на сооруженіе новыхъ зданій шелъ старый кирпичъ, и они вышли не новыя и не старыя; все реформаціонное сдѣлало огромные шаги впередъ; все было необходимо и все остановилось на полдорогѣ. Странно было бы, если

ніе. Нѣмецкая жизнь безъ событій, съ перемѣною каѳедръ, mit Spaarbüchsen für die Kinder, Geburts-Feiertagen, etc.

*) Теперь мы можемъ сказать, что мы *дома*; подобно мореплавателямъ, долго носившимся по бурному морю, мы можемъ воскликнуть „земля!“ (Gesch. der Phil. T. III. стр. 328, и еще тамъ же, стр. 275).

бы наука этой эпохи начинаній совершила одна свое дѣло. Наука не имѣетъ силы отрѣшаться отъ прочихъ элементовъ исторической эпохи; напротивъ, она есть сознательная, развитая мысль своего времени; она дѣлитъ судьбы всего окружающаго. Она, съ своей стороны, громко протестуя противъ схоластики, всосала въ свои жилы схоластику. Чистое мышленіе — схоластика новой науки, такъ, какъ чистый протестантизмъ есть возрожденный католицизмъ. Феодализмъ пережилъ реформацію; онъ проникъ во всѣ явленія новой жизни европейской; духъ его внѣдрился въ ополчавшихся противъ него; правда, онъ измѣнился, еще болѣе правда, что рядомъ съ нимъ возрастаетъ нѣчто дѣйствительно новое и мощное; но это новое, въ ожиданіи совершеннолѣтія, находится подъ опекой феодализма, живаго, не смотря ни на реформацію Лютера, ни на реформацію послѣднихъ годовъ прошлаго вѣка. Да и какъ ему быть не живымъ? Съ чѣмъ онъ боролся до сихъ поръ? Вспомните,—съ незрѣлыми начинаніями, съ неразвитыми всеобщностями, съ частными нападками, съ поправками, дѣлаемыми внутри его собственныхъ предѣловъ. Феодализмъ грубый, прямой, замѣнился феодализмомъ раціональнымъ, смягченнымъ; феодализмъ, вѣровавшій въ себя — феодализмомъ, защищающимъ себя, феодализмъ крови — феодализмомъ денегъ. Схоластика занимаетъ мѣсто феодализма науки: могла ли она послѣ этого быть вполнѣ наукой, берегомъ? можно ли ждать, что человѣкъ въ ней будетъ дома? — Нѣтъ!

Дуализмъ схоластическій не погибъ, а только оставилъ обветшалый мистико-кабалистическій нарядъ и явился чистымъ мышленіемъ, идеализмомъ, логическими абстракціями: тутъ великій прогрессъ, этимъ путемъ,

т. е. возводя дуализмъ во всеобщую сферу мысли, философія поставила его на лезвіе ножа, привела прямо къ выходу изъ него. Новая наука начинается съ той задачи, на которой остановилась древняя наука, съ той точки, такъ сказать, на которую древній міръ возвелъ мышленіе. Она подняла задачу древняго міра, но не рѣшила ея; она привела только къ рѣшенію ея — и остановилась, чувствуя, можетъ быть, что рѣшеніе это будетъ съ тѣмъ вмѣстѣ ея смертный приговоръ, т. е., что она изъ существующихъ дѣятельныхъ властей перейдетъ въ исторію. Гегель поступилъ, можетъ быть, откровеннѣе, нежели хотѣлъ; можетъ быть, радостныя слова „берегъ," „дома" у него вырвались невольно; этимъ восклицаніемъ онъ неразрывно сочеталъ свою судьбу съ реформаціонной наукой. Впрочемъ, стоять на одномъ берегу съ Спинозой не стыдно!

Все сказанное нами никакъ не должно закрыть всю величину переворота въ мышленіи и весь прогрессъ, пріобрѣтенный наукой чрезъ него. Со времени Декарта, наука не теряетъ своей почвы; она твердо стоитъ на самопознающемъ мышленіи, на самозаконности разума.

Философія древняя и новая философія составляютъ два великія основанія будущей науки; обѣ онѣ неполны, обѣ носили въ себѣ элементы не научные, обѣ были великими пріуготовительными моментами, безъ которыхъ, дѣйствительно полная наука не могла бы развиться,— обѣ прошли. Вы помните, древняя философія всегда имѣла въ себѣ одинъ элементъ непосредственности, фактъ, событіе, упавшее, какъ аэролитъ, и принимаемое за истину по чувству, по довѣрію къ жизни, къ міру. Такъ она принимала самое единство бытія и мышленія; она была права въ сущности дѣла, но не права въ образѣ принятія: это было вѣрованіе, ин-

стинктъ, тактъ истины — если хотите, но не сознательная мысль. Такой непосредственный элементъ прямо противоположенъ понятію науки. Средневѣковое воззрѣніе было противодѣйствіемъ противъ непосредственности; но это его не спасло отъ того же недостатка: оно отрѣзало послѣднюю нить пуповины, прикрѣплявшей человѣка къ природѣ, и человѣкъ, совершенно обращенный внутрь міра рефлексіи, въ немъ одномъ искалъ рѣшенія вопросовъ; но этотъ міръ духовный былъ чисто личный, онъ не имѣлъ предмета. „Дѣйствительность существа," превосходно замѣтилъ Джордано Бруно, „обусловлена дѣйствительнымъ предметомъ." Предметъ средневѣковаго человѣка былъ онъ самъ, какъ отвлеченная сущность; отрицать непосредственность такъ же мало наукообразно, какъ принимать ее безъ мысли. Умъ, сосредоточенный въ себѣ, занимаясь только собою, „впалъ въ сухую, жалкую схоластику и плелъ изъ себя паутину очень тонкую и узорчатую, но совершенно ненужную," какъ говоритъ Бэконъ. Довѣріе человѣка къ уму привело схоластику къ признанію дѣйствительнымъ всякой логически построенной нелѣпости, и такъ какъ у нихъ содержанія не было, то они его брали изъ фантазіи, изъ психологической непосредственности, опираясь на него точно такъ, какъ эмпирикъ опирается на опытъ. Итакъ, съ одной стороны, тяжелый камень, съ другой — ужасная пустота, населенная призраками. Люди переворота увидѣли невозможность дойдти до чего либо схоластикой, и возненавидѣли ее; но отрицаніе схоластики не есть еще чиноположеніе новой науки; поэтическое провидѣніе Джордано Бруно — такъ же мало наука, какъ дерзкія отрицанія Ванини. Первая необходимая задача, вопросъ, отъ котораго мыслящей головѣ нельзя было отвернуть-

ся, состоялъ въ разрѣшеніи мышленіемъ отношенія самого мышленія къ бытію, къ предмету, къ истинѣ вообще. И дѣйствительно, съ этимъ вопросомъ на устахъ является новая наука въ міръ. Отецъ ея, безъ сомнѣнія, Декартъ. Значеніе Бэкона совсѣмъ иное: о немъ послѣ.

Декартъ долго занимался науками такъ, какъ онѣ преподавались въ его время; потомъ бросилъ книги: онѣ ему не разрѣшили ни одного сомнѣнія, не удовлетворили его ни въ чемъ. Онъ такъ же ясно, какъ Бэконъ, увидѣлъ, что старый корабль средневѣковой жизни тонетъ и разрушается, не спорилъ съ его лоцманами, какъ дѣлали его предшественники, а бросался въ море, чтобъ достигнуть новаго берега. И такъ же, какъ Бэконъ, онъ рѣшился *начать съ начала,* начать совершенно свободно въ средѣ мышленія. Много надобно было твердости, чтобъ дерзнуть и на этотъ разрывъ съ былымъ, и на это воздвиженіе новаго: Декартъ, мучимый неувѣренностью, а, можетъ быть, и совѣстью, съ посохомъ паломника въ рукѣ, ходилъ къ лоретской Божіей Матери просить ея помощи въ начатомъ трудѣ, и тамъ, распростертый передъ нею, молился примирить его сомнѣнія. Приступъ Декарта къ дѣлу—величайшая заслуга его; дѣйствительное и вѣчное начало наукообразнаго развитія онъ начинаетъ съ безусловнаго сомнѣнія—вовсе не для того, чтобъ все истинное отвергнуть, а для того, чтобъ все истинное оправдать, но оправдать, освободивъ себя. Когда онъ поднялся въ страшно изрѣженную среду, въ которую не впустилъ ничего впередъ идущаго, когда въ этомъ мракѣ, въ которомъ все исчезло, кромѣ его самого, онъ сосредоточился въ глубинѣ духа своего, сошелъ внутрь своего мышленія, повѣрялъ свое сознаніе,—у него вырвалось

изъ груди знаменитое подтвержденіе своего бытія: cogito, ergo sum (я мышлю, слѣдовательно существую). Отсюда неминуемо должно развиться единство бытія и мышленія; мышленіе дѣлается аподиктическимъ доказательствомъ бытія; сознаніе сознаетъ себя неразрывнымъ съ бытіемъ, — оно невозможно безъ бытія. Вотъ программа всей будущей науки; вотъ первое слово воззрѣнія, котораго послѣднее слово скажетъ Спиноза; вотъ тема, которую наукообразно разовьетъ Гегель. Nosce te ipsum и Cogito, ergo sum — два знаменитые лозунга двухъ наукъ, древней и новой. Новая исполнила совѣтъ древней, и Cogito, ergo sum отвѣтъ на Nosce te ipsum. Мышленіе—дѣйствительное опредѣленіе моего *я*. Но всѣ силы Декарта были потрачены на этотъ силлогизмъ, кажется, такъ простой, и который даже совсѣмъ не силлогизмъ. Устрашенный величіемъ своего начала, глубиной своего разрыва съ былымъ и настоящимъ, онъ качается, хватается за клочья стараго; прошедшее проникаетъ въ его душу; въ немъ схоластика, уже ослабѣвающая, падающая, снова воскресаетъ сильною и преображенною. Онъ подобенъ квакерамъ, пріѣхавшимъ въ Пенсильванію и перевезшимъ въ груди своей чрезъ океанъ старый бытъ, который и развился въ новомъ государствѣ. Признавъ сущностью своей одно мышленіе, неразрывно связанное имъ съ бытіемъ, Декартъ растолкнулъ мышленіе и бытіе, онъ принялъ ихъ за двѣ разныя сущности (мышленіе и протяженіе). Вотъ и дуализмъ, вотъ и схоластика, возведенная въ логическую форму. Чувствуя неловкость, онъ бросается въ формальную логику. Для него доказательство раціональное (въ мышленіи)—полное право на дѣйствительность, на истину; а истина должна доказываться не однимъ мышленіемъ, а мышленіемъ и бытіемъ. Эрд-

манъ*), добросовѣстный нѣмецкій ученый, совершенно справедливо замѣтилъ, что Декартъ не могъ миновать такого развитія, иначе онъ не жилъ бы въ то время, въ которое жилъ. Его дѣло было — поднять знамя протестантизма въ наукѣ, провозгласить новый путь, провозгласить мышленіе исчерпывающимъ опредѣленіемъ человѣка. Подвигъ, достаточный для одной личности! Отъ проницательности Декарта не ускользнуло, что мышленіе и бытіе совершенно распадаются у него, что нѣтъ моста отъ одного къ другому, что это равнодушныя, самодовлѣющія два; онъ понялъ и то, что доколѣ они останутся сущностями — помочь нѣчѣмъ, ибо сущность потому и сущность, что она сама себѣ довлѣетъ. Декартъ принимаетъ (но не выводитъ) высшее единство, связующее противопоставленные моменты; мышленіе и протяженіе въ отношеніи къ верховному существу представляютъ аттрибуты его, его разныя проявленія. Какъ дошелъ онъ до этого единства? *Врожденными идеями.* Стало быть, его протестація противъ всякаго содержанія была неглубока! Психическая, неподлежащая логикѣ непосредственность проторгается, съ принятіемъ врожденныхъ идей, въ его науку. Декартъ, такимъ образомъ, сдѣлался въ одно и то же время величайшимъ и послѣднимъ оплотомъ схоластики; въ немъ схоластика преобразилась въ идеализмъ, въ трансцендентный дуализмъ, отъ котораго гораздо труднѣе было отдѣлаться, нежели отъ католической схоластики. Мы увидимъ живучесть схоластическаго элемента во всю эпоху новой философіи до сегодняшняго дня. Наука протестантизма могла только быть такая;

*) Erdmann. Versuch einer Geschichte der neuern Philosophie. 1840–42. 1 Th. Descartes.

если были иныя требованія, иныя симпатіи, болѣе дѣйствительныя — они не были наукообразны; она, начиная отъ Декарта, выработала методу, проложила дорогу, по которой изъ нея выйдутъ, дорогу, по которой она сама потому не проѣхала, что ей нѣчего было везти.

Декартъ, умъ чисто математическій и отвлеченный, исключительно механически разсматривалъ природу; что-то суровое и аскетическое мѣшало ему понимать все живое. Строгая, геометрическая діалектика его безпощадна; онъ былъ идеалистъ по внутреннему строенію души. Бытіе, матерію онъ понялъ какъ *протяженіе*. „Отъ всѣхъ другихъ свойствъ," говоритъ онъ: „матерію можно отвлечь, но не отъ протяженія: оно одно ей существенно." Качество уступило мѣсто болѣе внѣшнему опредѣленію предмета — количеству; для математики растворялись всѣ двери въ остествовѣдѣніе, все подчинялось механическимъ законамъ, и вселенная сдѣлалась снарядомъ движущагося протяженія*). Надобно замѣтить, впрочемъ, что, въ началѣ XVII вѣка, интересъ естествовѣдательнаго мышленія былъ вообще поглощенъ астрономіей и механикой; величайшія открытія совершались тогда въ обѣихъ отрасляхъ; это мемеханическое воззрѣніе, начинающееся съ Галилея и достигнувшее полноты своей въ Ньютонѣ, почти ничего не принесло конкретнымъ отраслямъ естествовѣдѣнія; вліяніе его было благотворно (разумѣется, сверхъ астрономіи и механики) — только въ физикѣ. Декартовы понятія о природѣ, которыя, по закону возмездія, до того были идеалистически спиритуальны, что перегибались въ грубѣйшій механизмъ и матеріализмъ (что тогда же замѣтили особенно англійскіе и итальянскіе физики),

*) Объ этомъ болѣе въ слѣдующемъ письмѣ.

почти не имѣли никакого вліянія на естественныя науки.

„Внимательно разсматривая“ говоритъ Декартъ: „мы увидимъ, что сущность вещества и тѣлъ состоитъ только въ томъ, что они имѣютъ протяженіе въ длину, ширину и глубину. Можетъ быть, тѣла не таковы, какъ намъ кажутся, можетъ, они обманываютъ наши чувства; но въ нихъ несомнѣнно истинно то, что я ясно, отчетливо понимаю и могу вывести умомъ; потому-то я признаюсь, что другой сущности тѣлесныхъ вещей, кромѣ геометрической величины, всячески дѣлимой, движимой и способной имѣть форму, я не принимаю, и ничего не разсматриваю въ матеріи, кромѣ дѣлимости, очертанія и движенія. Изъ математическихъ законовъ, опредѣляющихъ неотъемлемыя свойства бытія, все физическое объясняется и выводится съ величайшей строгостію; не думаю, чтобъ физикѣ нужны были иныя основанія“. Въ матеріи, лишенной качествъ своихъ, понимаемой такимъ образомъ, нѣтъ внутренней силы; матерія Декарта — виртуальная пустота, нѣчто мертво-косное, — ему всегда надобно будетъ прибѣгать къ внѣшней силѣ. „Матерія во всей вселенной одна; всѣ перемѣны формъ имѣютъ свое основаніе въ движеніи. Движеніе есть дѣятельность, вслѣдствіе которой вещество изъ одного мѣста переходитъ въ другое: — перемѣщеніе частей тѣла относительно близъ лежащихъ. Движеніе и покой представляютъ разныя состоянія вещества: для движенія не болѣе силы надобно, какъ и для покоя. Надобно равно усиліе, чтобъ двинуть тѣло и чтобъ остановить его. Надобно усиліе для того, чтобъ остаться въ покоѣ. Отдаленіе тѣла есть обоюдное дѣйствіе; оба тѣла дѣятельны — одно оставаясь на своемъ мѣстѣ, другое отдаляясь (сила инерціи). Движеніе зависитъ отъ двигаемаго, а не отъ движущаго; нельзя сообщить движе-

ніе одному тѣлу, не разрушивъ равновѣсія другихъ тѣлъ; отсюда цѣлыя системы движенія и сложность ихъ. Причина движенія — Богъ. За симъ идутъ обшія механическія основанія динамики. Все сущее состоитъ изъ маленькихъ тѣлъ (corpuscula) и ихъ измѣненій въ величинѣ, мѣстѣ, сочетаніяхъ и переложеніяхъ. Жизнь органическая — одинъ ростъ, т. е. приращеніе чрезъ полученіе постороннихъ частицъ. Декартъ далъ физикамъ опасный примѣръ прибѣгать къ личнымъ ипотезамъ тамъ, гдѣ не достаетъ пониманья; такъ напримѣръ, движеніе небесныхъ тѣлъ онъ объяснялъ вихремъ, крутящимъ ихъ около солнца; стараясь математически вывесть всѣ явленія планетной жизни, онъ дѣлаетъ ипотезы, въ которыхъ самъ не увѣренъ quamvis ipsa nunquam sic orta esse*); принимая тѣло совершенно постороннимъ духу, Декартъ никогда не могъ возвыситься до понятія жизни; свои физіологическія изъисканія начинаетъ разсматриваніемъ тѣла „какъ будто духа въ немъ нѣтъ.“ Но что же это за живое тѣло? кто ему далъ право такъ разсматривать его? Отсюда совершенно естественно предположеніе его, что тѣло—статуя или машина, сдѣланная изъ земли. „Если часы имѣютъ способность идти, то нѣтъ ничего труднаго понять, что и человѣкъ двигается, будучи такъ устроенъ.“ За симъ анатомическій и физіологическій разборъ тѣла, натянутый и наводящій какое-то уныніе. Декартъ, должно быть, самъ чувствовалъ, что всего не выведешь механически въ животномъ тѣлѣ, усердно занимался зоотоміей, но, какъ всѣ систематики, былъ глухъ къ голосу истины и гнулъ факты, какъ хотѣлъ;

*) Впрочемъ, можетъ быть, такія фразы—оффиціальная оговорка въ родѣ тѣхъ, которыя употреблялись Коперникомъ и даже Ньютономъ.

наприм., онъ объясняетъ крикъ собаки, какъ простую реакцію *этой машины* противъ дѣйствія палки. Еслибъ была машина, говоритъ онъ, устроенная внутри и снаружи, какъ обезьяна или другой звѣрь, то не было бы возможности понять различіе между ними. Одинъ человѣкъ не машина, потому что онъ имѣетъ языкъ, разумъ — душу. Разумная душа хотя и тѣсно связана съ тѣломъ, но насильственно, ибо она совершенно ему противоположна. Хотя душа собственно соединена со всѣмъ тѣломъ, однако главное жилище ея въ мозгу, и именно въ *одной железкѣ* (Glandula Conarion), въ серединѣ большаго мозга (между прочимъ потому, что остальныхъ частей въ мозгу по парѣ; слѣдовательно, недѣлимая душа въ нихъ не иначе могла бы быть, какъ преимущественно въ одной части предъ другою). Могъ ли бы этотъ пустой вопросъ возникнуть, еслибъ Декартъ сколько нибудь понималъ жизнь организма? Онъ органы животнаго считаетъ *только* механическимъ снарядомъ, приводимымъ въ движеніе непонятной силой. Движеніе невозможно, если вещественность только нѣмое, недѣятельное, страдательное наполненіе пространства; но это совершенно ложно: вещество носитъ само въ себѣ отвращеніе отъ тупаго, безсмысленнаго, страдательнаго покоя; оно разъѣдаетъ себя, такъ сказать *бродитъ**), и это броженіе, развиваясь изъ формы въ форму, само отрицаетъ свое протяженіе, стремится освободиться отъ него,— освобождается наконецъ въ сознаніи, сохраняя бытіе. Понятіе вещества не исчер-

*) Современники Декарта замѣтили мертвенность его вещества. Генрихъ Морусъ писалъ ему письмо, въ которомъ называетъ вещество *темной жизнію*, materia utique vitam esse quandam obscuram, nec in sola extensione partium consistere, sed in aliquali semper actione. R. Des. Epist. I. Ep. 4. XX.

пывается протяженіемъ; протяженіе недѣятельное, не движимое взаимодѣйствіемъ своимъ, — такое же отвлеченіе, какъ мышленіе безъ тѣла: это противоположные, крайніе моменты жизни.

Декарту было одно великое призваніе—*начать* науку и дать ей *начало*; онъ только для постановленія начала и могъ на минуту удержать напоръ схоластики и дуализма; какъ только онъ произнесъ свое Cogito, ergo sum — плотины были прорваны. Онъ началъ съ протестаціи противъ средневѣковой науки, но она была уже въ его жилахъ, — онъ далъ ей сильнѣйшую опору, онъ оправдалъ ее наукообразно. Но не всѣ требованія ума того времени выразились чисто наукообразно; мы видѣли это очень ясно по Бему. Во Франціи, напримѣръ, гораздо ранѣе Декарта образовалось особое, практически философское воззрѣніе на вещи, не наукообразное, не имѣющее произнесенной теоріи, не покоренное ни одному абстрактному ученію, ни чьему авторитету, — воззрѣніе свободное, основанное на жизни, на самомышленіи и на отчетѣ о прожитыхъ событіяхъ, отчасти на усвоеніи, на долгомъ, живомъ изученіи древнихъ писателей; воззрѣніе это стало просто и прямо смотрѣть на жизнь, изъ нея брало матеріалы и совѣтъ; оно казалось поверхностнымъ, потому что оно ясно, человѣчно и свѣтло. Германскіе историки отзываются о немъ съ пренебреженіемъ, съ Vornehmthuerei, можетъ быть, потому, что это воззрѣніе захватило отъ жизни ея неуловимость въ одну формулу; можетъ быть, потому, что оно говорило довольно понятнымъ языкомъ и часто занималось вопросами обыденной жизни. Воззрѣніе Монтеня, между тѣмъ, имѣло огромное вліяніе; впослѣдствіи, оно развилось въ Вольтера и энциклопедистовъ; Монтень былъ въ нѣкоторомъ отношеніи предшествен-

никъ Бэкона,— а Бэконъ — геній этого воззрѣнія. Противоположность Бэкона съ Декартомъ рѣзка; у Декарта была метода, но не было дѣйствительнаго содержанія, кромѣ формальной способности мышленія; у Бэкона было эмпирическое содержаніе in crudo, но не было науки, т. е. оно не было вполнѣ усвоено ему, именно потому что не пришло то время, въ которое дѣйствительно содержаніе могло быть такъ понято мышленіемъ, чтобъ развернуться въ наукообразной формѣ. Протестъ Декарта былъ сдѣланъ отъ теоріи, отъ чистаго мышленія; протестъ Бэкона—отъ того непокорнаго элемента жизни, который улыбаясь смотритъ на всѣ односторонности и идетъ своей дорогой. Результатъ средневѣковой жизни—этого міра ненавидящихъ исключительностей и насильственнаго расторженія—долженъ былъ явиться раздвоеннымъ, двуглавымъ. Каждая сторона, выходя изъ односторонняго и прямо противоположнаго опредѣленія идеи, была далека отъ пониманья, что для истины равно нужны оба опредѣленія; каждая шла отъ своихъ началъ: начало Декарта — отвлеченное мышленіе; онъ хочетъ науку a priori начало Бэкона — опытъ; для него истина только та, которая получена a posteriori. Вопросъ о мышленіи и бытіи Декартъ хочетъ рѣшить отвлеченно, трансцендентально, логически; Бэконъ—въ живыхъ областяхъ опыта и наблюденій. У обоихъ мысль совершенно освобождена въ началѣ; но одинъ не можетъ оторваться отъ абстракцій, а другой отъ природы: Декартъ все основываетъ на силлогизмѣ; принявъ за начало не силлогизмъ. Бэконъ не хочетъ силлогизмовъ, онъ хочетъ одного наведенія, какъ будто наведеніе не силлогизмъ. Одинъ все уничтожилъ, кромѣ мышленія, все отвергнулъ и съ одной вѣрою въ мысль шелъ на созданіе науки. Другой отправился отъ чувственной до-

стовѣрности, отъ вѣры въ фактъ, отъ довѣрія къ великому посредству между природой и умозрѣніемъ, то есть къ наблюденію. Одинъ потерялъ и землю и небо при самомъ началѣ; другой обѣими ногами стоялъ на землѣ, уцѣпился за явленіе, и по внѣшности, по корѣ дошелъ до великихъ и многообъемлющихъ мыслей. Одинъ хочетъ физику подчинить математикѣ; другой математику называетъ служанкой физики. Одинъ видитъ въ матеріи только количественное опредѣленіе и думаетъ, что вещество можно отвлечь отъ качества; другой занимается однимъ качественнымъ опредѣленіемъ предмета, хоть и зналъ мѣсто количественнаго опредѣленія. Оба, наконецъ, соединенные жгучей ненавистью къ схоластикѣ, не понимаютъ и бранятъ Аристотеля и всѣхъ древнихъ; они обернули умы современниковъ, обращенные назадъ, и указали имъ впередъ; схоластика достигала прошедшаго, Бэконъ заговорилъ о прогрессѣ и будущемъ; оба имѣли свои односторонности. Впрочемъ, Бэкона обвинить въ односторонности трудно. Бэконъ хотѣлъ, какъ онъ самъ говоритъ, науки дѣятельной, живой, науки о природѣ и изъ природы. Онъ хотѣлъ такой науки, которая была бы перегнана наблюденіемъ и обдумываніемъ изъ фактовъ во всеобщую мысль. Имѣя это въ предметѣ, онъ на все обращалъ взглядъ прямой и свѣтлый съ цѣлью—узнать, разобрать, а не для того, чтобъ поймать въ силки систематики и затянуть узелъ. Онъ очень часто начинаетъ съ односторонности и достигаетъ результатовъ самыхъ многосторонніхъ. Онъ чрезвычайно добросовѣстенъ, не дѣлаетъ изъ вопроса науки личнаго вопроса; онъ покоряется объективности истины; у него огромная ученость: онъ безпрестанно подъ вліяніемъ своей памяти; все предшествующее историческое развитіе ему присуще.

Ненавидя греческую науку и Аристотеля, онъ мастерски ссылается на нихъ и пользуется ими. Вовсе не поэтъ, онъ превосходно толкуетъ греческіе миѳы. Нельзя себѣ представить странное ощущеніе, когда, перечитывая или перелистывая средневѣковыхъ схоластиковъ, потомъ философовъ теоретической эманципаціи, вдругъ доходишь до Бэкона. Помните ли вы, напримѣръ, какъ въ эпоху мечтательной юности, когда теорія смѣняется теоріей, когда вѣра въ себя и друзей безгранична, когда въ мечтахъ перестроивается наука и міръ и когда восторженныя рѣчи поддерживаютъ поэтическое опьянѣніе,—вдругъ является откуда нибудь человѣкъ практическій, дѣйствительно знающій жизнь, знающій, что на отвлеченіяхъ далеко не уѣдешь, что перевороты въ наукѣ и въ исторіи дѣлаются не такъ-то легко? Помните ли вы, какъ сильно дѣйствовало появленіе такого человѣка, какъ сначала вы отталкивали скептическую и холодную мысль его, устрашенные ею, а потомъ начинали краснѣть своихъ мечтаній, подчинялись пришельцу, ловили его слова, выдавали ему заповѣднѣйшія упованія за наторѣлый, изъ жизни выстроенный взглядъ его, который вамъ казался непогрѣшающимъ. Этотъ практическій пришлецъ—Бэконъ, и вѣроятно, случалось съ вами и то, что когда мало по малу вы найдетесь въ новомъ воззрѣніи, разсмотрите ближе, то вспомянете и о своихъ мечтахъ; онѣ, конечно, мечты, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ была такая ширина, которую жаль отдать за практическую мудрость; все это повторяется, переходя отъ энергическихъ реформаторовъ къ спокойному Бэкону. Это не тревожная, не огненная натура Джордано, не бѣснующійся Карданъ, не эти скитальцы, томимые мыслію, бездомные бродяги, разносившіе съ собою по всѣмъ большимъ дорогамъ Европы восходящее

сознаніе и умственную дѣятельность, не эти гонимые труженики, падавшіе часто на полпути отъ внутренняго разлада и внѣшнихъ страданій — нѣтъ, это пишетъ человѣкъ спокойный, человѣкъ огромнаго ума и огромнаго опыта, канцлеръ, привыкнувшій къ государственнымъ дѣламъ, пэръ, не имѣющій занятія, потому что вычеркнутъ изъ списка пэровъ... Въ душѣ этого человѣка, послѣ разрушительнаго огня самолюбія, честолюбія, власти, почести, богатства, неудачь, тюрьмы, униженій — все выгорѣло; но геніальный умъ остался, да осталось еще воображеніе на столько охлажденное, подвластное разуму, что оно смѣло призывалось имъ бросать пышные цвѣты поэтической рѣчи по царственному пути его ясной, широкой мысли. Въ сочиненіяхъ Бэкона, съ самаго начала поражаетъ необычайная сметливость, дѣльность, практическая рѣзкость и удивительная многосторонность. Бэконъ изощрилъ свой умъ общественными дѣлами; онъ на людяхъ выучился мыслить. Декартъ прятался отъ людей то въ парижскія предмѣстья, то въ Голландію; ему люди мѣшали заниматься: оттого съ Декарта начинается чистое мышленіе, а съ Бэкона — физическія науки; идеализмъ Декарта остался при дуализмѣ; въ мышленіи Бэкона находилось демоническое начало, съ которымъ схоластика часу ужиться не могла. Бэконъ начинаетъ, такъ же, какъ и Декартъ, съ отрицанія существующей, готовой догматики, но у него это отрицаніе не *логическій маневръ*, а практическая поправка; отрицаніе Бэкона поставило человѣка, освободивъ его отъ схоластики, передъ природой; ея самозаконность онъ призналъ съ самаго начала; еще болѣе, онъ хотѣлъ ея *очевидной* объективности покорить своевольную мысль, поврежденную схоластическимъ высокомѣріемъ (Декартъ, совсѣмъ напро-

тивъ, поставилъ природу hors la loi своимъ a priori). Бэконъ скромно указалъ на эмпирію какъ на начальную степень знанія, какъ на средство по явленію, по факту добраться до той всесвязующей сущности, изъ которой Декартъ стремился вывести явленія. Они работали другъ другу въ руки, и если ни они, ни ихъ послѣдователи не встрѣтились, то это не отъ внутренней непримиримости, а оттого, что ни идеализмъ, ни эмпирія не были развиты ни до истинной методы, ни до дѣйствительнаго содержанія. Лейбницъ называетъ картезіанизмъ „сѣнями истины“: мы можемъ по всей справедливости назвать бэконовскую эмпирію — ея кладовою.

О богатствѣ и недостаткахъ этой кладовой мы поговоримъ въ слѣдующемъ письмѣ.*)

Село Соколово. — Іюнь 1845 г.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Бэконъ и его школа въ Англіи

Основная мысль Бэкона до того проста для насъ, что съ перваго взгляда мудрено понять всю ея важность. Мы не разъ имѣли случай замѣчать, что чѣмъ глубже проникаетъ наука въ дѣйствительность, тѣмъ простѣйшія истины открываются ею,— тутъ открываются ей такія истины, которыя *сами собою развиваются;* ихъ простота, какъ простота естественныхъ произведеній, понятна или безъискуственному, *прямому*

*) Бэкона необходимо читать самому; у него вездѣ нежданно, невзначай встрѣчаете мысли поразительной вѣрности и ширины.

воззрѣнію человѣка, нераспадавшагося съ природой, или много трудившемуся разуму, который, въ награду за свой трудъ, освобождается отъ готовыхъ понятій, отъ предварительныхъ полуистинъ; человѣчество вырабатывается до простыхъ истинъ тысячелѣтіями, усиліями величайшихъ геніевъ; истины замысловатыя были во всякое время. Для того, чтобъ возвратиться къ простотѣ пониманья, надобно совершить весь феноменологическій процессъ и снова стать въ естественное отношеніе къ предмету. Практическая, обыденная истина кажется пошлою; все видимое *нами вблизи и часто* представляется незаслуживающимъ вниманія; намъ надобно далекое; *il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre.* Чѣмъ меньше знаетъ человѣкъ, тѣмъ больше презрѣнія къ обыкновенному, къ окружающему его. Разверните исторію всѣхъ наукъ — онѣ непремѣнно начинаются не наблюденіями, а магіей, уродливыми, искаженными фактами, выраженными іероглифически, и оканчиваются тѣмъ, что обличаютъ сущностью этихъ тайнъ, этихъ мудреныхъ истинъ, истины самыя простыя, до того извѣстныя и обыкновенныя, что объ нихъ вначалѣ никто и думать не хотѣлъ. Въ наше время, еще не совсѣмъ искоренился предразсудокъ, заставляющій ожидать въ истинахъ науки чего-то необыкновеннаго, *недоступнаго толпѣ,* неприлагаемаго къ жалкой юдоли нашей жизни. До Бэкона такъ думали всѣ, и онъ смѣло возсталъ противъ этого. Дуализмъ, истощенный въ предшествовавшую эпоху, перешелъ въ какое-то тихое и безнадежное безуміе въ мірѣ протестантскомъ,— Бэконъ указалъ на пустоту кумировъ и идоловъ, которыми была биткомъ набита наука его времени, и требовалъ, чтобъ люди отреклись отъ нихъ, чтобъ они возвратились къ дѣтски простому отношенію, къ природѣ. Не

легко было возвратиться къ естественному пониманію умамъ, искаженнымъ схоластикой. Сжатый, подавленный умъ средневѣковыхъ мыслителей питалъ подъ скромной власяницей своей формалистики безумно гордое притязаніе на власть; не истинное, не святое право разума и нераздѣльная съ нимъ мощь мысли нравились имъ,— нѣтъ, они стремились къ покоренію естественныхъ явленій своевольному капризу, къ произвольному ниспроверженію законовъ природы. Люди отвлеченные, книжные, затворники, они не знали ни природы, ни жизни, и между тѣмъ, и природа и жизнъ ихъ страшили чѣмъ то невѣдомымъ, полнымъ мощи, увлекающимъ; повидимому, они презирали и ту и другую, но это была одна изъ безчисленныхъ лжей того времени; они понимали, что не легко совладѣть съ природой—и со всѣмъ безграничнымъ властолюбіемъ скованнаго невольника стремились покорить ее своему духу. Благородный интересъ знанія превращался, въ ихъ душѣ, въ нечистое упоеніе своею властью, такъ какъ кроткое чувство любви въ душѣ Клода Фролло превращалось въ ядовитый порокъ. Посмотрите на алхимика передъ его горномъ,—на этого человѣка, окруженнаго магическими знаками и страшными снарядами: отчего эта блѣдность щекъ, этотъ судорожный видъ, это трепетное дыханіе? Оттого, что въ этомъ человѣкѣ не цѣломудренная любовь къ истинѣ, а сладострастное пытаніе, насиліе; оттого, что онъ *дѣлаетъ* золото, гомункула въ ретортѣ. Объективность предмета ничего не значила для высокомѣрнаго эгоизма среднихъ вѣковъ; въ себѣ, въ сосредоточенной мысли, въ распаленной фантазіи находилъ человѣкъ весь предметъ, а природа, а событія призывались, какъ слуги, *помочь въ случаѣ нужды и выйдти вонъ.* Реформація не могла исторгнуть людей изъ этого направленія; она

еще болѣе толкнула умы въ отвлеченныя сферы; она придала католической наукѣ, подчасъ страстной и энергической, какую-то холодную и мертвую обдуманность; протестантизмъ, вмѣсто сердца, развилъ свой томный и слезливый Gemüth. Самый эксцентрическій, самый уродливый мистицизмъ быстро распространялся въ Швеціи, Англіи и Германіи, рядомъ съ совершенно формальнымъ теологическимъ направленіемъ пуританизма, пресвитеріанизма, образцы которыхъ вы имѣете въ „Вудстокѣ“ и въ „Шотландскихъ Пуританахъ.“

Среди всего этого явился человѣкъ, который сказалъ своимъ современникамъ: „Посмотрите внизъ; посмотрите на эту природу, отъ которой вы силитесь улетѣть куда-то; сойдите съ башни, на которую взобрались и откуда ничего не видать; подойдите поближе къ міру явленій—изучите его: вы вѣдь не убѣжите изъ природы: она со всѣхъ сторонъ, и ваша мнимая власть надъ ней—самообольщеніе; природу можно покорять только ея собственными орудіями, а вы ихъ не знаете; обуздайте же избалованный легкой и безплодной логомахіей умъ вашъ на столько, чтобъ онъ занялся дѣломъ, чтобъ онъ призналъ несомнѣнное событіе васъ окружающей среды, чтобъ онъ склонился предъ повсюднымъ вліяніемъ природы—и начинайте, проникнутые уваженіемъ и любовью, трудъ добросовѣстный.“ Многіе, услышавъ слова эти, отложили безполезное блужданіе по схоластическимъ топямъ словъ и дѣйствительно принялись за работу самоотверженно; съ легкой руки Бэкона началось движеніе въ физическихъ наукахъ, движеніе, развившееся потомъ до Ньютона, Линнея, Бюффона, Кювье... Другіе съ негодованіемъ услышали странную рѣчь веруламскаго лорда, и злоба ихъ была такъ сильна, что черезъ двѣсти лѣтъ графъ Местръ счелъ еще нужнымъ *уничтожить*

Бэкона и показать, что ненависть къ нему еще жива въ *любящихъ* сердцахъ обскурантовъ. Но въ чемъ же существенная мысль бэконова ученія?

До Бэкона, наука начиналась общими мѣстами; откуда брались эти общія мѣста — никто не зналъ: схоластическая наука думала, что Кай смертенъ, *потому,* что человѣкъ смертенъ. Бэконъ сталъ доказывать совсѣмъ напротивъ, что мы вправѣ сказать: человѣкъ смертенъ, потому что Кай смертенъ. Тутъ не перестановка словъ, а нѣчто побольше. Событіе, эмпирическое событіе, получило право первой посылки, логическое anterioritatis. Вы видите тутъ главный пріемъ Бэкона: онъ состоитъ въ томъ, чтобъ идти отъ частнаго, отъ опыта, отъ наблюдаемаго событія къ обобщенію, взаимнымъ сличеніемъ между собою всего полученнаго сознаніемъ. Опытъ у Бэкона не есть страдательное воспрининаніе внѣшняго во всей случайности его; напротивъ, онъ сознательное взаимодѣйствіе мысли и внѣшняго, ихъ совокупная дѣятельность, при развитіи которой Бэконъ не дозволяетъ ни мысли забѣгать, дѣлая заключенія, на которыя она не имѣетъ еще права, ни опытамъ оставаться механической грудой свѣдѣній „непережженныхъ мыслію.“ Чѣмъ обширнѣе и богаче сумма наблюденій, тѣмъ незыблемѣе право раскрывать общія нормы наведеніемъ; но, раскрывая ихъ, недовѣрчивый, осторожный Бэконъ требуетъ снова погруженія въ потокъ явленій, на поискъ или обобщающаго подтвержденія, или ограничивающаго опроверженія.

До Бэкона опытъ былъ случайностью; на немъ основывались даже меньше, чѣмъ на преданіи, не говоря уже объ умозрѣніи. Онъ возвелъ его и въ необходимый, начальный моментъ вѣдѣнія, и въ моментъ, сопутствующій потомъ всему развитію знанія,—въ моментъ,

предлагающій на каждомъ шагу повѣрку, останавливающій своей опредѣленной непреложностью, своей конкретной многосторонностью, наклонность отвлеченнаго ума подниматься въ изрѣженную среду метафизическихъ всеобщностей. Бэконъ столько же вѣрилъ разуму, сколько природѣ, но онъ болѣе всего вѣрилъ, когда они заодно, потому что провидѣлъ ихъ единство. Онъ требовалъ, чтобъ разумъ выходилъ на дорогу, опираясь на опытъ, рука въ руку съ природой; чтобъ природа вела его, какъ своего питомца, до тѣхъ поръ, пока онъ въ состояніи вести ее къ полному просвѣтленію въ мысли.

Это было ново, чрезвычайно ново и чрезвычайно велико; это было воскресеніе реальной науки, instauratio magna. Бэконъ имѣлъ полное право дать это заглавіе своей книгѣ: его книгой началось великое возрожденіе науки. Хотя онъ и говоритъ: „мое твореніе принадлежитъ не столько моему духу, сколько духу времени,“ но честь и хвала тому первому, въ которомъ воплощается духъ времени и которымъ онъ передается; двойная хвала, если онъ сознаетъ себя только органомъ духа времени, а не личностью, стремящейся подавить собою современниковъ! Эта скромность не мѣшала, однакожь, Бэкону чувствовать мощь свою. Когда онъ началъ свой трудъ, наука, по всѣмъ отраслямъ ея, была въ самомъ жалкомъ положеніи; Бэконъ безбоязненно потребовалъ передъ свой судъ всю современную систему свѣдѣній, въ ея готическомъ нарядѣ — и осудилъ ее. Помнится, кто-то сравнилъ его съ полководцемъ, дѣлающимъ смотръ войскамъ; да, именно, это спокойный вождь, осматривающій передъ боемъ полки свои. Всѣ отрасли вѣдѣнія человѣческаго прошли мимо его, и онъ осмотрѣлъ каждую, каждой указалъ ея недостатки, каждой далъ совѣтъ, и все это съ той про-

стотой генія, которому такое самоуправство потому естественно, что онъ довлѣетъ своею мощью исполнить то, что хочетъ. Не думайте, что Бэконъ ограничился однимъ общимъ указаніемъ на опытъ и наведеніе; онъ развертываетъ свою методу до малѣйшихъ подробностей, учитъ примѣрами, толкуетъ, объясняетъ, повторяетъ свои слова, чтобъ только достигнуть ясности. и тутъ на каждомъ шагу вы поражены богатыми средствами этого ума, страшной по тому времени ученостью и совершенной противоположностью средневѣковой манерѣ. Даже въ веселомъ тонѣ его, въ улыбкѣ, которая иногда пробивается сквозь самую серьезную матерію, вы видите что-то наше, безъ ходуль, безъ докторской шапки, безъ натянутой важности схоластиковъ.

Метода Бэкона не болѣе, какъ личное (субъективное) и внѣшнее предмету средство пониманія. Онъ самъ разомъ выразилъ и глубоко практическій характеръ своего воззрѣнія и субъективность своей методы слѣдующими словами: „Достоинство хорошей методы состоитъ въ томъ, что она *уравниваетъ способности*; она вручаетъ всѣмъ средство легкое и вѣрное. Дѣлать кругъ отъ руки трудно, надобно навыкъ и проч.; циркуль стираетъ различіе способностей и даетъ каждому возможность дѣлать кругъ самый правильный.“ Съ логической точки, это глубоко человѣчественное воззрѣніе, конечно, не оправдано, но тѣмъ не менѣе его меметода имѣетъ огромный, исторически объективный смыслъ; впрочемъ, и въ ней, какъ вообще въ реализмѣ, философскаго значенія все таки болѣе, чѣмъ высказано словами. Бэконъ приковалъ своей методой науку къ природѣ, такъ что философія и естествовѣдѣніе должны или вмѣстѣ стоять, или вмѣстѣ идти;

это было фактическое признаніе единства мысли и бытія. Эмпирія Бэкона проникнута, оживлена мыслію — это всего менѣе оцѣнили въ немъ. Не изъ ограниченности держится онъ одного опыта, а потому что онъ считаетъ его началомъ, первой ступенью, которую миновать нельзя; для него опытъ средство раскрытія „вѣчныхъ и неизмѣнныхъ формъ природы," а форму онъ опредѣляетъ всеобщимъ, родомъ, идеей, но не отвлеченной идеей, а какъ fons emanationis, какъ natura naturans, какъ животворящее начало, исполняющееся частными опредѣленіями предмета, какъ источникъ, изъ котораго истекаютъ его различія, его свойства, источникъ, нерасторгаемый съ самою вещью. Субъективный эмпиризмъ у Бэкона больше на словахъ, въ неловкости языка, въ реакціонномъ страхѣ сближенія съ схоластикой; но не надобно забывать, что такой человѣкъ не могъ не выработаться не только до того, что лежитъ въ его методѣ, но и до многаго, чего строго вывести по его методѣ нельзя. Декартъ далеко выше Бэкона методою, и далеко ниже результатомъ, потому что Декартъ абстрактный человѣкъ. Конечно, на Бэкона падетъ доля односторонности, въ которую впала большая часть его послѣдователей; но онъ самъ былъ далекъ отъ грубой эмпиріи. Вотъ его слова: „эмпирики безпрерывно роются, ищутъ, и если найдутъ чего искали, выдумываютъ что нибудь новое и опять ищутъ; ихъ трудъ дробится, не обобщаясь; они ходятъ въ потемкахъ, ощупью: лучше было бы съ самаго начала входить съ зажженной свѣчей разума." „Въ естественныхъ наукахъ преобладаетъ желаніе дѣлить, находить различія, различія различій, и т. д. Этимъ путемъ невозможно изучать природу; аналогія, общія воззрѣнія раскрывающія единство, — необходимы." „Есть умы,

болѣе способные наблюдать, дѣлать опыты, изучать частности, оттѣнки; другіе, напротивъ, стремятся проникнуть въ сокровеннѣйшія сходства, обобщить полученныя понятія. Первые, теряясь въ частностяхъ, ничего не видятъ, кромѣ атомовъ; другіе, расплываясь во всеобщностяхъ, теряютъ все отдѣльное, замѣщая его призраками... ни атомы, ни отвлеченная матерія, лишенная всякаго опредѣленія, не дѣйствительны; дѣйствительны *тѣла, такъ, какъ они существуютъ въ природѣ*... Не надобно увлекаться ни въ ту, ни въ другую сторону; для того, чтобъ сознаніе углублялось и расширялось, надобно, чтобъ эти два воззрѣнія *преемственно переходили другъ въ друга*". Понимая это, Бэконъ устремлялъ, однако, всю умственную дѣятельность на опытъ, на изслѣдованія и наблюденія, потому что онъ считалъ опытъ началомъ науки, потому что онъ ясно видѣлъ гибельное вліяніе силлогистической распущенности и метафизической неосновательности, при недостаткѣ фактическихъ свѣдѣній. Онъ очень хорошо понималъ, что собраніе и сличеніе однихъ опытовъ не есть наука, но онъ понималъ и то, что нѣтъ науки безъ фактическихъ свѣдѣній. „Мы торопимся" говоритъ онъ „придать наукообразную форму бѣдной системѣ истинъ, узнанныхъ нами, и тѣмъ самымъ останавливаемъ ходъ открытій, приращеній. Молодые люди, сложившіеся и получившіе видъ совершеннолѣтія, перестаютъ расти. Пока наука составляетъ массу открываемыхъ свѣдѣній, все вниманіе обращено на новыя открытія." Онъ не хотѣлъ замкнутой цѣлости прежде полноты содержанія; онъ хотѣлъ лучше трудную работу, нежели незрѣлый плодъ. Метода Бэкона чрезвычайно скромна: она проникнута уваженіемъ къ предмету, она приступаетъ къ нему съ тѣмъ, чтобъ научиться, а не съ тѣмъ,

чтобъ вынудить изъ предмета насильственное оправданіе впередъ заготовленной мысли; она стремится все привести къ сознанію: „то, говоритъ Бэконъ: — что достойно существовать, — достойно быть знаемо.“ Онъ умѣлъ найдти дѣйствительное и истинное даже тамъ, гдѣ мы обыкновенно видимъ суетную призрачность*).

Геній Бэкона, положительный, чисто англійскій, не имѣлъ органа для схоластической метафизики; вопросы тогдашней философіи его вовсе не занимали. Онъ какъ Декартъ, началъ съ отрицанія,—но съ отрицанія практическаго; онъ отбросилъ старую догматику, потому что она была негодна; онъ возмутился противъ авторитетовъ, потому что они тѣснили самобытность ума. „Наше понятіе“ говоритъ онъ „о древнихъ авторитетахъ поверхностно; старѣе нѣтъ эпохи, какъ та, въ которой мы живемъ. Когда жили предки наши, міръ былъ моложе; они жили въ юномъ времени, мы зрѣлѣе ихъ. Совершеннолѣтній судитъ основательнѣе отрока.“ Подрывая авторитеты прошедшаго, Бэконъ указывалъ людямъ впередъ; тамъ, въ будущемъ, цѣною ихъ усилій должна раскрыться истина; онъ доказывалъ, что, оборачиваясь назадъ, по совѣту схоластиковъ, ея не найдешь, что истина искомое, а не потерянное; отрицаніе авторитетовъ у него неразрывно съ вѣрою въ прогрессъ. Отринувъ безплодную догматику, онъ очутился лицомъ къ лицу съ природой и тотчасъ началъ изучать ее, изслѣдовать какъ фактъ, неподлежащій никакому сомнѣнію; отрицать природу ему и въ голову не приходило; для него отрицать природу было все равно, что отрицать свое собственное тѣло; въ такомъ отри-

*) Напримѣръ, въ его „Новомъ Органонѣ“ нашли себѣ мѣсто не только гимнастика, но и косметика, даже теорія роскоши.

цаніи, для человѣка, какъ Бэконъ,—очевидное безуміе, безвыходный, тяжелый мракъ; Бэконъ знаетъ, наприм., что чувства обманчивы, но такое знаніе ведетъ его къ практической истинѣ дѣлать много опытовъ, многими лицами повѣрять другъ друга. Вѣра Бэкона въ разумъ и въ природу непоколебимы; онъ съ такимъ же отвращеніемъ говоритъ о скептицизмѣ, какъ объ метафизикѣ; это совершенно послѣдовательно въ немъ; ему надобны знанія, свѣдѣнія, а не мучительные стоны о безсиліи ума и неуловимости истины; ему надобно дѣятельное развитіе, ему надобна истина и ея практическое приложеніе, онъ считаетъ *ничтожною* философію, не ведущую къ дѣлу; для него знаніе и дѣяніе — двѣ стороны одной энергіи. Человѣкъ, такъ думающій, всего менѣе способенъ къ романтизму, къ мистицизму и къ схоластикѣ.

Теперь вы видите, что Бэконъ и Декартъ были въ наукѣ представителями двухъ враждебныхъ основаній средневѣковой жизни; въ нихъ и ими противорѣчіе дуализма выразилось самымъ яркимъ и рѣзкимъ образомъ. Оба направленія — идеализмъ и эмпирія, при послѣдователяхъ Декарта и Бэкона, до того доходили въ формальномъ противорѣчіи, что, по діалектической необходимости, перегибались другъ въ друга, и противоположная сторона, непосредственно заключенная въ одностороннемъ воззрѣніи, получала голосъ. Вы помните, что мысль человѣческая, при возрожденіи ея дѣятельности въ началѣ XVI вѣка, являлась совсѣмъ не такъ исключительно, что, напротивъ, она снимала восторженнымъ предузнаніемъ дуализмъ схоластическаго воззрѣнія. Таковъ былъ взглядъ Джордано Бруно и его послѣдователей: они видѣли во всей природѣ, во всей вселенной одну всеобщую жизнь; все казалось имъ

оживлено ею; былинка и планета, человѣкъ и трупъ—равно носители ея—и все она стремится къ сознательному единству мысли, свободно пребывая и повторяясь въ многоразличіи сущаго. Но ни наука не имѣла силъ развить это воззрѣніе, ни умъ средневѣковой перейдти отъ своихъ романтическихъ, мрачныхъ грезъ къ такому свѣтлому пониманію. То было пророческое указаніе, цѣль будущаго наукообразнаго развитія, явившаяся въ началѣ шествія; удержаться на этой высотѣ не было еще возможности. Въ исторіи часто бываютъ такіе примѣры; при самомъ началѣ переворота, идея его проявляется во всемъ блескѣ, но въ непереводимой всеобщности; вскорѣ, къ ужасу и отчаянію дѣятелей, это обличается, свѣтлая идея тускнетъ отъ обстоятельствъ, пропадаетъ, гибнетъ — и современники не понимаютъ, что она гибнетъ, какъ зерно,—для того, чтобъ потомъ, искусившись всѣми противорѣчіями и вооружившись всѣмъ, что могла дать среда, явиться побѣдоносною и торжествующею. Ни Бэконъ, ни Декартъ не могли остановиться на одномъ провидѣніи, какъ Бруно; они хотѣли бо̀льшаго и сдѣлали бо̀льшее; но основная идея Бруно выше ихъ идеи. Бэконъ не былъ противъ науки *людей предчувствія*: онъ самъ, какъ мы уже говорили, былъ полонъ предугадыванія; но англичанинъ, дѣлецъ — онъ хотѣлъ опростить вопросъ, сдѣлать его какъ можно болѣе положительнымъ; онъ намѣренно отворачивался отъ нѣкоторыхъ сторонъ, чтобъ хорошенько высмотрѣть одну—именно эмпирическую. Послѣдователи его доказали, *что они лучше ничего не просятъ,* какъ сидѣть въ односторонности. Не доставало только ученія прямо противоположнаго Бэкону, чтобъ старый вопросъ дуализма *переродился* въ новую борьбу, чтобъ отринутая жизнь, практическіе интересы, физическія событія

стали съ одной стороны, а разумъ, какъ сущность, какъ мышленіе и самопознаніе съ пренебреженіемъ къ бытію, съ вѣрою въ свои начала — съ другой. Это направленіе явилось, какъ вы знаете, въ Декартѣ. Единство мысли и жизни, начинавшее просвѣчивать со всею прелестью отрочества у Бруно, снова расторглось; дуализмъ нашелъ новый языкъ, но такой языкъ, который непремѣнно велъ къ отчаяннѣйшей крайности идеализма и къ таковой же матеріализма, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ выходу изъ всякаго дуализма. Вопросъ дуализма рѣшался тутъ не въ *жизни*, не гвельфами и гибелинами, а въ теоретической сферѣ отвлеченнаго мышленія, —и къ этому средневѣковая мысль не могла не прійдти; иначе она не была бы вѣрна своему историческому происхожденію. Никогда въ древнемъ мірѣ мысль не приходила къ полному сознанію своей противоположности съ бытіемъ: въ новой наукѣ, она является въ зломъ междоусобіи: такой бой не могъ остаться безслѣденъ. Скажемъ просто — и это нисколько не будетъ преувеличено,—идеализмъ стремился уничтожить вещественное бытіе, принять его за мертвое, за призракъ, за ложь, за ничто, пожалуй, потому что быть одной случайностью сущности *весьма немного.* Идеализмъ видѣлъ и признавалъ одно всеобщее, родовое, сущность, разумъ человѣческій, отрѣшенный отъ всего человѣческаго; матеріализмъ, точно также односторонній, шелъ прямо на уничтоженіе всего невещественнаго, отрицалъ всеобщее, видѣлъ въ мысли отдѣленіе мозга, въ эмпиріи единый источникъ знанія, а истину признавалъ въ однѣхъ частностяхъ, въ однѣхъ вещахъ, осязаемыхъ и зримыхъ; для него былъ разумный человѣкъ, но не было ни разума, ни человѣчества. Словомъ, они были противоположны во всемъ, какъ правая и лѣвая рука;

и никто не догадывался, что та и другая идутъ изъ одной груди и необходимы для цѣлости организма. Логически, обѣ стороны дѣлали ошибки поразительныя, обѣ не умѣли сдѣлать и шага изъ своихъ началъ, не захвативъ чего либо изъ противоположнаго начала,—и по большей части дѣлали не то, чего хотѣли. Идеализмъ начинаетъ съ *a priori*, онъ отвергаетъ опытъ, онъ хочетъ начать съ *Cogito ergo sum*, а на самомъ дѣлѣ начинаетъ съ врожденныхъ идей, забывая, что врожденныя идеи представляютъ эмпирическое событіе, которое они принимаютъ, а не выводятъ, и разрушаютъ такимъ образомъ a priori. Идеализмъ хочетъ всю дѣйствительность, весь разумъ предоставить духу, и признаетъ въ то же время матерію за имѣющую въ себѣ независимое и самобытное начало существованія, вслѣдствіе котораго протяженіе гордо становится рядомъ съ мышленіемъ, какъ чуждое ему; у идеализма всегда являются всеобщими, впередъ идущими идеями именно тѣ истины, которыя надобно вывести. Матеріализмъ имѣлъ у себя въ запасѣ точно такія же впередъ идущія истины, которыхъ вывести не могъ. Юмъ совершенно правъ, говоря, что матеріалисты *повѣрили* достовѣрности опыта. Матеріализмъ ставитъ безпрерывно вопросъ: „знаніе наше истинно ли?“—и отвѣчаетъ на него отвѣтомъ на совершенно другой вопросъ,—на вопросъ: „откуда мы получаемъ наши знанія?“ Онъ превосходно сдѣлалъ, что начиналъ всякій разъ съ феноменологіи знанія,—но онъ не оставался вѣренъ своему началу отчетливаго наблюденія; иначе онъ не могъ бы не видѣть, что мысль, истина, имѣетъ источникомъ дѣятельность разума, а не внѣшній предметъ, дѣятельность, возбуждаемую опытомъ—это совершенно справедливо, но самобытную и развивающуюся мысль по своимъ законамъ;

помимо ихъ, всеобщее не могло бы развиться, ибо частное вовсе неспособно само собою обобщаться. Матеріалисты не поняли, что эмпирическое событіе, попадая въ сознаніе, столько же психическое событіе. Матеріализмъ хотѣлъ создать чисто *эмпирическую науку*, не понимая, что тутъ contradictio in adjecto, что опытъ и наблюденіе, страдательно принимаемые и приводимые въ порядокъ внѣшнимъ разсужденіемъ, даютъ дѣйствительный матеріалъ, но не даютъ формы, а наука есть именно форма самосознанія сущаго. Всѣ хлопоты матеріализма, всѣ его тонкіе анализы умственныхъ способностей, происхожденія языка и сцѣпленія идей, оканчиваются тѣмъ, что частныя явленія, событія — истинны и дѣйствительны; безспорно, что событія внѣшняго міра истинны, и неумѣніе признать этого со стороны идеализма — сильное доказательство его односторонности; внѣшній міръ (какъ мы сказали въ одномъ изъ прежнихъ писемъ) — „обличенное доказательство своей дѣйствительности“; онъ потому и существуетъ, что онъ истиненъ: это такъ же безспорно, какъ и то, что внутренній міръ (т. е. мышленіе), что actus purus разума тоже истиненъ и тоже дѣйствительное событіе; дѣло совсѣмъ не въ этомъ признаніи, а въ связи, въ переходѣ внѣшняго во внутреннее, въ пониманіи дѣйствительнаго единства ихъ; безъ этого мало поможетъ сознаніе, что предметъ истиненъ: человѣкъ не будетъ имѣть средствъ уловить его. Матеріализмъ со стороны сознанія, методы, стоитъ несравненно ниже идеализма. Еслибъ матеріализмъ былъ философски логиченъ, онъ перешелъ бы свои границы, пересталъ бы быть собою, а потому на видимой непослѣдовательности его воззрѣнія останавливаться нѣчего — мы ее впередъ должны предполагать. Онъ имѣлъ другое великое значеніе, *чи-*

*сто практическое**), жизненное, прикладное; въ его рукахъ была вся масса свѣдѣній человѣческихъ, имъ она разработана, имъ обслѣдована, и онъ благородно употребилъ ее на улучшеніе матеріальнаго и общественнаго благосостоянія людей, на разсѣяніе предразсудковъ, на собираніе фактовъ. Нелѣпости его ученія проходятъ и пройдутъ, истинное и благое осталось и останется; этого забывать не надобно изъ-за логическихъ ошибокъ.

Мудрено, кажется, повѣрить,—а матеріализмъ и идеализмъ до нашего времени остаются при взаимномъ непониманіи. Очень хорошо знаю я, что нѣтъ брошюры, въ которой бы идеализмъ не говорилъ объ этомъ антагонизмѣ, какъ о прошедшемъ; что нѣтъ ни одного дѣльнаго эмпирика, который бы не сознался, что безъ всеобщаго взгляда, безъ умозрѣнія опыты не даютъ всей пользы,—но это вялое признаніе бѣдно и безплодно**). Того ли можно было ожидать послѣ плодотворныхъ, великихъ идей, брошенныхъ въ оборотъ великимъ Гёте, потомъ Шеллингомъ и Гегелемъ! Порядочные люди

*) Было время, когда идеализмъ въ Германіи ставилъ себѣ въ достоинство свою *ненужность, непрактичность*, и презрительно отзывался объ утилитаризмѣ филантропическихъ и моральныхъ ученій шотландскихъ, англійскихъ и французскихъ мыслителей; въ то же время идеалисты проповѣдывали противъ фактическихъ наукъ, выдавая себя за натуры высшія, чуждыя міру практической дѣятельности. Имъ не приходило въ голову, что человѣкъ, считающій себя чуждымъ современности, непрактическій, по большой части не высшая натура, а пустой человѣкъ, мечтатель, романтикъ, жертва искусственной цивилизаціи. Греки не поняли бы этой мысли: такъ нелѣпа она. Мысль себя отчужденія отъ жизни могла выработаться только въ мрачныхъ и запертыхъ кабинетахъ книжныхъ ученыхъ и при томъ въ Германіи, которой общественная жизнь, послѣ вестфальскаго мира, была не изъ блестящихъ.

**) Я исключаю нѣкоторыя попытки, сдѣланныя очень недавно въ Германіи и даже во Франціи.

нашего времени сознали необходимость сочетанія эмпиріи съ спекуляціей, но на теоретической мысли этого сочетанія и остановились. Одна изъ отличительныхъ характеристикъ нашего вѣка состоитъ въ томъ, что мы *все знаемъ и ничего не дѣлаемъ*; на науку пенять нельзя: она, какъ мы имѣли случай замѣтить, отражаетъ очищенными, приводитъ въ сознаніе обобщенными тѣ элементы, которые находятся въ жизни, ее окружающей. Жанъ Поль Рихтеръ говоритъ, что въ его время, чтобъ примирить противоположности, брали долю свѣта и долю тьмы и мѣшали въ банкѣ, — изъ этого выходили обыкновенно премилые *сумерки*. Это-то неопредѣленное entre chien et loup и нравится нерѣшительному и апатическому большинству современнаго міра. Но возвратимся къ Бэкону.

Вліяніе Бэкона было огромно; мнѣ кажется, что и Гегель не вполнѣ оцѣнилъ его. Бэконъ, какъ Коломбъ, открылъ въ наукѣ новый міръ, именно тотъ, на которомъ люди стояли споконъ вѣка, но который забыли, занятые высшими интересами схоластики; онъ потрясъ слѣпую вѣру въ догматизмъ, онъ уронилъ въ глазахъ мыслящихъ людей старую метафизику. Послѣ него начинается безпрерывное противодѣйствіе схоластическимъ трансцендентальнымъ теоріямъ, во всѣхъ областяхъ вѣдѣнія, со всѣхъ сторонъ; послѣ него начинается трудъ, неутомимая, самоотверженная работа наблюденій, изъисканій добросовѣстныхъ, посильныхъ; являются ученыя общества испытателей природы въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ разныхъ мѣстахъ Италіи; дѣятельность натуралистовъ усугубилась, сумма событій и фактовъ росла пропорціонально съ уничтоженіемъ метафизическихъ призраковъ — „этихъ словъ,“ какъ говоритъ Бэконъ, „безъ всякаго значенія, затемняющихъ

простой, пытующій взглядъ, представляя ему превратное пониманіе природы.“ Многообъемлемость Бэкона не могла перейдти къ его послѣдователямъ; ихъ односторонность очень понятна: свѣтлые и дѣльные умы, долго жившіе въ праздности, получили дѣло, предметъ живой, многосторонній, совершенно новый и притомъ плативший за трудъ вовсе нежданными открытіями, разливавшими свѣтъ на цѣлые ряды явленій; это не томное и сухое развитіе hocceitatis и quiditatis, выводимыхъ изъ за лѣса логическихъ стропилъ, уродливыхъ, ненужныхъ и перемѣшанныхъ съ цитатами,—нѣтъ, это что-то такое, въ чемъ бьется сердце, теплое при прикосновеніи руки; испытавъ магнитическую силу занятій по части естествовѣдѣнія и вообще практическими предметами, могли ли эти люди безъ ненависти говорить о метафизикѣ? всѣ они смолода были пытаемы перипатетическими экзерциціями, всѣ они изучали искаженнаго Аристотеля: могли ли они не отдаться вполнѣ, несправедливо, односторонно естествовѣдѣнію? Впрочемъ, въ ихъ отрицаніи нѣтъ той ограниченности, которая явилась впослѣдствіи, когда матеріализмъ самъ вздумалъ оставить роль инсургента и обзавестись своей метафизической управой, своей теоріей, съ притязаніемъ на философію, логику, объективную методу, то есть на все то, отсутствіе чего составляло его силу. Эта систематика матеріализма начинается гораздо позже, съ Локка; они во многомъ ошибались—но не впадали въ самую догматику. Первые послѣдователи Бэкона были не таковы; въ числѣ ихъ Гоббъ—человѣкъ страшный въ своей безбоязненной послѣдовательности; ученіе этого мыслителя, о которомъ Бэконъ говорилъ, что онъ его понимаетъ лучше всѣхъ современниковъ, мрачно и сурово; онъ все духовное поставилъ внѣ своей науки;

онъ отрицалъ всеобщее и видѣлъ одинъ безпрерывный потокъ явленій и частностей,—потокъ въ себѣ начинающійся и въ себѣ оканчивающійся. Онъ въ закоснѣлой, свирѣпой мысли своей не нашелъ доказательствъ ничему божественному; печальный зритель страшныхъ переворотовъ, онъ понялъ только черную сторону событій; для него люди были врожденными врагами, изъ эгоистической пользы соединившіеся въ общества, и еслибъ ихъ не держала взаимная выгода, они бросились бы другъ на друга. На этомъ основаніи, его уста не дрогнули, съ мужествомъ цинизма, въ глаза своему отечеству, Англіи, высказать, что онъ въ одномъ деспотизмѣ находитъ условіе гражданскаго благоустройства. Гоббъ испугалъ своихъ современниковъ: его имя наводило ужасъ на нихъ. Не такимъ встрѣчается намъ южный матеріализмъ, въ странѣ, гдѣ нѣкогда жилъ Лукрецій; онъ явился тамъ въ своемъ прежнемъ уборѣ: аббатъ Гассенди воскресилъ эпикуреизмъ и ученіе объ атомахъ; но его эпикуреизмъ былъ имъ приведенъ въ согласіе съ католической догматикой, и такъ хорошо, что іезуиты находили, что его philosophia corpuscularis несравненно согласнѣе съ ученіемъ римской церкви о таинствахъ, нежели картезіанизмъ. Атомы Гассенди очень просты: это тѣ же атомы, съ которыми мы встрѣтились у Демокрита, тѣ же *безконечно*-малыя, незримыя, *неуловимыя* и неуничтожаемыя частицы, служащія основою всѣмъ тѣламъ и всѣмъ явленіямъ; сочетаваясь, дѣйствуя другъ на друга, двигаясь и двигая, эти атомы производятъ всѣ многоразличныя физическія явленія, пребывая неизмѣнными. Нельзя не замѣтить, что Гассенди говоритъ очень положительно о несокрушимости вещества; мысль эта, сколько мнѣ извѣстно, попадается впервые мелькомъ у Тилезія; она есть и у Бэ-

кона, но Гассенди превосходно выразилъ ее: „вещественное бытіе," говоритъ онъ, „имѣетъ великое право за собою; вся вселенная не можетъ уничтожить существующаго тѣла." Понятно, что рѣчь идетъ только о бытіи, а не о формѣ и качественномъ опредѣленіи. У Гассенди проглядываетъ замашка натуралистовъ позднѣйшихъ временъ ссылаться на ограниченность ума человѣческаго; онъ чувствуетъ самъ недостатокъ своихъ теорій — и оставляетъ ихъ, какъ были. Эти недостатки выкупаются у него (опять точно такъ же, какъ у натуралистовъ) умнымъ и дѣльнымъ изложеніемъ своихъ свѣдѣній о природѣ. Гассенди, такъ какъ потомъ Ньютона, не слѣдуетъ почти судить какъ философовъ: они великіе дѣятели науки, но не философы. Тутъ нѣтъ противорѣчія, если вы согласились, что дѣйствительное содержаніе выработывалось внѣ философской методы. Англичане, называющіе Ньютона великимъ философомъ, не знаютъ, что говорятъ. Назвавъ Ньютона, позвольте сказать объ немъ нѣсколько словъ. Его воззрѣніе на природу было чисто механическое. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, заключить, что онъ былъ картезіанецъ: онъ такъ мало имѣлъ симпатіи къ Декарту, что, прочитавъ 8 страницъ въ его сочиненіяхъ (по собственному признанію), онъ сложилъ книгу и больше никогда не раскрывалъ. Механическое воззрѣніе, впрочемъ, и помимо Декарта, царило тогда надъ умами. Страсть къ отвлеченнымъ теоріямъ была такъ сильна въ XVII вѣкѣ, что ни въ чемъ несоглашавшіеся между собою послѣдователи Декарта и Бэкона встрѣтились на механическомъ построеніи природы, на желаніи привести всѣ законы ея въ математическія выраженія и съ тѣмъ вмѣстѣ подвергнуть ихъ математической методѣ. Ньютонъ продолжалъ дѣло, начатое Галлилеемъ. Галлилей

стоялъ совершенно на той же почвѣ, на которой впослѣдствіи сталъ Ньютонъ; для Галлилея тѣло, вещество было нѣчто мертвое, дѣятельное одною косностью, а сила — нѣчто иное, извнѣ приходящее. Математика необходимо должна входить во всѣ отрасли естествовѣдѣнія; количественныя опредѣленія чрезвычайно важны, почти всегда неразрывны съ качественными; измѣненіе однихъ связано съ измѣненіемъ другихъ; однѣ и тѣ же составныя части въ разныхъ пропорціяхъ даютъ все многоразличіе органическихъ тканей, все многоразличіе формъ неорудной и орудной кристаллизаціи. Ясное дѣло, что математика имѣетъ огромное мѣсто въ физіологіи, не говоря уже о болѣе отвлеченныхъ наукахъ, какъ физика, или о исключительно количественныхъ, какъ астрономія и механика. Математика вноситъ въ естествовѣдѣніе логику a priori, ею эмпирія признаетъ разумъ; выразивъ простымъ языкомъ ея законы, ряды явленій раскрываютъ неподозрѣваемыя соотношенія и послѣдствія, не сомнѣваясь въ дѣйствительности вывода. Все это такъ; но *одно* математическое воззрѣніе (какъ бы оно ни довлѣло себѣ) не можетъ обнять всего предмета естествовѣдѣнія; въ природѣ остается *нѣчто,* ей неподлежащее. Категорія количества — одно изъ существеннѣйшихъ качествъ всего сущаго, однако, она не исчерпываетъ всего качественнаго, и если держаться въ изученіи природы исключительно за нее, то дойдемъ до декартова опредѣленія животнаго гидравлико-огненной машиной, дѣйствующей рычагами и проч. Конечно, оконечности представляютъ рычаги и мышечная система представляетъ очень сложныя машины,— однакожь Декарту не удалось объяснить вліяніе воли, вліяніе мозга на управленіе частями машины чрезъ нервы. Понятіе живаго непремѣнно заключаетъ въ себѣ механическія,

физическія и химическія опредѣленія, какъ тѣ низкія степени, которыя долженвстовали быть побѣждены или сняты для того, чтобъ явился сложный процессъ жизни; но именно единство, ихъ снимающее, составляетъ новый элементъ, неподчиняющійся ни одному изъ предъидущихъ, а подчиняющій ихъ себѣ. Внутренняя присущая дѣятельность всего живаго организма и каждой клѣточки его доселѣ осталась неуловима для математики, для физики, для самой химіи, хотя форма ея дѣйствій и количественныя опредѣленія совершенно подлежатъ математикѣ, такъ какъ взаимное дѣйствіе составныхъ началъ подлежитъ физико-химическимъ законамъ. Употребленіе математики, сверхъ того, гдѣ она необходима,—тамъ, гдѣ ея не нужно, весьма важный признакъ; математика поднимаетъ человѣка въ сферу хотя формальную и отвлеченную, но чисто наукообразную: это полнѣйшее внѣшнее примиреніе мышленія и бытія. Математика—одностороннее развитіе логики, одинъ изъ видовъ ея, или само логическое движеніе разума въ моментѣ количественныхъ опредѣленій; она сохранила ту же независимость отъ сущаго, ту же непреложность чисто умозрительнаго вывода; къ этому присовокупляется ея увлекательная ясность, которая, впрочемъ, находится въ прямомъ отношеніи съ односторонностію. Бэконъ, очень хорошо понимавшій важность математики въ естествовѣдѣніи, замѣтилъ въ свое время уже опасность подавить математикою другія стороны (онъ между прочимъ говоритъ, что особенное вниманіе ученыхъ къ количественнымъ опредѣленіямъ основано на ихъ легкости и поверхностности, но что, держась на однихъ ихъ, теряется внутреннее*). Ньютонъ, совсѣмъ напротивъ,

*) Бэконъ очень зло отозвался (De Aug. Scientiarum) объ астро-

предался исключительно механическому воззрѣнію; нельзя себѣ представить ума менѣе философскаго, какъ Ньютонъ: это былъ великій механикъ, геніальный математикъ—и вовсе не мыслитель. Теорія тяготѣнія, при всемъ величіи своей простоты, при обширной прилагаемости, объемлемости,—не что иное, какъ *механическое представленіе* событія, представленіе, быть можетъ, вѣрное, но остающееся безъ логическаго оправданія, т. е., безъ полнаго пониманія, какъ предположеніе, сосредоточивающее на себѣ наиболѣе вѣроятія. Тѣламъ Ньютонъ приписываетъ свойства притяженія и отталкиванія; но въ понятіи тѣла, какъ его понималъ Ньютонъ, не видно необходимости этихъ полярныхъ проявленій; стало быть, это фактъ ипотетическій или наглядный — все равно, но не логическій; далѣе, путь небесныхъ тѣлъ таковъ, что механика должна его себѣ представить слѣдствіемъ двухъ силъ: одна изъ нихъ дѣлается понятною изъ предшествовавшаго предположенія, другая за то остается совершенно непонятна (сила, влекущая по тангенсу); эта сила (или толчекъ, производящій ее) не лежитъ ни въ понятіи тѣла, ни въ понятіи окружающей среды; она является à la deus ex machina, и такъ остается до сихъ поръ. И это не заботитъ строителей небесной механики; математика дѣлается обыкновенно равнодушна ко всѣмъ логическимъ требованіямъ, кромѣ своихъ собственныхъ. Нѣкогда Коперникъ, обдумывая геніальную мысль свою, имѣлъ въ внду дать болѣе

номіи: „Наука о тѣлахъ небесныхъ очень несовершенна; она приноситъ людямъ нѣчто въ родѣ той жертвы, которую однажды Прометей принесъ Юпитеру: онъ пожертвовалъ бычачью кожу, набитую соломой, вмѣсто быка; такъ и астрономія толкуетъ о числѣ, положеніи, движеніи, періодахъ небесныхъ тѣлъ... небесный сводъ для нихъ бычачья шкура; во внутренность явленій они не проникаютъ.“

легкій способъ вычислять планетные пути; теперь Ньютонъ говоритъ, что онъ предоставляетъ физикамъ рѣшить вопросъ о дѣйствительности предполагаемыхъ силъ, и выставляетъ на первый планъ удобство его теоріи для математическихъ выкладокъ.

Механическое разсматриваніе природы, не смотря на колоссальный успѣхъ ньютоновой теоріи, не могло удержаться; первый сильный протестъ противъ исключительно механическаго воззрѣнія раздался въ химическихъ лабораторіяхъ. Химія осталась вѣрнѣе настоящей бэконовской методѣ, нежели всѣ отрасли естественныхъ наукъ; эмпирія царила въ ней — это правда, но она оставалась почти во всемъ свободною отъ разсудочныхъ теорій и насильственныхъ притѣсненій предмета; химія добросовѣстно и самоотверженно склонялась передъ признанною ею объективностью вещества и его свойствъ.

Но протестъ болѣе мощный раздался съ другой стороны. Лейбницъ, тоже великій математикъ, но и великій мыслитель съ тѣмъ вмѣстѣ, поднялся противъ исключительнаго механико - матеріалистическаго воззрѣнія. Изложеніе главныхъ основаній его системы отведетъ насъ совсѣмъ въ другую сферу, а потому я попрошу позволенія окончить сперва повѣствованіе о бэконовской школѣ, довести ее до Юма, т. е. до Канта, и потомъ снова возвратиться къ Декарту и прослѣдить исторію идеализма до Канта же. Въ этой исторіи мы увидимъ только два лица, но какія! Мы увидимъ, до какой высоты можетъ дойдти геніальная абстракція, до чего великое разумѣніе могло развить картезіанизмъ. Спиноза положилъ предѣлъ идеализму; чтобъ идти далѣе, надобно выйдти изъ идеализма; оставаясь въ немъ, можно быть только коментаторомъ Спинозы, однимъ изъ нахлѣбниковъ его пышнаго стола. Опытъ шага впе-

редъ сдѣлалъ Лейбницъ; въ Лейбницѣ мы встрѣчаемъ перваго идеалиста, въ которомъ что-то близкое, родственное, современное намъ. Суровость среднихъ вѣковъ и протестантское натянутое безстрастіе отражаются еще яркими чертами и на угрюмомъ Декартѣ и на неприступно-гордомъ въ нравственной чистотѣ своей Спинозѣ, въ которомъ осталось много еврейской исключительности и много католическаго аскетизма. Лейбницъ человѣкъ почти совсѣмъ очистившійся отъ среднихъ вѣковъ: все знаетъ, все любитъ, всему сочувствуетъ, на все раскрытъ, со всѣми знакомъ въ Европѣ, со всѣми переписывается; въ немъ нѣтъ сацердотальной важности схоластиковъ; читая его, чувствуете, что наступаетъ *день* съ своими дѣйствительными заботами, при которомъ забудутся грезы и сновидѣнія; чувствуете, что полно глядѣть въ телескопъ—пора взять увеличительное стекло; полно толковать объ одной субстанціи, пора поговорить о многомъ множествѣ монадъ*).

Село Соколово. — Іюнь, 1845.

*) Мы необходимо должны пропустить явленія чрезвычайно замѣчательныя и нѣкоторыя сильныя личности, являвшіяся въ XVII столѣтіи, не въ главномъ руслѣ науки, а, такъ сказать, возлѣ. Сюда принадлежатъ англійскіе и французскіе мистики, протягивавшіе руку эмпиріи и мирившіеся съ нею (въ родѣ того, какъ легитимисты мирятся съ радикалами) на общемъ признаніи безсилія разума; сюда принадлежитъ рядъ скептиковъ, сомнѣвавшихся, вмѣстѣ съ мистиками, несравненно болѣе въ разумѣ, нежели въ опытѣ (такъ сильна была реакція противъ схоластической догматики), и въ числѣ ихъ знаменитый Бэль—защитникъ вѣротерпимости, признанной въ Россіи Великимъ Петромъ и гонимой во Франціи *Великимъ* Лудовикомъ. Бэль былъ одинъ изъ неутомимѣйшихъ дѣятелей XVII вѣка; онъ замѣшанъ во всѣ дѣла, причастенъ всѣмъ горячимъ вопросамъ и вездѣ гуманенъ и ѣдокъ, уклончивъ и дерзокъ; онъ дѣйствуетъ безъ имени и всѣмъ извѣстенъ: его гонятъ іезуиты — онъ отъ нихъ спасается въ Голландію; его гонятъ точно также протестанты, и отъ

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Реализмъ

Индуктивная метода Бэкона пріобрѣтала болѣе и болѣе послѣдователей. Открытія, слѣдовавшія другъ за другомъ съ поразительной быстротою, въ медицинѣ, физикѣ, химіи, вовлекали умы болѣе и болѣе въ область естествовѣдѣнія, наблюденій, изысканій. Увлеченные эмпиріей, легкимъ анализомъ событій и видимой ясностью выводовъ, послѣдователи Бэкона хотѣли опытъ и наведеніе сдѣлать не только источникомъ, но и вѣнцомъ всякаго знанія; они грубый, непретворенный матеріалъ, получаемый чрезъ непосредственное воззрѣніе, обобщаемый сравненіемъ и разлагаемый разсудочными категоріями, считали, если не за полнѣйшую истину, то за единственно возможную для человѣческаго разумѣнія. Воззрѣніе это долго оставалось мнѣніемъ, практикою, соглашеніемъ, болѣе подразумѣваемымъ, нежели высказаннымъ; долго не было въ немъ стремленіе выразиться систематически, ни притязанія явиться логикой и метафизикой; ужасъ отъ всего метафизическаго еще царилъ надъ умами; воспоминаніе о схоластическомъ идеализмѣ было свѣжо; все вниманіе ученыхъ продолжало сосредоточиваться на увеличеніи фактическихъ свѣдѣній, на знакомствѣ съ природой. Природа стала соперницею тому гордому духу, который въ средніе вѣка не удо-

нихъ бѣжать нѣкуда; католическій король Франціи его обогащаетъ преслѣдованіемъ его протестантскихъ брошюръ, и протестантскій король Англіи чуть не лишаетъ куска хлѣба... Все это вмѣстѣ живо выражаетъ дѣятельный, кипящій и неустроенный XVII вѣкъ.

стоивалъ ее никакого вниманія; роли перемѣнились: отъ ума требовали одной страдательной воспріемлемости; самодѣятельность разума считали мечтою. Въ средніе вѣка, чтобъ сказать, что предметъ недѣйствителенъ, говорили: „это только грубая матерія“; теперь съ тою же цѣлью стали говорить: „это только мысль.“ Но когда переворотъ совершился, реализмъ бэконовской школы не удержался отъ искушенія систематизировать свое воззрѣніе,—искушеніе, впрочемъ, совершенно естественное и свойственное всякой умственной дѣятельности. Эмпирія захотѣла имѣть свою метафизику: Локкъ явился отвѣтомъ на эту потребность.

Человѣкъ долженъ (по Локку) начать обсуживаніе своего вѣдѣнія съ разбора орудій мышленія, съ разрѣшенія вопроса, способенъ ли умъ знать истину, на сколько и какими средствами? Поверхностно разсуждая, кажется, что требованіе Локка справедливо, такъ какъ вообще всѣ разсудочныя требованія *на первый разъ* поразительно ясны; но стоитъ нѣсколько присмотрѣться къ нимъ, чтобъ увидѣть несостоятельность ихъ. Локкъ и его послѣдователи не догадались, что задача ихъ представляетъ логическій кругъ. Юмъ, какъ человѣкъ несравненно болѣе даровитый, спрашивалъ: чѣмъ же человѣкъ сдѣлаетъ разборъ своего разума? — Разумомъ. Да вѣдь онъ-то и подсудимый; оправданное имъ можетъ быть ложнымъ, именно потому что оно имъ оправдано. Юмъ попалъ въ шляпку гвоздя, какъ говорятъ; Юмомъ восхищались его современники, какъ острымъ скептикомъ, но глубины его отрицанья и великаго мѣста его въ развитіи новой философіи не постигли; первый понявшій его былъ Кантъ, оцѣпенѣвшій отъ медузина взгляда юмовскаго воззрѣнія. Надобно (продолжаетъ Локкъ) *себѣ представить* человѣка такъ,

чтобъ у него еще не было ни одной мысли и посмотрѣть, какъ изъ взаимодѣйствія его чувствъ и сознанія съ внѣшнимъ міромъ образуются *идеи* (подъ словомъ „идеи“ они разумѣли всякую всячину — понятіе, всеобщее, мысль, образъ, форму, даже впечатлѣніе): для этого возьмемъ ребенка, который еще не говоритъ, или человѣка *въ естественномъ состояніи*, и начнемъ наблюдать... а болѣе послѣдовательный Кондильякъ беретъ статую и даетъ ей обоняніе, потомъ слухъ... и такъ мало по малу доходитъ до законовъ мышленія *въ статуѣ*. Это называлось у нихъ наблюденіямя, анализомъ, — и укоряющая тѣнь Бэкона не погрозила имъ пальцемъ съ своего кладбища! Все XVIII столѣтіе безпрестанно прибѣгало къ дикому человѣку, къ ребенку; Жанъ-Жакъ, желая описать будущаго человѣка, ничего не нашелъ лучше, какъ представить его самымъ прошедшимъ, доисторическимъ. Не говоря уже объ нюхающей куклѣ, ни ребенокъ, ни предполагаемый идіотъ, ни каннибалъ — не нормальные люди; все, что вы въ нихъ замѣтите, будетъ тѣмъ ложнѣе, чѣмъ лучше подмѣчено. Положимъ, что мы могли бы возстановить забытое и безсознательное развитіе начальныхъ дѣйствій ума, впервые возбужденнаго чувствами — что же изъ этого? Мы узнали бы историческую феноменологію сознанія, узнали бы физіологическое взаимодѣйствіе энергіи чувствъ и энергіи мышленія — больше ничего. Зоологія, ботаника, берутъ нормою экземпляры совершенно развившіеся; отчего же антропологія будетъ обращаться къ дикому человѣку? Оттого, что онъ ближе къ животному, т. е. дальше отъ человѣка? Человѣкъ не отошелъ, какъ думали мыслители XVIII вѣка, отъ своего естественнаго состоянія, *онъ идетъ къ нему*; дикое состояніе — для него самое неестественное; оттого, какъ

только являются условія выхода изъ него, онъ и выходитъ; чѣмъ глубже въ старину, тѣмъ ближе къ дикому состоянію, тѣмъ неестественнѣе человѣкъ — этого почти не приходило въ голову тогдашнимъ философамъ. Но что же за выводы изъ наблюденій надъ *предполагаемымъ нечеловѣкомъ?* Локкъ находитъ, что простыя идеи (отчетъ въ впечатлѣніяхъ, воспоминаніе о нихъ) передаются прямо въ *пустое мѣсто* разума; разумъ, принимая чувственныя воззрѣнія, страдателенъ, не прибавляетъ отъ себя ничего, а, такъ сказать, задерживаетъ ихъ въ себѣ; поэтому, простыя идеи имѣютъ за себя большую достовѣрность. Но вотъ что худо: вмѣстѣ съ полученіемъ простыхъ идей, люди изобрѣтаютъ знаки для нихъ; Локкъ, поймавъ человѣка на этомъ изобрѣтеніи, очень справедливо замѣчаетъ, что человѣкъ словомъ нарицаетъ не дѣйствительную вещь, а всеобщее собирательное понятіе, родъ, или какой бы ни было порядокъ. къ которому принадлежитъ вещь, слѣдовательно, нѣчто несуществующее. Тутъ разборъ Локка долженъ бы былъ окончиться: если слово выражаетъ не истину, то и разумъ не имѣетъ средствъ сознавать ее, ибо слово представитель того, какъ понимаетъ разумъ. Правда, вы можете спросить: почему Локкъ узналъ, что изъ двухъ предметовъ — изъ частной вещи и всеобщаго слова, дѣйствительность, а слѣдственно и истина, принадлежитъ вещи, а не слову; вѣдь у него еще нѣтъ критеріума, онъ ищетъ его. Дѣло очень просто: онъ матеріалистъ, и потому вѣритъ въ вещь и въ чувственную достовѣрность; будь онъ идеалистъ, онъ точно съ тою же неосновательностью принялъ бы за истину слово и всеобщее; онъ не въ самомъ дѣлѣ ищетъ критеріумъ; онъ очень знаетъ, чего хочетъ — онъ только прикидывается добросовѣстнымъ пытате-

лемъ. Далѣе, всеобщее, названное словомъ, показываетъ отношеніе дѣйствительнаго предмета къ нашему разумѣнію; стало быть, не одни внѣшнія впечатлѣнія — источникъ знанія, но и самая дѣятельность мышленія. Локкъ не только признаетъ это, но исключительно предоставляетъ разуму право раскрытія отношеній между предметами; онъ признаетъ раскрытое разумомъ (сложныя идеи) *необходимымъ*, однако *не такъ* (?) достовѣрнымъ, какъ простыя идеи. Вся разсудочная наука находится тутъ въ своемъ зародышѣ. Разумъ — пустое темное мѣсто, въ которое падаютъ образы внѣшнихъ предметовъ, возбуждая какую-то распорядительную, формальную дѣятельность въ немъ; чѣмъ онъ страдательнѣе, тѣмъ ближе къ истинѣ; чѣмъ дѣятельнѣе, тѣмъ подозрительнѣе его правдивость. Вотъ вамъ и знаменитое «nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu», поставленное гордо рядомъ, или противъ «cogito, ergo sum»!

Что касается до самой феноменологіи Локка, то его „Опытъ“ есть нѣчто въ родѣ логической исповѣди разсудочнаго движенія; онъ разсказываетъ въ немъ явленія своего сознанія, въ предположеніи, что у каждаго человѣка возникаютъ идеи и развиваются одинаковымъ образомъ. Локкъ раскрываетъ, между прочимъ, что при правильномъ употребленіи умственной дѣятельности, сложныя понятія необходимо приводятъ къ идеямъ силы, *носителя свойствъ* (субстрата), наконецъ къ идеѣ сущности (субстанціи) нами познаваемыхъ проявленій (аттрибутовъ). Эти идеи существуютъ *не только въ нашемъ умѣ, но и на самомъ дѣлѣ*, хотя мы познаемъ чувствами одно видимое проявленіе ихъ. Замѣтьте это. Очевидно, что Локкъ изъ своихъ началъ не имѣлъ никакого права дѣлать заключенія въ пользу объектив-

ности понятій силы, сущности и проч. Онъ стремился всѣми средствами доказать, что сознаніе — tabula rasa, наполняемая образами впечатлѣній и *имѣющая свойство* образы эти сочетавать такъ, чтобъ *подобное различныхъ* составляло родовое понятіе; но идея сущности и субстрата не выходитъ ни изъ сочетанія, ни изъ переложенія эмпирическаго матеріала; стало быть, открывается новое свойство разумѣнія, да еще такое, которое имѣетъ, по признанію самого Локка, объективное значеніе. Какимъ ужасомъ исполнились бы послѣдователи Локка, еслибъ они узнали въ этомъ *свойствѣ* тѣ врожденныя идеи идеализма, противъ которыхъ они такъ неутомимо воевали всю жизнь. Не всѣ идеалисты подъ врожденными идеями предполагали готовыя сентенціи, привидѣніе, неотразимые безсмысленные факты, чуждые сознанію и втѣсненные ему, а неминуемыя формы, присущія дѣйствіямъ разума и притомъ такія формы, которыя сами — аподиктическое доказательство своей дѣйствительности: то есть, то, что говоритъ Локкъ о понятіи сущности. Матеріалисты, соглашаясь съ Локкомъ, пренаивно спорили противъ слова „*врожденныя идеи*“ и доказывали не-врожденность ихъ тѣмъ, что онѣ *могутъ* не развиться; — чтожь изъ этого? органическій процессъ неминуемо долженъ развить въ животномъ кровеносную систему, нервную и проч. по родовому, пожалуй, предсуществующему и осуществляющемуся понятію, но онъ *можетъ* и не развиться; ему нужны для этого внѣшнія условія; не будь ихъ — не будетъ и организма, а совершится какой нибудь другой процессъ, до котораго нѣтъ дѣла органической нормѣ; если же соберутся условія, необходимыя для возникновенія организма, то неминуемо въ немъ разовьется кровеносная, нервная система по общему типу того

плана, порядка и рода, къ которому принадлежитъ организмъ, и въ обоихъ случаяхъ родовое понятіе останется истиннымъ, а если угодно. врожденнымъ, присущимъ, предсуществующимъ. Дѣло состоитъ въ томъ, что изъ этихъ формальныхъ противорѣчій, изъ этихъ непослѣдовательностей, выйдти, стоя на локковой точкѣ зрѣнія, невозможно ; разсудокъ (т. е. тотъ моментъ разума, которымъ эмпирическое содержаніе начинаетъ разлагаться на логическіе элементы свои) не имѣетъ въ себѣ средствъ разрѣшить противорѣчіе, самимъ имъ поставленное и условно истинное только въ отношеніи къ нему. Разумъ на этой разлагающей степени похожъ на химическій реактивъ: онъ можетъ разложить данное, но всякій разъ отдѣлить одну сторону, а съ другой соединиться; таковъ споръ о врожденныхъ идеяхъ, о сущности и проч.; во всѣхъ подобныхъ вопросахъ есть двѣ стороны ; на закраинахъ своихъ онѣ односторонни, противорѣчатъ другъ другу, на срединѣ онѣ сливаются; взятыя врозь — онѣ просто ложны и даютъ безвыходные ряды антиномій, въ которыхъ обѣ стороны неправы, пока существуютъ въ отвлеченной отдаленности, и могутъ быть истинными только при сознаніи единства. Но сознаніе этого единства выходитъ за предѣлы того момента мышленія, съ котораго намѣренно не сходятъ люди рефлекціи ; я говорю : намѣренно, — потому что надобно много трудиться и много пріобрѣсти упорной косности, чтобъ не послѣдовать діалектическому влеченію, которое само собою выноситъ за предѣлы разсудочности. Умъ, свободный, отъ принятой и возложенной на себя системы, останавливаясь на односторонихъ опредѣленіяхъ предмета, невольно стремится къ восполняющей сторонѣ его ; это начало біенія діалектическаго сердца ; повидимому, и это сердце только

колышется взадъ и впередъ, а на самомъ дѣлѣ это біеніе свидѣтельствуетъ о живомъ, горячемъ потокѣ, текущемъ съ безпрерывнымъ ритмомъ своимъ; и въ діалектическихъ переходахъ, съ каждымъ разомъ, съ каждымъ біеніемъ, мысль становится чище, живѣе. Возьмемъ для примѣра одностороннее воззрѣніе Локка на начало знаній и на сущность. Разумѣется, что опытъ возбуждаетъ сознаніе, но также разумѣется, что возбужденное сознаніе вовсе не имъ произведено, что опытъ одно условіе, толчокъ,—такой толчокъ, который никакъ не можетъ отвѣчать за послѣдствія, потому что они не въ его власти, потому что сознаніе не tabula rasa, а actus purus, дѣятельность, не внѣшняя предмету, а совсѣмъ напротивъ, внутреннѣйшая внутренность его, такъ какъ вообще мысль и предметъ составляютъ не два разные *предмета,* а два момента чего-то единаго. Пріймите незыблемо ту или другую сторону, и вы не выпутаетесь изъ противорѣчія. Безъ опыта нѣтъ сознанія, безъ сознанія нѣтъ опыта; ибо кто же свидѣтельствуетъ о немъ? Полагаютъ, что сознаніе имѣетъ *свойство* противодѣйствовать, такимъ-то образомъ опыту, а между тѣмъ опытъ очевидно поводъ, prius, безъ котораго это свойство не обличилось бы. Не рѣшались принять мышленіе за самобытную дѣятельность, для развитія которой необходимы опытъ и сознаніе, поводъ и *свойство,* хотѣли того или другаго и впадали въ безплодное повтореніе. Въ этихъ таутологіяхъ, безпрерывно повторяющихъ противоположное, есть нѣчто, до такой степени противное человѣку, ругающееся надъ нимъ, лишенное смысла, что человѣкъ, непобѣдившій въ себѣ разсудочной точки зрѣнія, для спасенія себя отъ нихъ отрекается отъ лучшаго достоянія своего—отъ вѣры въ разумъ. Юмъ имѣлъ это мужество отрицанія, это

геройское самоотверженіе, а Локкъ остановился на полдорогѣ; оттого-то Юмъ и стоитъ головою выше Локка; логическому уму легче отрицать, легче лишиться всего дорогаго, нежели остановиться, не выводя послѣдняго заключенія изъ началъ своихъ. Вопросъ о сущности и аттрибутѣ или видимомъ существованіи сущности, приводитъ къ такой же антиноміи. Разумъ, всматриваясь въ бытіе, доходитъ вскорѣ, переходя рядомъ количественныхъ и качественныхъ опредѣленій, рядомъ отвлеченій, до понятія сущности, ставящей бытіе, вызывающей его возникнуть. Бытіе стремится отразиться въ себѣ, отрѣчься отъ видоизмѣняющейся внѣшности и раскрыть свою сущность, — въ противоположность, такъ сказать, своему наружному проявленію. Но какъ только умъ захочетъ понять основу, причину, внутреннюю силу бытія помимо бытія — онъ раскрываетъ, что сущность безъ своего проявленія такой же non sens, какъ бытіе безъ сущности; — чего же она сущность? Дайте ей проявленіе, тогда вы снова воротитесь въ сферу аттрибутовъ, бытія; восполняющій моментъ является, какъ недостающій звукъ, который невольно напрашивается, чтобъ завершить аккордъ. Но что же значитъ эта діалектическая необходимость, которая указала на сущность, когда человѣкъ хотѣлъ остановиться на бытіи, и указала на бытіе, когда онъ хотѣлъ остановиться на сущности? Это повидимому логическій кругъ, а на самомъ дѣлѣ логическая *круговая порука;* это противорѣчіе ясно выражаетъ, что нельзя останавливаться на бѣдныхъ категоріяхъ разсудочнаго анализа, что ни бытіе, ни сущность, отдѣльно взятыя, не истинны. Разсудокъ, сказалъ я выше, похожъ на реагенцію; но еще ближе можно взять сравненіе: онъ похожъ на гальваническій снарядъ, который все разлагаетъ въ из-

вѣстномъ отношеніи на двѣ части, и который не иначе отдѣляетъ одну составную часть, какъ отдѣливъ къ другому полюсу другую. Антиномія не свидѣтельствуетъ своей ложности, — совсѣмъ напротивъ, она мѣшаетъ только несправедливому дѣйствію ума, не дозволяя ему принимать отвлеченіе за цѣлое; она вызываетъ противоположное у другаго полюса, какъ улику, и показываетъ одинаковую правомѣрность его. Діалектическое движеніе сначала оскорбляетъ мыслящаго человѣка, даже исполняетъ печалью и отчаяніемъ,—своими скучными рядами и нежданнымъ возвращеніемъ къ началу; оно оскорбляетъ его, какъ видъ домашней крыши оскорбляетъ путника, потерявшаго дорогу, и который, скитаясь цѣлые часы, видитъ, что онъ воротился назадъ; но вслѣдъ за негодованіемъ должно явиться желаніе дать себѣ отчетъ, разобрать случившееся, а этотъ разборъ рано или поздно непремѣнно приводитъ къ высшимъ областямъ мышленія.

Локкъ поступилъ не-логически, признавъ объективность сущности, и также нелогически рѣшилъ, что сущность знать нельзя, потому только, что она неотдѣлима отъ проявленій,—въ то время, какъ въ нихъ-то и можно узнать сущность; аттрибуты — языкъ, которымъ высказывается внутреннее (вспомните Я. Бэма). Локкъ поступилъ не-логически, признавъ разсужденіе за источникъ знанія, въ то время, какъ все воззрѣніе его основано на томъ, что въ сознаніи ничего нѣтъ, кромѣ полученнаго изъ чувствъ. Онъ на каждомъ шагу бьетъ самого себя. Скажемъ просто: „Опытъ“ Локка не выдерживаетъ никакой критики; огромный успѣхъ его основанъ на одной своевременности; метафизика матеріализма не могла развиться, призваніе бэконовой школы вовсе не было метафизическое; великое, сдѣлан-

ное ею, сдѣлано внѣ систематики; систематика ея только хороша, какъ реакція схоластикѣ и идеализму, и пока она себя понимала реакціей, она была полезна; но по мѣрѣ того, какъ она изъ протестаціи переходила къ чиноположенію, къ теоріи — она дѣлалась несостоятельною. Логически все воззрѣніе Локка — ошибка, такая же вопіющая ошибка, какъ всѣ построенія практическихъ областей, шедшія отъ идеализма. Вообще, Локкъ въ дѣлѣ мышленія представляетъ здравый смыслъ, начинающій имѣть притязанія на догматику, разсудительное благоразуміе, равно удаленное отъ высокаго разума, какъ и отъ пошлой глупости; его метода въ философіи то, что esprit de conduite въ дѣлѣ нравственности; по ней равно трудно спотыкнуться и сойдти съ битой дороги. Изложеніе Локка умно, ровно, свѣтло, полно практическихъ замѣтокъ; выводы его очевидны, потому что онъ говоритъ объ одномъ очевидномъ; онъ вездѣ стремится удержаться въ золотой серединѣ, воздерживается отъ крайностей; но еще мало бояться прямыхъ слѣдствій изъ своихъ началъ въ ту и другую сторону, чтобъ возвыситься до разумнаго примиренія ихъ обѣихъ. Послѣдовательнѣе его, но изъ тѣхъ же началъ, вышелъ Кондильякъ. Кондильякъ отвергнулъ мысль, что разсужденіе можетъ быть источникомъ знанія, ибо оно не только предполагаетъ ощущеніе, но и есть не что иное, какъ ощущеніе. Онъ самое сочетаніе идей не принималъ за свободное дѣйствіе ума, но за необхòдимый результатъ ощущеній,—такимъ образомъ всѣ духовные процессы были сведены на ощущенія; съ другой стороны, тотъ же Кондильякъ доказывалъ, что „тѣлесные органы чувствъ составляютъ случайное начало знанія, чувственнаго ощущенія“; впрочемъ, это ему ни къ чему не послужило. Логика Кондильяка, какъ

внѣшняя механика мышленія, не лишена достоинствъ, отчетлива, ясна, пріучаетъ къ своего рода строгости и осмотрительности,—но пороха не выдумаешь по его методѣ: это метода искусственныхъ классификацій, описанія признаковъ и проч.

Матеріалисты-метафизики совсѣмъ не то писали, о чемъ хотѣли; они до внутренней стороны своего вопроса и не коснулись, а говорили только о внѣшнемъ процессѣ; его они изображали довольно вѣрно—и никто съ ними не споритъ; но они думали, что это все, и ошиблись: теорія чувственнаго мышленія была своего рода механическая психологія, какъ воззрѣніе Ньютона механическая космологія. Притомъ, никакъ не надобно терять изъ вида, что локкова школа разсматривала мышленіе только какъ частную, отдѣльную, личную способность одного типическаго человѣка; разумъ, какъ родовое мышленіе, пребывающее и развертывающееся въ исторіи и наукѣ, не заслужилъ ихъ вниманія; оттого у всѣхъ у нихъ не достаетъ историческаго пониманія прошлыхъ моментовъ мышленія. Ничто не можетъ быть страннѣе, какъ ихъ разборы древнихъ философовъ; даже рядомъ съ ними или почти рядомъ стоявшихъ мыслителей они никакъ не могли понять. Кондильякъ, напр., писалъ подробный разборъ Мальбранша, Лейбница и Спинозы; видно, что онъ много ихъ читалъ, но видно, что онъ ни разу не отдавался имъ, что онъ непріязненно началъ и искалъ только противопоставлять свое сказанному ими. Такъ разбирать философскихъ писателей невозможно.*). Вообще,

*) Кстати, вѣроятно многимъ казалось страннымъ, отчего большая часть мыслителей XVII и XVIII вѣка, читая Платона и Аристотеля, рѣшительно не понимали единства внутренняго и внѣшняго (платоновой идеи, аристотелевой энтелехіи), которое довольно ясно

матеріалисты никакъ не могли понять объективность разума и оттого, само собою разумѣется, они ложно опредѣляли не только историческое развитіе мышленія, но и вообще отношенія разума къ предмету, а съ тѣмъ вмѣстѣ и отношеніе человѣка къ природѣ. У нихъ бытіе и мышленіе или распадаются, или дѣйствуютъ другъ на друга внѣшнимъ образомъ. *Природа помимо мышленія — часть, а не цѣлое* — мышленіе такъ же естественно, какъ протяженіе, такъ же степень развитія, какъ механизмъ, химизмъ, органика — только высшая. Этой простой мысли не могли понять матеріалисты; они думали, что природа безъ человѣка полна, замкнута и довлѣетъ себѣ, что человѣкъ какой-то посторонній; конечно, отдѣльно взятыя естественныя произведенія не имѣютъ никакой нужды въ человѣкѣ; но если вы возьмете ихъ въ связи, вы увидите, что въ нихъ все неполно, что все ихъ счастіе именно въ томъ, что они не могутъ сознать этой неполноты; организмы животные, наприм., при всей цѣлости, замкнутости, конкретности, *отвлеченны;* они, сверхъ собственнаго значенія,

въ воззрѣніи того и другаго; неужели это просто ограниченность? — не думаю. Новый человѣкъ такъ распался съ природой, что не можетъ легко примириться съ нею; онъ сочетавалъ большій смыслъ съ этимъ распаденіемъ, нежели грекъ. Грекамъ легко было понимать неразрывность сущности и бытія потому, что они не понимали во всю ширину ихъ противоположности. Напротивъ, средніе вѣка именно развили до послѣдней крайности этотъ разрывъ, и мысль не токмо удовлетворилась уже греческимъ примиреніемъ, но потеряла возможность понимать его. Грекъ предавался сочувствію къ истинѣ; новому человѣку надобны были анализъ и критика; онъ убилъ въ себѣ сочувствіе рефлекціей и недовѣріемъ. Грекъ никогда не отдѣлялъ ни человѣка, ни мысли отъ природы; для него сосуществованіе ихъ было событіе, не то, чтобъ совершенно отчетливо понимаемое, но фактически очевидное; новая наука въ обоихъ проявленіяхъ своихъ (реализмѣ и идеализмѣ) разрушала эту гармонію.

намекаютъ на какое-то развитіе, переходящее далѣе; они исполнены указаній на нѣчто болѣе полное и развитое; эти указанія стремятся къ человѣку; чтобъ доказать это, не нужно, пожалуй, философіи, достаточно сравнительной анатоміи. Въ природѣ, разсматриваемой помимо человѣка, нѣтъ возможности сосредоточенія и углубленія въ себя, нѣтъ возможности сознанія, обобщенія себя въ логической формѣ,—потому нѣтъ помимо человѣка, что мы человѣкомъ именно называемъ это высшее развитіе. Никто не удивляется, что безъ глазъ не видать, потому что глазъ составляетъ единственное орудіе зрѣнія; мозгъ человѣка—орудіе сознанія природы. Природа, какъ вѣчное несовершеннолѣтіе, покорена закону необходимому, роковому, неясному для себя, именно по недостатку *этого* развитаго себя, т. е. человѣка; въ человѣкѣ законъ проясняется, становится сознаваемой разумностью; нравственный міръ на столько свободенъ отъ внѣшней необходимости, на сколько совершеннолѣтенъ, т. е. сознателенъ. Но такъ какъ въ дѣйствительности сознаніе не отдѣлено отъ бытія, не другое, а напротивъ есть его совершеніе, цѣль его домогательствъ, объясненіе его неясности, его истина и оправданіе, то и міръ физическій, освобожденный въ нравственномъ и оправданный въ немъ, оправданъ въ своихъ глазахъ. Природа, понимаемая помимо сознанія,—туловище, недоросль, ребенокъ, не дошедшій до обладанія всѣми органами, потому что они не всѣ готовы. Человѣческое сознаніе безъ природы, безъ тѣла,—мысль, не имѣющая мозга, который бы думалъ ее, ни предмета, который бы возбудилъ ее. Естественность мысли, логичность и ихъ круговая порука природы, камень преткновенія для идеализма и для матеріализма,—только онъ попадался имъ подъ ноги съ

разныхъ сторонъ*). Шеллингъ засталъ борьбу разныхъ взглядовъ на разумъ и на природу въ ея высшемъ и крайнемъ выраженіи,— когда съ одной стороны *не-я* пало подъ ударами Фихте и власть разума провозгласилась въ какихъ-то безконечныхъ пространствахъ холода и пустоты; съ другой, французы отрицали все нечувственное и, какъ черепословы, стремились истолковать мысль бугорками и углубленіями, а не бугорки

*) Позвольте мнѣ привесть въ заключеніе сказаннаго о Локкѣ и его послѣдователяхъ слѣдующее мѣсто изъ элементарной анатоміи Генле, Генле — прозектора, вѣчно сидящаго за микроскопомъ и, слѣдовательно, не состоящаго въ подозрѣніи идеализма. Подробно разобравъ нервную дѣятельность и энергію органа мышленія, онъ говоритъ: „Разбирая сложныя дѣйствія нашего духа, можно ихъ свести на простыя понятія или категоріи; но желаніе эти категоріи вывести изъ чего либо внѣшняго, было бы столько же безумно, какъ звуками объяснять краски. Всѣ такого рода попытки ставятъ впередъ то, что должно объяснить: такъ поступала локкова школа, хотѣвшая вывести понятія изъ внѣшняго опыта. Положеніе: nihi in intellectu, quod non ante fuerat in sensu до такой степени ложно, что, физіологически говоря, скорѣе можно утверждать, что ничего не можетъ перейдти изъ чувствъ въ разумъ. Внѣшнее не можетъ даже произвести ощущеній, не предшествующихъ, *какъ возможность;* гдѣ же ему проникнуть въ органъ мышленія? внѣшнее развиваетъ только усыпленное въ немъ. Во взаимодѣйствіи съ внѣшнимъ міромъ энергія чувствъ обособляется (дѣлается спеціальною) соотвѣтствующими раздраженіями, которыя, развиваясь, замѣняютъ собою первоначальныя ощущенія. Органы чувствъ составляютъ соотвѣтствующее раздраженіе органу мышленія. Пораженію чувствъ соотвѣтствуютъ извѣстныя чувственныя понятія; степень ихъ развитія находится въ соотношеніи съ прочувствованнымъ, съ прожитымъ чувствами (von den Erlebnissen der Sinne). Мышленіе развитое относится къ первымъ дѣйствіямъ ума почти такъ же, какъ фантазія образованнаго глаза къ мерцанію и къ цвѣтнымъ пятнамъ. Возвратиться къ первоначальнымъ понятіямъ невозможно. Исторія развитія и образъ чувствованій воспитали намъ формы, которыми мы думаемъ, и проч. См. Allgemeine Anatomie von Henle p. 751—2; она составляетъ VI томъ превосходнаго изданія, въ которомъ современные германскіе врачи-натуралисты почтили память своего знаменитаго учителя, J. T. Sömmering v. Baue des menschlichen Körpers.

мыслію, и онъ первый высказалъ, хотя и не вполнѣ, высокое единство, о которомъ мы говорили. Но возвратимся къ Локку и его школѣ.

Локкъ былъ робокъ и болѣе добросовѣстенъ, нежели діалектикъ; онъ безъ логической необходимости съ своей точки зрѣнія отрекся отъ начала, изъ котораго пошелъ. Признаніемъ сущности за дѣйствительность онъ окончательно призналъ самозаконность разума, которая была уже отчасти признана въ принятіи разсужденія источникомъ сложныхъ идей; какъ скоро идея сущности получила право гражданства, то неминуемо открывалась возможность — многоразличіе сущаго привести къ единству; бытіе непосредственное находитъ въ сущности свое посредство, явленіе получаетъ причину, каузальность неразрывна съ понятіемъ сущности. Но такъ какъ Спинозѣ (мы увидимъ это въ послѣдующихъ письмахъ*), чтобъ примирить картезіанскій дуализмъ съ требованіями своей глубокой логической натуры, оставался одинъ выходъ—погубить дѣйствительность явленій въ пользу сущности, что составляло своего рода выходъ изъ дуализма, такъ точно матеріализму надобно было послѣднимъ словомъ своимъ принять не робкое и шаткое полупризнаніе сущности, а полное отрѣченіе отъ нея. Сущность—та нить, которой разумъ все сдерживаетъ: перерѣжьте ее — и все разсыплется, распадется, будутъ существовать одни частныя явленія, однѣ индивидуальности, мерцающія мгновенно и мгновенно тухнущія; всеобщій порядокъ разрушится, будутъ атомы, явленія, груды фактовъ случайности,—но не будетъ стройнаго всецѣлаго, космоса — и все это прекрасно: когда односторонность дойдетъ до такой крайности,

*) Эти письма никогда не были написаны. *Прим. изд.*

тогда она всего ближе къ выходу изъ своей ограниченности. Нѣтъ сомнѣнія, что первый геніальный матеріалистъ бэконо-локкова направленія долженъ былъ дойти до этого или отречься отъ матеріализма — этотъ геній былъ Давидъ Юмъ.

Юмъ принадлежитъ къ небольшому числу мыслителей, которые покончили съ собою, которые, взявъ начала, имѣли мужество идти до послѣдствій, не блѣднѣя ни передъ чѣмъ и твердо принимая хорошее и худое, лишь бы остаться вѣрными точкѣ отправленія и логическому пути. Такой человѣкъ можетъ наконецъ достигнуть успокоенія, примириться въ вѣрности своихъ выводовъ съ своими началами; пошлыхъ людей, дошедшихъ до этой невозмущаемой тишины, много; но Юмъ былъ одаренъ необычайнымъ умомъ и необычайной діалектикой, — въ томъ-то и важность. Началъ своихъ Юмъ не избиралъ: онъ ихъ нашелъ готовыми въ современномъ ему мірѣ, въ своемъ отечествѣ; онъ къ этимъ началамъ имѣлъ симпатію, какъ человѣкъ практическій, какъ англичанинъ; самый образъ жизни велъ его къ нимъ: Юмъ былъ дипломатъ, историкъ, а прежде купецъ, не смотря на аристократическое происхожденіе. Разумѣется, начала бэконовской методы были ближе къ душѣ его, нежели Спиноза и Лейбницъ; но взявъ начала, мощный мыслитель вывелъ неумолимыя послѣдствія; онъ выставилъ то, до чего не смѣли касаться его предшественники; тамъ, гдѣ они виляли, уступали, тамъ Юмъ кротко и благородно, но съ невѣроятной твердостью, шелъ прямымъ путемъ. Онъ спокоенъ, потому что правъ; его совѣсть чиста, онъ добросовѣстно сдѣлалъ то, за что взялся. Видали ли вы портретъ Юма?—Его черты поражаютъ васъ своей невозмущаемой ясностью и кроткимъ покоемъ; весело

сидитъ онъ въ щегольскомъ французскомъ кафтанѣ; лицо его полно, глаза блестятъ умомъ, всѣ черты одушевлены, благородны, онъ нѣсколько улыбается. Смотря на него, дѣлается отрадно, вспоминается, что въ жизни есть много хорошаго. Обернитесь къ портретамъ другихъ философовъ, близкихъ къ нему по времени, — совсѣмъ не то. Въ сухо-моральномъ лицѣ Локка соединяется выраженіе англиканскаго проповѣдника, съ строгостью матеріалиста - законодателя; лицо Вольтера выражаетъ одну злую иронію; въ немъ знаменіе геніальнаго разума какъ-то сочеталось съ чертами орангутанга; Кантъ съ своей маленькой головкой и огромнымъ лбомъ дѣлаетъ тягостное впечатлѣніе; въ лицѣ его, напоминающемъ Робеспьерра, есть что-то болѣзненное; оно говоритъ о безпрерывной, тяжелой работѣ, потребляющей все тѣло; вы видите, что у него мозгъ всосалъ лицо, чтобъ довлѣть огромному труду мысли; Лейбницъ съ царственно величественнымъ лицомъ, какъ Гёте, говоритъ всѣми чертами: procul estote! А Юмъ зоветъ къ себѣ. Это не только человѣкъ мысли, но человѣкъ жизни. Таковъ онъ и былъ; онъ умѣлъ съ высокой нравственностью и съ высокимъ умомъ сочетать качества, привязывавшія къ нему всѣхъ людей, близко къ нему подходившихъ. Онъ былъ душою небольшой кучки друзей; въ ихъ числѣ былъ и великій Адамъ Смитъ и нѣкогда Ж. Ж. Руссо, бѣжавшій изъ веселаго товарищества, гонимый раздражительной хандрой своей. Юмъ остался вѣренъ себѣ до конца; онъ сдѣлалъ передъ смертью пиръ и весело разстался съ жизнію, сжимая замиравшей рукой своей дружескія руки, улыбаясь прощальному тосту ихъ. Это была цѣльная натура! Ни Локкъ, ни Кондильякъ не могли сладить своего реализма съ наукообразными требованіями. Юмъ съ

перваго взгляда понялъ, что съ этой точки зрѣнія всѣ метафизическія требованія, всякая догматика будутъ нелѣпостью, и высказалъ это прямо и не обинуясь. Мы видѣли выше, что онъ опровергъ возможность опредѣлять достовѣрность знанія критикою ума; онъ достовѣрность считаетъ инстинктомъ, неподлежащимъ собственно умозаключенію, *предъ-разсудкомъ*. Мы приводимъ въ сознаніе не самые предметы, а образы ихъ; эти образы мы *считаемъ* за дѣйствія внѣшнихъ предметовъ; доказательствъ на это нѣтъ, мы принимаемъ такое отношеніе впечатлѣній къ предметамъ до развитія обсуживанія: это впередъ идетъ, это дано инстинктомъ. Источникъ знанія — опытъ, впечатлѣнія; впечатлѣнія передаютъ намъ образы и вмѣстѣ съ тѣмъ *моральное убѣжденіе, вѣрованіе*, что они соотвѣтствуютъ предметамъ сущимъ, возбудившимъ ихъ въ нашемъ сознаніи; дѣйствіями ума вывести оправданіе инстинкта невозможно; у него на это нѣтъ средствъ: изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ инстинктъ былъ не правъ, а слѣдуетъ, что у насъ умъ ограниченъ. Чувственныя впечатлѣнія, образы, собираясь въ памяти, повторяясь и сочетаваясь ею различнымъ образомъ, составляютъ то, что мы называемъ идеями; всѣ идеи, все мыслимое должно быть прочувствовано. Опуская то ту, то другую сторону матеріаловъ, данныхъ впечатлѣніями, сличая ихъ, мы отвлекаемъ общее имъ, беремъ ихъ соотношенія, и этимъ путемъ уравненій достигаемъ общихъ понятій; при этомъ обобщеніи, само собою разумѣется, впечатлѣнія теряютъ долю живости, силы и своего индивидуальнаго значенія. Вѣря въ свой инстинктъ, храня въ памяти ряды впечатлѣній, человѣкъ различныя обобщенія и слѣдствія своихъ сравненій приписываетъ предметамъ, не имѣя ни малѣйшаго права на то; опытъ

даетъ одни частныя явленія, ощущенія и ничего всеобщаго. Видя нѣсколько разъ подобное послѣдующее отъ подобнаго предъидущаго, человѣкъ *привыкаетъ* связывать эти представленія и подчинять одно другому, называя первое причиной или силой, а другое дѣйствіемъ; ни опытъ, ни умозрѣніе не оправдываютъ такого произвольнаго принятія. Опытъ даетъ преемственный порядокъ двухъ разныхъ явленій, слѣдующихъ во времени другъ за другомъ, не раскрывая инаго соотношенія между ними; умозаключеніе каузальности явнымъ образомъ не полно,—недостаетъ цѣлаго термина: В постоянно слѣдуетъ за А, слѣдственно, А причина В; заключеніе негодное, ибо я не вижу никакого соотношенія жежду двумя разными А и В, кромѣ разсказа, что сперва явилось А, а потомъ В, и это случилось нѣсколько разъ; принимая А за причину В, за дѣйствіе, мы теряемъ послѣднюю возможность ихъ сравнить, ибо сравнивать можно одноименное, тождественное по чему нибудь, а дѣйствіе и причина — до такой степени разнородныя понятія, что сравненіе здѣсь не имѣетъ мѣста. Дѣло въ томъ, что каузальность вовсе и не основана на умозаключеніи, или на прямомъ опытѣ, а *на привычкѣ*; человѣкъ привыкаетъ отъ подобныхъ причинъ ждать непремѣнно подобныхъ дѣйствій; еслибъ эта непремѣнность была разумна, то разумъ и въ первый разъ долженъ былъ ждать того же дѣйствія; но онъ его не ждалъ, а ждалъ во второй разъ, потому что началъ привыкать. То, что здѣсь говорится о каузальности, прилагается очень легко и къ понятіямъ необходимости и сущности. Опытъ не даетъ нигдѣ и ни въ чемъ никакихъ необходимыхъ соотношеній, а даетъ совокупное и современное сосуществованіе, многоразличія. Слово „сущность“ — собирательное имя многихъ

простыхъ идей, совмѣщаемыхъ въ одно; мы никакого понятія не имѣемъ о сущности, кромѣ полученнаго изъ связи разныхъ явленій и свойствъ, схваченныхъ нами; идеи, по видимому, чрезъ сое иненіе по сходству, совокупности, одновременности, каузальности, становятся крѣпче, общѣе; но если вглядѣться, то всѣ эти обобщенія приводятъ къ повторенію одного и того же разными образами (дѣйствіе—раскрытая причина; причина закрытая—необнаруженное дѣйствіе). Напримѣръ, человѣческое *я*, т. е. понятіе самости, представляется въ родѣ сущности всѣхъ явленій, составляющихъ жизнь человѣка; въ основѣ понятія о нашемъ *я*, не лежитъ тоже ничего дѣйствительнаго. Понятіе *я* есть признаніе безпрерывно продолжающейся самости, стало быть, и впечатлѣніе производящее его, должно быть безпрерывно; но такого впечатлѣнія нѣтъ: самость наша состоитъ изъ совокупности многихъ другъ за другомъ слѣдующихъ впечатлѣній; мы придаемъ этой совокупности вымышленную связь, называемую *я*. Мысль эта возникаетъ отъ понятія безпрерывности предмета съ одной стороны и отъ понятія послѣдовательности разныхъ предметовъ, другъ за другомъ находящихся въ соотношеніи; чѣмъ болѣе мы замѣчаемъ характеръ постепенной послѣдовательности, тѣмъ менѣе можемъ мы ихъ отличать другъ отъ друга, и чтобъ *скрыть* противорѣчіе, основанное на удержаніи безпрерывности и послѣдовательности, человѣкъ выдумываетъ субстанцію или самость своего я, *какъ невѣдомое нѣчто, сохраняющее тождество съ собою въ перемѣнѣ.*

Consomatum est! Дѣло матеріализма, какъ логическаго момента, совершилось; далѣе идти теоретически было невозможно. Вселенная распалась на бездну частныхъ явленій, наше *я* на бездну частныхъ ощущеній; если

между явленіями и между ощущеніями раскрывается связь, то эта связь, во первыхъ, случайна, во вторыхъ, лишаетъ полноты и жизненности то, что связываетъ; наконецъ, таутологически повторяетъ то же самое на другомъ языкѣ. Связь эта ни логической, ни эмпирической достовѣрности не имѣетъ; ея критеріумъ — инстинктъ и привычка. Умъ опровергаетъ инстинктъ, но очевидность за него; инстинктъ практически опровергаетъ умъ, хотя, съ своей стороны, доказательствъ ни на что не имѣетъ. Хотѣли одною чувственной достовѣрностью дойдти до истины; Юмъ привелъ *къ истинѣ чувственной достовѣрности*, остановившейся на рефлекціи, и что же случилось? Дѣйствительность разума, мысли, сущности, каузальности, сознаніе своего я — исчезли; Юмъ доказалъ, что этимъ путемъ—только до этихъ слѣдствій и можно дойдти. Но можно ли по крайней мѣрѣ схватиться, какъ за послѣдній якорь спасенія, за инстинктъ, за вѣру въ впечатлѣніе? Ни подъ какимъ видомъ. Вѣра въ дѣйствительность впечатлѣній—дѣло воображенія и отличается отъ прочихъ вымысловъ его только невольнымъ чувствомъ достовѣрности, основанной на большей живости впечатлѣній, происходящихъ болѣе отъ дѣйствительныхъ предметовъ, нежели отъ вымышленныхъ. Вѣра эта, прибавляетъ Юмъ, точно такъ же принадлежитъ звѣрямъ, какъ и человѣку; она не подлежитъ никакому оправданію умомъ! Что Декартъ сдѣлалъ въ области чистаго мышленія своей методой, то сдѣлалъ практически въ сферѣ разсудочной науки Юмъ. Онъ очистилъ входъ въ науку отъ всего даннаго, впередъ-идущаго; онъ заставилъ матеріализмъ сознаться въ невозможности дѣйствительнаго мышленія съ его односторонней точки зрѣнія. Пустота, къ которой Юмъ привелъ, должна была сильно

потрясти людское сознаніе, а выйдти изъ нея нельзя было ни методою тогдашняго идеализма, ни робкимъ локковымъ матеріализмомъ. Требовалось иное рѣшеніе: голосъ Юма вызвалъ Канта.

Но прежде, нежели мы займемся имъ и его предшественниками со стороны идеализма, взглянемъ, что дѣлала бэконова школа по ту сторону Па-де-Калѐ.

Реализмъ явнымъ образомъ перешелъ во Францію изъ Англіи; даже ироническій тонъ, легкая литературная одежда мысли, теорія себялюбивой полезности и дурная привычка кощунства—все это перешло изъ Англіи. Что же сдѣлали французы? За что въ памяти нашей слова реализмъ, матеріализмъ неразрывны съ именами французскихъ писателей XVIII вѣка? Если вы возьметесь за логическій остовъ, за теоретическую мысль въ ея всеобщности, — то увидите, что французы почти ничего не сдѣлали, да и не могли собственно ничего сдѣлать: съ точки зрѣнія реализма и эмпиріи одна метода — ее изложилъ Бэконъ; въ матеріализмѣ далѣе Гоббса идти нѐкуда, развѣ броситься въ скептицизмъ— но и тутъ все было исчерпано Юмомъ. Между тѣмъ, французы сдѣлали дѣйствительно очень много, и въ исторіи они не даромъ остались представителями науки XVIII столѣтія. Мы уже нѣсколько разъ имѣли случай замѣтить, что отвлеченная логическая схематика всего менѣе способна уловить не наукообразную по формѣ, но богатую по содержанію *философію* эмпиріи. Здѣсь это очевидно; если вы взглянете не на нѣсколько бѣдныхъ теоретическихъ мыслей, отъ которыхъ равно отправлялись англичане и французы, но на развитіе, которое эти мысли получали у англичанъ и французовъ—тогда увидите, что Франція несравненно болѣе совершила, нежели Англія. Британцамъ принадлежитъ только честь

почина. Энциклопедисты въ области науки сдѣлали точно то же изъ Локка, что бретонскій клубъ, во время революціи, сдѣлалъ изъ англійской теоріи конституціонной монархіи: они вывели такія послѣдствія, которыя или не приходили англичанамъ въ голову, или отъ которыхъ они отворачивались. Это совершенно сообразно національному характеру двухъ великихъ народовъ.

Всякій общій вопросъ дѣлаютъ Англичане мѣстнымъ, національнымъ; всякій мѣстный, частный вопросъ становится общечеловѣческимъ у французовъ. Какой бы перемѣны англичанинъ ни хотѣлъ, онъ хочетъ сохранить и былое, въ то время, какъ французъ прямо и открыто требуетъ новаго; доля души англичанина въ прошедшемъ: онъ человѣкъ по преимуществу историческій, онъ привыкъ съ дѣтства благоговѣть передъ былымъ своей родины, уважать ея законы, ея обычаи, ея повѣрья; и это очень понятно: прошедшее Англіи *достойно уваженія*; оно такъ величаво и стройно развивалось, оно такъ гордо становилось стражей человѣческаго достоинства еще во времена мрачнаго безправія —что нельзя британцу оторваться отъ святыхъ воспоминаній своихъ; это благочестіе къ прошедшему кладетъ узду на него. Англичанину кажется неделикатнымъ переходить нѣкоторые предѣлы, касаться нѣкоторыхъ вопросовъ, и онъ, до педантизма строгій чтитель приличій — покоряется ихъ условнымъ законамъ. Бэконъ, Локкъ, моралисты, политическіе экономы Англіи, парламентъ, пославшій Карла I на эшафотъ, Стафортъ, хотѣвшій нисповергнуть власть парламента,—всѣ стремятся прежде всего показать себя консерваторами, всѣ двигаются спиною впередъ и не хотятъ сознаться, что идутъ по новой и неразработанной почвѣ. Въ мысли островитянина есть всегда что-то ограниченное; она

опредѣленна, положительна, тверда, но съ тѣмъ вмѣстѣ видны берега, видны предѣлы. Англичанинъ перерываетъ нить своей мысли на томъ мѣстѣ, гдѣ она отклоняется отъ существующаго порядка, и порванная нить слабнетъ на всемъ протяженіи*). Уваженія къ прошедшему, обуздывавшаго англичанина, не было у французовъ. Людовикъ XIV такъ же мало уважалъ прошедшее, какъ Мирабо; онъ открыто бросилъ перчатку преданію. Французы узнали свою исторію въ нашемъ вѣкѣ, — въ прошломъ они дѣлали свою исторію; но не знали, что они продолжаютъ, они только знали исторію Рима и Греціи—переложенную на французскіе нравы, разрумяненную, натянутую. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, французы хотѣли *все вывести изъ разума:* и гражданскій бытъ и нравственность,—хотѣли опереться на одно теоретическое сознаніе и пренебрегали завѣщаніемъ прошедшаго, потому что оно не согласовалось съ ихъ a priori, потому что оно мѣшало какимъ-то непосредственнымъ, готовымъ бытомъ, ихъ отвлеченной работѣ умозрительнаго, сознательнаго построенія, и французы не только не знали своего прошедшаго, но были врагами его. При такомъ отсутствіи всякой узды, при пламенно-энергическомъ характерѣ, при быстромъ

*) Только Шекспиръ и Гоббсъ не подойдутъ сюда; поэтическое созерцаніе жизни, глубина пониманья ея дѣйствительно безпредѣльна у Шекспира; Гоббсъ былъ до чрезвычайности смѣлъ и консеквентенъ, но объ немъ можно сказать то, что Мирабо сказалъ о Барнавѣ: „Твои глаза холодны, на тебѣ нѣтъ помазанія.“ Байронъ — Юмъ поэзіи—принадлежитъ уже къ *другой* Англіи, къ той, которая, долго не переводя духа, именно съ года рожденія Байрона (1788), съ судорожнымъ вниманіемъ смотрѣла на революцію и какъ Гаррикъ одной частью лица улыбалась, а другою плакала, — къ той Англіи, которая, отправляя Белерофонъ, вскрикнула: „я побѣдила!“ и сама покраснѣла отъ такой побѣды.

соображеніи, при безпрерывной дѣятельности ума, при дарѣ блестящаго, увлекательнаго изложенія — само собою разумѣется, они должны были далеко оставить за собою англичанъ.

Умозрительное движеніе, сильно возбужденное Декартомъ и его послѣдователями, потухало. Развиватели Декарта были не по характеру французамъ; они охотнѣе читали и лучше понимали Рабле и Монтаня, нежели Мальбранша. Самъ Вольтеръ упрекаетъ Лейбница въ томъ, что онъ *слишкомъ* глубокомысленъ. При такомъ слоѣ ума, ничего не могло быть естественнѣе и своевременнѣе, какъ распространеніе во Франціи англійской философіи въ началѣ XVIII вѣка. Развитіе и опрощеніе Бэкона и Локка, развитіе и опрощеніе *самой* популярной, нравоучительной философіи англичанъ было сдѣлано во Франціи мастерскими руками; никогда такая огромная сумма всеобщихъ свѣдѣній не была приводима въ форму болѣе общедоступную; никакое философское ученіе не имѣло такого обширнаго круга примѣняемости, такого мощнаго практическаго вліянія; труды англичанъ совершенно затмились изложеніемъ французовъ. Франція воспользовалась всѣмъ засѣяннымъ въ Англіи: Англія имѣла Бэкона, Ньютона — Франція разсказала всему міру ихъ мысли; Англія предложила робкій матеріализмъ Локка — во Франціи онъ развился въ дерзость Ольбаха съ товарищами; Англія вѣка жила высокой юридической жизнію — французъ написалъ De l'esprit des lois; Англія вѣка жила въ гордомъ сознаніи, что нѣтъ полнѣе государственной формы какъ ея, а Франціи достаточно было двухъ лѣтъ de la Constituante, чтобъ обличить несообразности этой формы.

Когда Эльвецій издалъ свою извѣстную книгу De l'esprit, одна дама замѣтила: c'est un homme qui a dit le se-

cret de tout le monde. Можетъ быть, женщина, съ чрезвычайной вѣрностью опредѣлившая не только Эльвеція, но и всѣхъ французскихъ мыслителей XVIII столѣтія, говоря это, не вполнѣ оцѣнила, что сказать то, о чемъ другіе молчатъ, несравненно труднѣе, нежели сказать то, о чемъ другимъ въ голову не приходило. Энциклопедисты дѣйствительно разболтали общую тайну, и за это ихъ обвинили въ безнравственности, а они собственно не были безнравственнѣе тогдашняго парижскаго общества,—они были только смѣлѣе его. Люди тогда начинаютъ имѣть *секреты,* когда нравственный бытъ ихъ распадается; они боятся замѣтить это распаденіе и судорожною рукою держатся за формы — утративъ сущность; изношеннымъ рубищемъ прикрываютъ они раны, какъ будто раны заживутъ оттого, что ихъ не видать. Въ такія эпохи всего злѣе и ревностнѣе вступаются за обличеніе тайнъ нравственнаго быта, и надобно имѣть большое мужество, чтобъ высказывать громко вещи, потихоньку извѣстныя каждому —за подобную дерзость былъ казненъ Сократъ. Гласность и обобщеніе злѣйшіе враги безнравственности; порокъ кроется въ мракѣ, развратъ боится свѣта: для него темнота необходима, не только для скрытности, но для усиленія нечистыхъ упоеній, жаждущихъ запрещеннаго плода; порокъ, вызванный на свѣтъ, теряется; ему становится неловко при открытыхъ дверяхъ, и онъ или исчезаетъ, или очищается; та же самая гласность оправдываетъ многое, считавшееся порочнымъ по сбивчивымъ понятіямъ, по искаженнымъ преданіямъ — и радостно расширяетъ кругъ, скажемъ смѣло, самимъ страстямъ, когда онѣ не противорѣчатъ призванію нравственнаго существа. Философы XVIII столѣтія раскрыли двоедушіе и лицемѣріе современнаго имъ міра; они

указали ложь въ жизни, противорѣчіе оффиціальной морали съ частнымъ поведеніемъ. Общество толковало о строгихъ нравахъ, гнушалось всѣмъ чувственнымъ — и предавалось самому нечистому распутству: философы сказали во всеуслышаніе, что чувства имѣютъ свои права, но что одно чувственное не можетъ удовлетворить развитаго человѣка, что высшіе интересы жизни тоже имѣютъ свои права. Эгоизмъ доходилъ до безобразія въ обществѣ и скрывался подъ личиною самоотверженія, презрѣнія къ богатству: философы доказали, что эгоизмъ — одинъ изъ необходимыхъ элементовъ всего живаго, сознательнаго и, оправдывая его, раскрыли, что человѣческій эгоизмъ — не только чувство личной любви къ самому себѣ, но, сверхъ того, чувство любви къ роду, къ человѣчеству, къ ближнему*).

Обличеніе всеобщей тайны и отрицаніе прежней морали шло быстро впередъ. При Людовикѣ XIV фенелоновъ „Телемакъ“ считался страшной книгой. Регентъ издалъ ее на свой счетъ; въ началѣ своего поприща, Вольтеръ поражаетъ дерзостью; черезъ двадцать лѣтъ Гримъ пишетъ: „патріархъ нашъ отсталъ и упорно держится за дѣтскія вѣрованія свои.“ Вольтеръ и Руссо почти современники, а какое разстояніе дѣлитъ ихъ! Вольтеръ еще борется съ невѣжествомъ за цивилизацію, — Руссо клеймитъ уже позоромъ самую эту искусственную цивилизацію. Вольтеръ дворянинъ стараго вѣка, отворяющій двери изъ раздушеной залы рококо въ новый вѣкъ; онъ въ галунахъ, онъ придворный, онъ разъ былъ на большомъ выходѣ, и когда Людовикъ XV

*) Надобно видѣть, какъ живо, или увлекательно дѣлаетъ именно этотъ переходъ отъ эгоизма къ любви глубокомысленнѣйшій изъ всѣхъ энциклопедистовъ, Дидро, если не ошибаюсь въ своемъ „Essäi sur le merite et la vertu“.

проходилъ—церемоніймейстеръ назвалъ по имени Франсуа-Мари-Аруэта; по другую сторону двери стоитъ плебей Руссо, и въ немъ ничего ужь нѣтъ du bon vieux temps. Ѣдкія шутки Вольтера напоминаютъ герцога Сен-Симона и герцога Ришельё; остроуміе Руссо ничего не напоминаетъ, а предсказываетъ остроты Комитета Общественнаго Благосостоянія. Въ 1720 году вышли „Lettres Persanes“ Монтескьё, и Парижъ былъ до того *скандализованъ* смѣлостью этой книги, что регентъ, смѣявшійся отъ души надъ письмами Рики, Узбека, долженъ былъ уступить общественному мнѣнію, и для приличія немного потѣснить атора; лѣтъ черезъ пятьдесятъ, напечатана въ Лондонѣ „Système de la nature“ Ольбаха et Cie и не токмо не удивила никого, но общественное мнѣніе смѣялось надъ гоненіемъ подобныхъ книгъ. Впрочемъ, далѣе идти было нѣкуда. Эта книга —заключеніе французскаго матеріализма, это лапласовское „j'ai dit tout“! Послѣ этой книги можно было дѣлать частныя приложенія, можно было комментировать Système de la nature — par le Culte de la Raison; но далѣе идти въ дерзости отрицанія невозможно. Съ ограниченной точки зрѣнія разсудочной дѣятельности, при безбоязненномъ и послѣдовательномъ умѣ, непремѣнно надобно было дойдти до Юма или до Ольбаха, Грима, Дидро, т. е. до скептицизма, оставляющаго васъ темной ночью на краю пропасти, или до матеріализма, ничего не понимающаго, кромѣ вещества и тѣла, и именно потому не понимающаго ни вещества, ни тѣла въ ихъ дѣйствительномъ значеніи. Дойдя до этихъ предѣловъ, мышленіе человѣческое стало искать иныхъ путей, но ужь не англичане, не французы нашли и расчистили ихъ, а германцы, приготовившіеся къ подвигу науки постомъ двухвѣковаго бездѣйствія,—германцы, сосре-

доточившіеся въ думѣ, оставившіе жизнь, потому что жизнь для нихъ въ XVII и XVIII столѣтіи была невыносима*), германцы, хранившіе свято книги Спинозы и книги Лейбница и пріученные къ страшному умственному напряженію вольфіанизмомъ.

Энциклопедисты были односторонни до нелѣпости, но они не были такъ плоско-поверхностны, какъ думали объ нихъ нѣмцы, судя по общедоступному языку ихъ. Въ сказкахъ повѣствуютъ о какомъ-то скороходѣ, который, чтобъ не слишкомъ быстро бѣгать, привязывалъ себѣ ядра къ ногамъ; привыкнувъ ходить съ ядрами, я полагаю, онъ очень неловко ходилъ безъ нихъ. Нѣмцы привыкли читать въ потѣ лица тяжелые философскіе трактаты. Когда имъ попадается въ руки книга, отъ которой не трещитъ лобъ, они думаютъ (или, правильнѣе, думали лѣтъ двадцать тому назадъ), что это пошлость.

Если вы сколько нибудь припоминаете развитіе науки, изложенное нами въ письмахъ, то вамъ ясна историческая необходимость Декарта и Бэкона; вы видѣли, что средневѣковой дуализмъ, переходя изъ бытоваго устройства въ сферу теоретическую, и перенося въ нее двуначалье свое, пошелъ двумя путями — путемъ идеализма и путемъ реализма. Какъ скоро вы допустите необходимость Декарта и Бэкона, или, лучше, ихъ ученій — то вы должны будете ждать, что и то и другое направленіе разовьется до послѣдней крайности, до нелѣпости, если хотите. Крайность реализма выразили энциклопедисты; они такъ же дѣйствительно, такъ же вѣрно, такъ же полно представляютъ свою сторону духа человѣческаго, какъ идеалисты свою; и такъ же

*) *Совѣтую* почитать, напр., Шлоссера „Исторію XVIII столѣтія.“

какъ они обусловлены временемъ, послѣ котораго и тѣ и другіе должны потерять свои исключительныя притязанія и соединиться въ одно стройное пониманіе истины. Къ этому примиренію, повторяемъ, стремился Шеллингъ и всѣ послѣдователи его; ему-то обширныя основанія воздвигнулъ Гегель — остальное додѣлаетъ время. Языкъ двухъ противоположныхъ воззрѣній еще слишкомъ разенъ; не достаетъ взаимнаго уваженія, не достаетъ безпристрастія. Конечно, натуры сильныя становятся выше личныхъ мнѣній, или мнѣній своей партіи. Гегель, напр., началъ въ своей исторіи говорить о бэконовскомъ воззрѣніи и его школѣ свысока; но мало по малу, перелистывая сочиненія знаменитыхъ дѣятелей того времени, вживаясь въ нихъ, онъ воспламеняется, увлекается практическими мыслителями до того, что голосъ его дрожитъ отъ глубокаго одушевленія, рѣчь становится восторженна, какой-то трепетъ пробѣгаетъ по груди, и эти люди ограниченной мысли начинаютъ ему казаться чуть ли не крестовыми рыцарями, вдохновенно идущими за развернутымъ знаменемъ разума!... И Гегель съ горькой улыбкой обращается потомъ къ родному идеализму и говоритъ: „А въ Германіи въ это время возились съ лейбницо-вольфовской философіей, съ ея опредѣленіями, аксіомами, доказательствами“ *).

Село Соколово. — Сентябрь, 1845 г.

*) „Geschichte der Philosophie“, T. III, p. 529.

РАЗСКАЗЫ О ВРЕМЕНАХЪ МЕРОВИНГСКИХЪ

(*Предисловіе къ первому разсказу*)

Извѣстность Огюстина Тьерри, столь справедливо заслуженная новымъ его взглядомъ на событія французской исторіи и увлекательнымъ разсказомъ самихъ событій, давно дошла до насъ; но на этомъ поверхностномъ знакомствѣ мы и остановились; ни одно сочиненіе Огюстина Тьерри не переведено еще на русскій языкъ. Положимъ, что его „Письма объ Исторіи Франціи," его „Десятилѣтніе историческіе труды" для нашей публики слишкомъ спеціальны и отчасти лишены интереса, потому что обсуживаютъ и разрѣшаютъ вопросы, невозникавшіе въ ней и къ которымъ она равнодушна; но его „Завоеваніе Англіи Норманнами" и „Разсказы о Временахъ Меровингскихъ," изданныя въ прошломъ году,—великія, обширныя эпопеи, въ которыхъ событія и индивидуальности возсоздаются съ какой-то художественной рельефностью; въ которыхъ давнопрошедшіе вѣка выходятъ изъ могилы, стряхаютъ съ себя пыль и прахъ, обростаютъ плотію и снова живутъ передъ вашими глазами; эти эпопеи имѣютъ интересъ всеобщій, какъ художественныя реставраціи Вальтера Скотта, какъ мрачные портреты Тацита. Желая передать въ „Отечественныхъ Запискахъ" нѣсколько разсказовъ о Меровингахъ, мы обращаемъ вниманіе читателей на *чисто повѣствователь-*

ный характеръ историческихъ сочиненій Огюстина Тьерри:—въ этомъ тайна его чрезвычайнаго успѣха, въ этомъ свидѣтельство его яснаго сознанія французскаго духа, и его симпатія съ нимъ; онъ остался вѣренъ ему, не смотря на общее увлеченіе молодой школы къ теоретическимъ мудрованіямъ въ исторіи, онъ писалъ *разсказы*, а не философствованія по поводу исторіи, (какъ, напримѣръ, Мишлѐ). Истинная, единая философія, философія-наука не дается еще французамъ, и эклектизмъ Кузена — такъ же мало философія, какъ пространное опроверженіе его, написанное, можетъ быть, сильнѣйшей спекулативной головой, какая теперь есть на лицо во Франціи, Пьеромъ Леру*). Гдѣ нѣтъ философіи какъ науки, тамъ не можетъ быть и твердой, послѣдовательной философіи исторіи, какъ бы ярки и блестящи ни были отдѣльныя мнѣнія, высказанныя тѣмъ или другимъ**). Тьерри, повторяемъ, остался вѣренъ французскому духу: онъ *разсказываетъ* былое прошедшихъ вѣковъ, внося въ разсказъ свой всю живость и увлекательность француза и, не смотря на то, что каждая строка его повѣствованій твердо опирается на множествѣ цитатъ и ссылокъ, разсказы его существуютъ самобытно и независимо отъ нихъ; всѣ матеріалы сплавились въ нѣчто органически живое, въ свободное художественное произведеніе въ мощномъ горнилѣ таланта, и нигдѣ не осталось „запаха лампы,“ не смотря на то, что много масла было сожжено имъ въ продолженіи двадцатилѣт-

*) Réfutation de l'éclectisme, où se trouve exposée *la vrai définition* de la philosophie etc. par P. Leroux. 1859. Paris.

**) Напримѣръ, множество чрезвычайно вѣрныхъ и глубокихъ мыслей у Бюше; въ статьяхъ „Новой Энциклопедіи,“ издаваемой Леру, въ прежнемъ Revue Encyclopédique и въ многихъ другихъ сочиненіяхъ.

нихъ глубочайшихъ изъисканій и трудовъ. Для того, чтобъ оцѣнить всю прелесть его разсказа, поставьте рядомъ съ нимъ какого нибудь Капфига: онъ, въ сравненіи съ Тьерри, вамъ покажется несчастной каріатидой, раздавленной множествомъ матеріаловъ, актовъ; жалкимъ труженикомъ, выписывающимъ тамъ и сямъ по страницѣ; и какъ бы выписки его ни были занимательны сами въ себѣ, весь трудъ мертвъ, все вмѣстѣ — сухая компиляція. Не говоря уже о томъ, что одно глубочайшее изученіе своего предмета, жизнь въ немъ, могла сообщить разсказу Тьерри его одушевленіе и вѣрность, надобно припомнить, что для него изученіе исторіи имѣло современный, живой, общественный интересъ: онъ принялся за древнюю Францію, чтобъ уяснить себѣ тяжкіе вопросы о новой Франціи, въ которой онъ жилъ и для которой жилъ*). Такое направленіе сообщило еще болѣе энергіи его труду, и въ самомъ направленіи этомъ онъ опять находится въ той области, гдѣ французъ дома и полонъ поэзіи. Но не думайте, чтобъ онъ внесъ какую нибудь arrière pensée, какую нибудь свою задушевную теорійку въ свои изслѣдованія (какъ нѣкогда Буленвильѐ, Мабли и проч.), —для этого онъ слишкомъ ученъ, слишкомъ талантливъ, слишкомъ добросовѣстенъ.

Самая личность Тьерри занимательна. Страдалецъ науки, онъ потерялъ зрѣніе въ 1826 году отъ безпрерывныхъ занятій; рушились всѣ его предпріятія, всѣ замыслы; горесть начинала овладѣвать имъ, какъ вдругъ явился юный, тогда еще безвѣстный помощникъ, замѣнившій ему съ теплою симпатіей глаза и руку; посред-

*) См. въ Dix ans d'études historiques, par A. Thierry, предисловіе и въ особенности статьи, писанныя отъ 1819 до 1821 года.

ствомъ его слѣпецъ *помирился съ мракомъ**) ; имя этого юноши впослѣдствіи сдѣлалось довольно громко, и бѣдному Тьерри пришлось плакать на его могилѣ : то былъ извѣстный Арманъ Каррель. Когда историкъ возобновилъ свои занятія, болѣзненный организмъ его еще разъ объявилъ войну духу : совершенно больной и изнеможенный, онъ долженъ былъ оставить Парижъ ; но болѣзни не побѣдили его. Вотъ, что писалъ онъ въ мѣстечкѣ Везуль 10 ноября 1834 : „Если интересы науки считать на ряду съ великими національными интересами, то я далъ родинѣ все, что можетъ дать ей солдатъ, изувѣченный на полѣ битвы. Какова бы ни была участь моихъ трудовъ, примѣръ этотъ не долженъ погибнуть ; пусть онъ будетъ уликой противъ нравственнаго изнеможенія—этой язвы новаго поколѣнія ; пусть укажетъ онъ на прямую дорогу жизни кому нибудь изъ этихъ разслабленныхъ, жалующихся на недостатокъ вѣрованій, незнающихъ куда дѣться, гдѣ найдти любовь и убѣжденія... Развѣ въ наукѣ нѣтъ убѣжища, пристани, надежды? Съ нею не такъ тягостно идутъ дурные дни, съ нею жизнь употреблена благородно... Слѣпой и страждущій безнадежно, я могу свидѣтельствовать, и моему свидѣтельству должно дать вѣру : есть въ мірѣ нѣчто драгоцѣннѣе матеріальныхъ наслажденій, богатства, самого здоровья — *любовь къ наукѣ.*“ И эта благородная любовь на столько восторжествовала надъ мракомъ и недугами, что въ 1840 году вышли двѣ изящныя книжки „Разсказовъ о Временахъ Меровингскихъ,“ которые Тьерри твердо намѣренъ продолжать. Единодушныя рукоплесканія цѣлой Франціи встрѣтили новый трудъ

*) « J'avais fait amitié avec les tenèbres », говоритъ Тьерри. Какое умилительное, кроткое выраженіе ! (Dix Ans. Préface).

историка; Франція щедро наградила страждущаго инвалида науки — объ этомъ писали во всѣхъ газетахъ. Отрывки изъ „Разсказовъ“ были напечатаны въ его „Dix Ans“ и въ „Revue des Deux Mondes“*). На этотъ разъ мы предлагаемъ „*первый разсказъ*“ по исправленному и дополненному тексту вновь вышедшей книги. Сверхъ того, намъ казалось необходимымъ присоединить къ разсказу письмо Тьерри къ издателю «Revue des Deux Mondes,» чтобъ разомъ поставить читателя на ту точку зрѣнія относительно временъ меровингскихъ, съ которой всего правильнѣе долженъ освѣтиться рядъ слѣдующихъ картинъ. Вотъ это письмо**):

„ М. Г. Съ давняго времени утвердилось и распространилось до пошлости мнѣніе, что нѣтъ періода въ нашей исторіи безплоднѣе и запутаннѣе періода меровингскаго. О немъ говорятъ на-скоро, сокращаютъ его, скользятъ по немъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти. Мнѣ кажется, въ этомъ пренебреженіи больше лѣни, нежели истины, и если отчасти справедливо, что исторія Меровинговъ запутана, во ужь вовсе несправедливо, что она безплодна. Напротивъ, это время исполнено происшествій рѣзкихъ, личностей выразительныхъ, случаевъ драматическихъ, такъ что затрудненіе собственно сводится на приведеніе въ порядокъ огромнаго количества матеріаловъ. Вторая половина шестаго столѣтія въ особенности богата интересами для современныхъ историковъ и читателей — потому ли, что то было время

*) N° du 15 Décembre 1833 et du 15 Juillet 1834.

**) N° du 15 Août 1833. Оно не перепечатано въ его « Récits » и не было въ томъ нужды, послѣ его пространной и прекрасной диссертаціи « Considérations sur l'histoire de France », служащей какъ бы введеніемъ къ нимъ.

начальнаго смѣшенія между туземцами и побѣдителями, запечатлѣвшаго ее поэтическимъ характеромъ, или она такъ оживлена для насъ простосердечнымъ лѣтописцемъ своимъ, Георгіемъ-Флоренціемъ-Григоріемъ, извѣстнымъ подъ именемъ Григорія Турскаго. Въ самомъ дѣлѣ, надобно спуститься до временъ Фруасара, чтобъ найдти повѣствователя, который могъ бы равняться ему въ искусствѣ драматически выводить людей на сцену. Въ его разсказахъ, иногда забавныхъ, иногда печальныхъ, но всегда истинныхъ и оживленныхъ, выставляются перепутанными и смѣшанными всѣ борьбы, всѣ противоположности племенъ, сословій, состояній, вызванныхъ въ Галлію франкскимъ завоеваніемъ. Это галлерея картинъ и изваяній, въ безпорядкѣ расположенныхъ; это древнія народныя пѣснопѣнія, случайно собранныя вмѣстѣ, и слѣдующія другъ за другомъ безъ всякаго порядка; но изъ нихъ рука искусная можетъ образовать великую поэму. Григорій Турскій и его современники, однимъ словомъ, прекрасный предметъ для художественнаго и историческаго произведенія.

„Если я не осмѣливаюсь предпринять этого труда во всей его обширности, если вся поэма выше силъ моихъ, я могу по крайней мѣрѣ обѣщать вамъ нѣсколько эпизодовъ, нѣсколько отрывковъ, которые дадутъ истинное понятіе о странномъ смѣшеніи людей и фактовъ, наполняющемъ періодъ меровингскій. Мое дѣло будетъ— собрать разсѣянные, несвязанные между собою случаи и подробности и составить изъ нихъ *массы* повѣствованій. Бытъ королевскій, внутренняя жизнь ихъ дворцовъ, буйство вельможъ и насилія, междоусобныя войны и войны частныя, коварная мятежность Галло-Римлянъ и дикая необузданность варваровъ, духъ возмущенія и самоуправства, распространенный даже за стѣны жен-

скихъ монастырей—вотъ картины, которыя я хочу набросать по современнымъ памятникамъ и которыхъ совокупность должна возстановить Галлію шестаго вѣка. Я изучу до малѣйшихъ подробностей судьбу историческихъ лицъ, буду слѣдовать за ними черезъ всѣ фазы ихъ существованія и постараюсь дать реальность и жизнь тѣмъ, которые были наиболѣе оставлены въ тѣни новѣйшею исторіей. Наконецъ, надъ всѣми ими будутъ господствовать три индивидуальности, типически выражающія свой вѣкъ: Фредегонда, Еоній Муммолъ и самъ Григорій Турскій; Фредегоода—идеалъ первоначальнаго варварства безъ всякаго сознанія добра и зла; Муммолъ—образованный человѣкъ, который по доброй волѣ *развращается* въ варварство для того, чтобъ быть своевременнымъ; Григорій Турскій—человѣкъ прошедшаго но прошедшаго лучшаго, нежели тягостное настоящее, вѣрное эхо скорбныхъ звуковъ, исторгавшихся у благородныхъ сердецъ при видѣ гибнущей цивилизаціи!“

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ

Сердце жертвуетъ родъ — лицу, разумъ лицо — роду. Человѣкъ безъ сердца — не имѣетъ своего очага; семейная жизнь зиждется на сердцѣ; разумъ — res publica человѣка.

Изъ какой-то нѣмецкой книги.

Отличительная черта нашей эпохи есть grübeln. Мы не хотимъ шага сдѣлать, не выразумѣвъ его, мы безпрестанно останавливаемся какъ Гамлетъ и думаемъ, думаемъ... Нѣкогда дѣйствовать; мы переживаемъ безпрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся съ нами и съ другими,— ищемъ оправданій, объясненій, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее насъ подверглось пытующему взгляду критики. Это болѣзнь промежуточныхъ эпохъ. Встарь было не такъ: всѣ отношенія, близкія и дальнія, семейныя и общественныя были опредѣлены — справедливо ли, нѣтъ ли,—но опредѣлены. Оттого много думать было нѣчего: стоило сообразоваться съ положительнымъ закономъ, и совѣсть удовлетворялась. Все существующее казалось тогда натурально, какъ кровообращаніе, пищевареніе, которыхъ причина и развитіе спрятаны за спиною сознанія, но дѣйствуютъ своимъ порядкомъ, безъ того, чтобъ мы объ нихъ заботились, безъ того, чтобъ мы ихъ пони-

мали. На всѣ случаи были разрѣшенія; оставалось жить по писанному. А если и являлись когда сомнѣнія, ихъ легко было разрѣшить; стоило спросить папу, напримѣръ, или обмакнуть руку въ кипятокъ — и истина открывалась. На всѣхъ перепутьяхъ жизни стояли тогда разныя неподвижныя тѣни, грозныя привидѣнія для указанія дороги, и люди покорно шли по ихъ указанію. Иногда спорили, почему указана та дорога, а не другая, но никому и въ голову не приходило, откуда взялись эти привидѣнія, и по какому праву распоряжаются они. Ихъ принимали за фактъ, имѣющій самъ въ себѣ узаконеніе и котораго признанное бытіе — непреложное ему доказательство. Ко всему привязывающійся, сварливый вѣкъ, уничтожая все, что попадалось подъ руку, добрался наконецъ до преданій предковъ, подточилъ ихъ основаніе, сжегъ огнемъ критики, преданія исчезли. Стало просторно; но просторъ даромъ не достается; мы узнали, что вся отвѣтственность, падавшая внѣ ихъ, падетъ на насъ; самимъ пришлось смотрѣть за всѣми и занять мѣста привидѣній, которыя стали злѣе грызть совѣсть. Сдѣлалось тоскливо и страшно — пришлось проводить сквозь горнило сознанія статью за статьею прежняго кодекса пока этого не сдѣлано, начали grübeln. Ясное, какъ дважды-два—четыре, нашимъ дѣдамъ, исполнилось мучительной трудности для насъ. Въ событіяхъ жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ насъ преслѣдуютъ неразрѣшимые вопросы, и, вмѣсто того, чтобъ наслаждаться жизнію—мы мучимся. Подъ часъ, подобно Фаусту, мы готовы отказаться отъ духа, вызваннаго нами, чувствуя, что онъ не по груди и не по головѣ намъ. Но бѣда въ томъ, что духъ этотъ вызванъ не изъ ада, не съ планетъ, а изъ собственной груди человѣка, и ему нѣкуда исчезнуть. Куда бы человѣкъ ни от-

вернулся отъ этого духа, первое, что попадется на глаза, это онъ съ своими вопросами. Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu !

Безотходный духъ критики овладѣлъ и театромъ; мы его приносимъ съ собою въ партеръ. Сочинитель пишетъ пьесу для того, чтобъ пояснить свое сомнѣніе,— и, вмѣсто того, чтобъ отдохнуть отъ дѣйствительной жизни, глядя на воспроизведенную искусствомъ, мы выходимъ изъ театра задавленные мыслями тяжелыми и неловкими. Это понятно. Театръ — высшая инстанція для рѣшенія жизненныхъ вопросовъ. Кто-то сказалъ, что сцена—представительная камера поэзіи. Все тяготящее, занимающее извѣстную эпоху, само собою вносится на сцену и обсуживается страшной логикой событій и дѣйствій, развертывающихся и свертывающихся передъ глазами зрителей. Это обсуживаніе приводятъ къ заключеніямъ не отвлеченнымъ, но трепещущимъ жизнію, неотразимымъ и многостороннимъ. Тутъ не лекція, не поученіе, поднимающее слушателей въ сферу отвлеченныхъ всеобщностей, въ безстрастную алгебру, мало относящуюся къ каждому, потому именно, что она относится ко всѣмъ. На сценѣ жизнь схвачена во всей ея полнотѣ, схвачена въ дѣйствительномъ осуществленіи лицами, на самомъ дѣлѣ, flagrant délit съ ея общечеловѣческими началами и частно-личными случайностями, съ ея ежедневною пошлостью и съ ея грязной, всепожирающей страстью, скрытой подъ пыльной плевою мелочей, какъ огонь подъ золой Везувія. Жизнь схвачена и, между тѣмъ, не остановлена; напротивъ, стремительное движеніе продолжается, увлекаетъ зрителя съ собой, и онъ съ прерывающимся дыханіемъ, боясь и надѣясь, несется вмѣстѣ съ развертывающимся событіемъ до крайнихъ слѣдствій его — и вдругъ оста-

ется одинъ. Лица исчезли, погибли; онъ переживаетъ ихъ жизнь, успѣлъ полюбить ихъ, взойдти въ ихъ интересы. Ударъ, разразившійся надъ ними рикошетомъ, былъ ударъ въ него. Такая страстная близость зрителя и сцены дѣлаетъ сильную, органическую связь между ними; по сценѣ можно судить о партерѣ, по партеру о сценѣ. Партеръ не чужой сценѣ: онъ въ родѣ хора греческой трагедіи; онъ не внѣ драмы, а обнимаетъ ее волнами жизни, атмосферой сочувствія, которая оживляетъ актёра; и сцена съ своей стороны, не чужая зрителю: она переноситъ его не дальше, какъ въ его собственное сердце. Сцена всегда современна зрителю, она всегда отражаетъ ту сторону жизни, которую хочетъ видѣть партеръ. Нынѣче она учавствуетъ въ трупоразъятіи жизненныхъ событій, стремится привести въ сознаніе всѣ проявленія жизни человѣческой и разбираетъ ихъ какъ мы, судорожной и трепетной рукой — потому что не видитъ, какъ мы, ни выхода, ни всего результата этихъ изслѣдованій. Она дѣлаетъ это относясь къ намъ, такъ какъ нѣкогда эсхиловъ „Прометей“ относился къ внутренней жизни народа аѳинскаго, или „Свадьба Фигаро“ къ внутренней жизни Франціи передъ революціей. Мы умѣемъ восхищаться, понимать и „Прометея“ и „Свадьбу Фигаро,“ но мы понимаемъ (лучше ли, хуже ли — другой вопросъ), мы понимаемъ *иначе,* нежели рукоплескавшіе Аѳиняне, нежели рукоплескавшіе Парижане 1785 года,— и того тѣсно жизненнаго сочлененія нѣтъ болѣе. Французъ XIX вѣка оцѣнитъ и пойметъ Бомаршѐ, но „Фигаро“ не есть уже *необходимость* для него съ тѣхъ поръ, какъ его лицо воплотилось во множество лицъ палаты, а графъ Альмавива скончался въ бѣдности, отъ преждевременной дряхлости, обыкновенной спутницы слишкомъ разгуль-

ной юности. Самый воздухъ, окружающій его, не тотъ; густая, знойная атмосфера, пропитанная нѣгой, сладострастіемъ и тяжелая отъ предчувствія бури, такъ очистилась и разъяснилась отъ громовыхъ ударовъ кроваваго террора, что чахоточные боятся чрезвычайной изрѣженности ея. Въ Германіи, въ одно и то же время были принимаемы громомъ рукоплесканій Коцебу и Шиллеръ, потому что въ Германіи сантиментальность и шписбюргерлихкейтъ, по странному стеченію обстоятельствъ, были корою, за которою шевелился мощный и здоровый зародышъ. Шиллеръ и Коцебу — полные и достойные представители: одинъ всего святаго человѣчественнаго, возникавшаго въ эту эпоху, другой всего грязнаго и отвратительнаго, загнивавшаго тогда же. У насъ даютъ все на свѣтѣ — оттого, что нашъ партеръ все на свѣтѣ. Мы не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ отношеніи всеѣдны. Какъ послѣдніе пришельцы и наслѣдники, мы перебираемъ унаслѣдованное изъ всѣхъ странъ и вѣковъ, смотримъ на это, какъ на чужое и постороннее, смотримъ не потому, чтобъ оно было нужно намъ или доставляло много удовольствія, а для того, чтобъ заявить наше право и не отставать отъ другихъ, — на томъ же основаніи, какъ нѣкогда мы ѣздили въ ассамблеи, не для удовольствія, а по наряду и по нуждѣ. A force de forger многое принялось — однимъ то, другимъ другое; никто ни съ кѣмъ не сговаривался, всякій молодецъ на свой образецъ: оттого потребности нашего партера съ одной стороны очень сложны, а съ другой стороны имъ очень легко удовлетворить. У насъ, въ одномъ ряду креселъ встрѣчаются полюсы человѣчества — отъ *небритой* бороды патріархальной, бороды an sich, до отрощенной бороды, сознательной, бороды für sich; а между двумя бородами

можно найдти представителей главныхъ моментовъ развитія человѣчества, да еще нѣкоторыхъ оригинальныхъ, не достававшихъ человѣчеству. Каждый говоритъ своимъ языкомъ, каждый имѣетъ свои потребности. Счастливѣе Вавилонянъ, мы начинаемъ съ того, чѣмъ они кончили свое столпотвореніе, то есть, не понимаемъ другъ друга; они таскали камни, и долго работая, дошли до того, что у насъ впередъ идетъ. Каждая пьеса имѣетъ свою публику; къ ней присоединяется постоянно балластъ, то есть, люди, которые послѣ 7 часовъ бываютъ въ театрѣ единственно потому, что они не внѣ театра бываютъ послѣ 7 часовъ. Разомъ для всей публики, у насъ, пьесъ не дается, развѣ за исключеніемъ „Горе отъ Ума“ и „Ревизора“; для бельэтажа — безъ *словъ*, но съ танцами и богатой постановкой; для райка — пьесы, въ которыхъ кто нибудь кого нибудь бьетъ; для статскихъ чиновниковъ — пьесы съ пушечной пальбой, превращеніями, нравственными сентенціями; для купцовъ тоже съ превращеніями, но и съ цыганскими плясками; другіе все смотрятъ, но особенно же любятъ водевили съ двусмысленными куплетами и танцы съ двусмысленными движеніями.

Все это безсвязно, такъ, какъ я разсказалъ, пришло мнѣ въ голову при выходѣ изъ театра, когда я думалъ о пьесѣ, которую видѣлъ; а содержаніе этой пьесы въ самыхъ короткихъ словахъ вотъ какое:

Драма самая простая; если вы не видали подобной у себя въ домѣ, то навѣрное могли видѣть у котораго нибудь изъ сосѣдей. Дѣвица 28 лѣтъ, по имени Генріэтта, болѣзненная и печальная, влюблена до безумія въ юношу 20 лѣтъ, а тотъ, беззаботный и веселый, живетъ себѣ не думая о ней, да сверхъ того, кажется, и ни о чемъ другомъ. Докторъ — другъ отца Генріэтты,

понявъ дѣло, захотѣлъ съ патологическимъ благоразумiемъ помочь и, само собою разумѣется, страшно повредилъ. Онъ торжественно и таинственно разсказалъ юношѣ о любви къ нему Генріэтты, требуя отъ него, чтобъ онъ уѣхалъ, скрылся. Вѣсть о любви сильно отозвалась въ сердцѣ юноши; сознаніе быть любимымъ и притомъ въ 20 лѣтъ, обняло огнемъ всю грудь его и съ той минуты онъ самъ ее любитъ. Она, никогда не смѣвшая питать надежды на взаимность, счастлива до высочайшей степени; мечта ея сбылась, осуществилась прекрасно и полно. Онъ проситъ ея руки и, не смотря на предостереженія доктора, или именно подстрекаемый имъ, женится. Проходитъ пять лѣтъ въ антрактѣ. Мы застаемъ нашу чету въ замкѣ. Люди богатые, они ведутъ пустую и праздную жизнь; дѣтей нѣтъ. Скоро открывается, что подъ этой праздностью кроются разъѣдающія страсти. Онъ не любитъ больше Генріэтты, и страстно влюбленъ въ Полину. Молодой человѣкъ благороденъ и честенъ; онъ понимаетъ святость своихъ обязанностей и болѣе — онъ исполненъ безпредѣльнаго уваженія къ любящей, кроткой, доброй Генріэттѣ. Но онъ ея не любитъ — онъ любитъ другую, это фактъ его сердца: любитъ потому что любитъ, не любитъ потому что не любитъ; — логика чувствъ и страстей коротка. Сгнетенная страсть ростетъ; онъ ей не даетъ шага; онъ уничтожается, разлагается въ этой борьбѣ, но борется. Жена догадалась, и они быстро влекутъ другъ друга къ гибели во имя любви. Генріэтта въ отчаяніи: она ничего не имѣетъ внѣ мужа, ея жизнь только любовь къ нему; а онъ еще больше въ отчаяніи: онъ безчестенъ въ своихъ глазахъ, онъ клятвопреступникъ, онъ подлый обманщикъ — тутъ, притворяясь, что любитъ, тамъ, притворяясь, что не любитъ. Такое натя-

нутое положеніе долго не можетъ продолжаться. Генріэтта рѣшается выдать Полину за какого-то шута; та не хочетъ. Въ порывѣ ревности, Генріэтта упрекаетъ ее въ разрушеніи семейнаго счастія, въ любви къ ней мужа, въ ея любви къ нему. Молодая дѣвица, любившая въ тиши, не признаваясь себѣ, Эмиля, не подозрѣвая его любви, этими словами вовлечена въ страшную борьбу страстей. Чувство ея названо; тайна ея обличена. Въ первомъ порывѣ отчаянія, она соглашается идти замужъ. Спрашиваютъ согласія Эмиля: Полина живетъ у нихъ въ домѣ и родственница. Онъ согласенъ. Долгъ побѣдилъ; но и Эмиль получилъ рану въ грудь, вся сила его истощена на эту побѣду. Онъ рѣшается —и это, можетъ, благоразумнѣйшая мысль во всю его жизнь — онъ рѣшается уѣхать... Даль, занятія разсѣютъ, отвлекутъ, исцѣлятъ; но жена, узнавъ это, намѣревается лишить себя жизни, отказываетъ ему имѣніе и исчезаетъ. Эмиль въ отчаяніи. Проходитъ годъ. Полина въ монастырѣ; вдовецъ ѣдетъ за ней, женится — и на обратномъ пути встрѣчается съ Генріэттой, которая вовсе не утонула, а жила съ убійственной грустью въ душѣ и съ злою чахоткой въ груди, у доктора; бѣдная женщина питала на днѣ оскорбленнаго, истерзаннаго сердца надежду, что Эмиль любитъ ее изъ сожалѣнія, а между тѣмъ, она не знала, что смерть ея была доказана трупомъ всплывшей женщины въ день ея побѣга. Эмиль, отъискивая въ маленькомъ городкѣ врача, приходитъ къ доктору и застаетъ Генріэтту; она бросается къ нему; но онъ, окаменѣлый, полумертвый, потерянный, отвѣчаетъ на ея порывъ новостью о своемъ бракѣ. Слабой, едва живой Генріеттѣ нельзя было вынести такого удара. Глухо закашляла она и бросилась изъ комнаты. Онъ ринулся было за нею—дверь заперта...

Страшная минута тишины, невыносимая минута бездѣйствія — онъ сломился подъ ея гнетомъ, онъ съ бѣшенствомъ и безуміемъ бросился на полъ, вырывая себѣ волосы и стеная. Дверь отворилась; докторъ вошелъ спокойный и величественно-коротко возвѣстилъ, что она умерла, прощая его и совѣтуя беречь Полину. И двоеженецъ, поверженный въ прахъ, остается съ страшными угрызеніями совѣсти, которыя, вѣроятно, проводятъ его черезъ всю жизнь. Вотъ и пьеса!

Когда опустился занавѣсъ, мнѣ было невыразимо тяжело. Точно я присутствовалъ при инквизиторской пыткѣ невинныхъ. Всѣ люди въ этой драмѣ — люди добрые, обыкновенные, даже честные и исполняющіе долгъ свой; а между тѣмъ, одинъ изъ нихъ казненъ смертью, двое другихъ—участіемъ въ этой казни. „Какъ вамъ нравится драма?“ спросилъ меня сосѣдъ, протирая очки... У меня есть примѣта не вступать въ разговоръ съ незнакомымъ въ публичномъ мѣстѣ, если онъ самъ его не начнетъ; мнѣ все кажется, что такой человѣкъ или большой говорунъ, или большой слушатель. А потому, вмѣсто отвѣта, я посмотрѣлъ на моего сосѣда, желая узнать что онъ, говорунъ или слушатель; но онъ такъ добродушно и такъ наивно и такъ щуря глаза протиралъ очки, что я преступилъ правило дипломатической гигіены и отвѣчалъ:—„Драма, кажется, обыкновенная, а между тѣмъ она глубоко задѣваетъ.“ —„Я даже было прослезился... стыдно признаться. Этакая славная женщина, идеалъ“... продолжалъ человѣкъ креселъ подъ № 39: „и досталась же такому мерзавцу мужу!“

— Не лучше ли сказать — такому несчастному человѣку?

— Какой онъ несчастный! Безхарактерный эгоистъ,

не умѣлъ ни отказаться вò-время отъ нея, ни любить ее послѣ, ни побѣдить новой страсти. Неужели онъ правъ по вашему?

— По моему, отвѣчалъ я улыбаясь:—во первыхъ, всѣ они правы, а во вторыхъ, всѣ они виноваты, но вѣроятно не такъ, какъ вы полагаете.

— Очень хорошо, но... главный виновникъ?

— Да на что вамъ онъ? Главный виновникъ, какъ всегда, спрятался: онъ стоялъ за кулисами.

Въ это время къ № 39 подошелъ какой-то знакомый —и нашъ разговоръ кончился, но продолжался во мнѣ рядомъ грустныхъ Grübeleien.

...Ничѣмъ люди не оскорбляются такъ, какъ неотысканіемъ виновныхъ; какой бы случай ни представился, люди считаютъ себя обиженными, если нѐ кого обвинить — и, слѣдственно, бранить, наказать. Обвинять гораздо легче, нежели понять. Понять событіе, преступленіе, несчастіе — чрезвычайно важно и совершенно противоположно рѣшительнымъ сентенціямъ строгихъ судей, понять значитъ, въ широкомъ смыслѣ слова, оправдать, возстановить: дѣло глубоко человѣческое, но трудное и не казистое. Оправдать падшаго то же, что поставить его на одну доску со мною. То ли дѣло съ высоты своего нравственнаго величія упрекать и позорить его, указывая на себя, хотя въ положеніи и нѣтъ никакого сходства, и проповѣдникъ по большей части—извѣстная мышь въ голандскомъ сырѣ! Оставя эту суетность, спрашиваемъ, для чего намъ судить? Для суда и осужденія есть положительное законодательство, имѣющее на это болѣе права—силу, власть. Наше *партикулярное* дѣло — проникать мыслью въ событіе, освѣщать его не для того, чтобъ наказывать и награждать, не для того, чтобъ прощать,—тутъ столько же

гордости и еще больше оскорбленія,— а для того, что, внося свѣтъ въ тайники, въ подземельные ходы жизни, изъ которыхъ вырываются иногда чудовищныя событія, мы изъ тайныхъ дѣлаемъ ихъ явными и открытыми. Зло—темнота ; оно не имѣетъ никакой внутренней силы, чтобъ противостоять свѣту. Оно только сильно — пока не взошло солнце разума, и мы, не видя его, придаемъ ему фантастическіе, чудовищные образы. Къ этой страсти искать виновныхъ для того, чтобъ ихъ ругать и клеймить позоромъ, присовокупляется у добрыхъ людей наивное требованіе, чтобъ каждый человѣкъ былъ мелодрамнымъ, романически-безукоризненнымъ героемъ, исполнялъ бы съ полнымъ самоотверженіемъ свои обязанности, или, лучше, не свои обязанности, а тѣ, которыя заставляютъ его исполнять. И кто же эти взыскательные? Люди, которые для общей пользы не пожертвуютъ рюмкой водки, люди, къ которымъ въ семейную жизнь оборони Богъ заглянуть, милые невѣжды въ страстяхъ и увлеченіяхъ, потому что любили только себя и употребляли всю жизнь для успокоенія и холенья себя. Кто бывалъ искушаемъ, падалъ и воскресалъ, найдя себѣ силу хранительную, кто одолѣлъ хоть разъ истинно распахнувшуюся страсть, тотъ не будетъ жестокъ въ приговорѣ: онъ помнитъ, чего ему стòяла побѣда, какъ онъ, изнеможенный, сломанный, съ изорваннымъ и окровавленнымъ сердцемъ, вышелъ изъ борьбы ; онъ знаетъ цѣну, которою покупаются побѣды надъ увлеченіями и страстями. Жестоки непадавшіе, вѣчно трезвые, вѣчно побѣждающіе, то есть, такіе, къ которымъ страсти едва притрогиваются. Они не понимаютъ, что такое страсть. Они благоразумны какъ ньюфоундлэндскія собаки, и хладнокровны, какъ рыбы. Они рѣдко падаютъ и никогда не подымаются; въ добрѣ они такъ же воздержны, какъ въ злѣ. Оста-

новимся лучше съ горестью передъ лицами нашей драмы, пожалѣемъ объ нихъ, протянемъ имъ руку не осуждая, не браня; мы не члены уголовнаго суда; они довольно настрадались—поговоримъ объ нихъ съ участіемъ, а не съ укоромъ, будемъ на нихъ смотрѣть какъ на больныхъ, а не такъ, какъ на преступниковъ.

Герой нашей драмы—человѣкъ увлекающійся и безъ всякаго направленія; его жизнью управляетъ внѣшняя власть; онъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые ложатся спать, не зная, что завтра будутъ дѣлать, пойдутъ ли на охоту или будутъ читать, или играть въ карты. Онъ сначала любилъ свою жену откровенно,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, и, какъ всѣ люди, не имѣющіе такъ сказать *задней мысли*, дающей тонъ всей ихъ жизни, онъ не могъ быть остановленъ ничѣмъ въ свѣтѣ передъ бракомъ. Когда люди такого рода получаютъ какое нибудь опредѣленное чувство, имъ становится хорошо; состояніе безцѣльнаго существованія тягостно... Мало по малу онъ охладѣлъ къ женѣ; къ этому многое способствовало: всегдашняя зависимость его отъ впечатлѣній, разница лѣтъ, насмѣшки; потомъ — бездѣтный бракъ всегда ближе къ тому, чтобъ распасться. Не смотря на охлажденіе мужа, жизнь ихъ могла бъ идти довольно хорошо: форма безъ содержанія можетъ долго простоять въ покоѣ, но первый толчокъ — и она падетъ. Въ молодой душѣ Эмиля была бездна силъ неупотребленныхъ; ихъ нѣкуда было ему дѣть; у домашняго очага, въ пустой жизни, блага неупотребленныя, праздныя силы всегда грозятъ бѣдой: онѣ бродятъ, требуютъ занятія, истока. Взоръ его, искавшій спасенія отъ скуки, встрѣтилъ живой, милый взоръ дѣвицы, только что вышедшей изъ дѣтской хризолиды. „Тутъ онъ долженъ былъ остановить себя!...“ Да неужели, вы думаете, онъ

полюбилъ ее намѣренно? Эти привязанности дѣлаются безсознательно; можетъ, мѣсяцы прошли прежде, нежели онъ догадался, отъ чего ему пріятно смотрѣть на ея улыбку, слушать ея пѣсню; а когда онъ узналъ, назвалъ свое чувство, страсть глубоко вкоренилась, и когда онъ хотѣлъ себя остановить, его бытіе раскололось на двое, гдѣ съ одной стороны долгъ и умъ, а съ другой, сердце, кипящее страстями; у него не достало силы найдти выходъ. Онъ остался, какъ былъ, человѣкъ подчиненный сердцу, да сверхъ того, какъ слабый человѣкъ и въ страсти, не умѣлъ идти до крайнихъ послѣдствій, а остановился въ страшной и мучительной борьбѣ, не имѣя силы, ни сердца принесть въ жертву долгу, ни долга принесть въ жертву сердцу. Мы его видимъ во второмъ дѣйствіи съ потерянным видомъ, жалкимъ до слезъ; онъ твердъ въ натянутой роли; но подземный хоръ дьяволовъ, какъ въ „Робертѣ," слышится глухо въ его груди, и эта страшная пѣсня раздается вопреки ему, — и чувствуется, что ему не подавить этого хора.

Генріэтта сама ускоряетъ взрывъ. Она точно также покорна одному сердцу, болѣе, можетъ, нежели Эмиль; по счастію ея сердце не въ разладѣ съ долгомъ; ея любовь къ мужу — безумная страсть; уязвленная, она обвивается гремучей змѣей около трехъ лицъ и должна или ихъ задушить, или погубить. Да не ненависть ли это?... Посмотрите, какъ все странно въ этой тѣсной сферѣ личныхъ отношеній. Кроткая, благородная, добрая женщина въ своекорыстномъ опьяненіи ревности жертвуетъ жизнію Полины, отдавая ее замужъ за какого-то урода. Дѣвица готова погубить себя, — юность всегда самоотверженна и безразсчетна,—готова предать себя позору брачнаго ложа безъ любви, какъ будто Эмиль отъ этого снова полюбитъ свою жену. Не знаю

цѣли, съ какой авторы*) прибавили третье дѣйствіе, но оно до такой степени не нужно, до такой степени несправедливо (въ смыслѣ наказанья Эмиля), что превосходно вѣнчаетъ всю драму. Только въ этомъ мірѣ могутъ развиваться такія катастрофы, гдѣ внутренняя случайность чувствъ учреждаетъ жизнь вмѣстѣ съ внѣшней случайностью обстоятельствъ.

Виновныхъ тутъ нѣтъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ хотятъ виноватыхъ (какъ сознательныхъ преступниковъ); есть одна вина, за которую ихъ нельзя отдать подъ судъ, но которая была причиною всѣхъ бѣдствій причиной скрытой, неизвѣстной имъ.

Нѣтъ ничего легче, послѣ сужденій обвиняющей толпы, какъ стоическимъ формализмомъ разрѣшать жизненные вопросы. Формализмъ, какъ всякая отвлеченность, беретъ одну сторону, и правъ съ этой стороны, а другихъ онъ знать не хочетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пытались, особенно въ Германіи, всѣ вопросы и всѣ сомнѣнія разрѣшать путемъ отвлеченнымъ, отрѣшая отъ вопроса усложняющія стороны его и дѣлая его, слѣдовательно, вовсе не тѣмъ вопросомъ, какимъ онъ есть; на широкихъ и крѣпкихъ основаніяхъ выростили тощіе и бѣдные плоды, искусственно и насильственно вытянутые. Рѣшенія такого формализма безжизненны; онъ идетъ отъ умерщвленнаго данчаго къ мертвому послѣдствію; отъ его холоднаго дыханія все коченѣетъ, вытягивается въ угловатыя формы, въ которыхъ содержанію мочи нѣтъ тѣсно; въ немъ нѣтъ ни пощады, ни милосердія—одни категоріи и пренебреженія. Вездѣ, гдѣ гордый формализмъ касается жизни, онъ стремится рабски подчинить страсти сердца, всю естественную

*) Arnould et Fournier.

сторону, всѣ личныя требованія—разуму, какъ бы чувствуя, что онъ не совладаетъ съ ними, пока онѣ на волѣ. Тоскуя безпрестанно о тождествѣ противоположностей, о примиреніи ихъ въ высшемъ единствѣ, объ ихъ сопричисносущности и взаимной необходимости, формалисты только *на словахъ* принимаютъ тождество и примиреніе, а на дѣлѣ хотятъ подавить всю естественную сторону, хотятъ отбросить ее, какъ калоши, служившія только, чтобъ пройдти по грязи. Кто-то прекрасно замѣтилъ, что природа для идеалистовъ, *развратившаяся идея* (so eine liederliche Idee). Все временное, частное, само собою приносится въ жертву идеѣ и всеобщему; это цѣль его; но хотятъ у него отнять и минутное владѣніе, единственное благо его; вмѣсто свободной жертвы, хотятъ вынудить насиліемъ рабское признаніе своей ничтожности; *не даютъ себѣ труда устремить сердце къ разумной цѣли*, а требуютъ, чтобъ оно отреклось отъ себя, потому что оно ближе къ природѣ. Такихъ требованій не признаетъ гордое сердце человѣка; оно сильно своими страстями и знаетъ свою силу: оно знаетъ, если пламя страстныхъ увлеченій подниметь голову, какъ безсильно, какъ несостоятельно обязательство жертвовать формальному долгу! Сердце знаетъ, что наслажденіе есть также право всего живущаго, ищетъ его и манитъ имъ; за что оно имъ пожертвуетъ—формализму до этого дѣла нѣтъ. Держась на ледяной высотѣ своихъ всеобщностей, онъ пренебрегаетъ сердцемъ, онъ его не хочетъ знать. Такъ принялся было онъ защищать бракъ, но никогда не могъ дойдти до христіанскаго ученія о бракѣ, именно по недостатку любви и сердца*). Онъ допускаетъ, что

*) Наприм., диссертація Рётшера о гётевомъ Wahlverwandtschaft.

основаніе браку любовь; это его естественная непосредственность; но послѣ вѣнчанія любовь не нужна,—вы перешли за границу естественныхъ влеченій, въ сферу нравственности, гдѣ ужь нѣтъ ни плача, ни воздыханія, ни какой страстности, а есть скука и тупое исполненіе долга, котораго смыслъ утратился и котораго внутренняя психея отлетѣла. Сознаніе, что я жертвую всею сердечной стороной бытія для нравственной идеи брака—вотъ награда. Словомъ, бракъ для брака. Самое высшее развитіе такого брака будетъ, когда мужъ и жена другъ друга терпѣть не могутъ и исполняютъ ex officio супружескія обязанности. Тутъ торжество брака для брака гораздо полнѣйшее, нежели въ случаѣ равнодушія. Люди равнодушные другъ къ другу могутъ по разсчету жить вмѣстѣ; они не мѣшаютъ другъ другу.

Религія *устремляется* въ другой міръ, въ которомъ также улетучиваются страсти земныя; этотъ другой міръ не чуждъ сердцу; напротивъ, въ немъ сердце находитъ покой и удовлетвореніе; сердце не отвергается имъ, а распускается въ него; во имя его религія могла требовать жертвованія естественными влеченіями; въ высшемъ мірѣ религіи личность признана, всеобщее нисходитъ къ лицу, лицо поднимается во всеобщее, не переставая быть лицомъ; религія имѣетъ собственно двѣ категоріи; всемірная личность божественная и единичная личность человѣческая. Формализмъ убиваетъ живыя личности въ пользу промежуточныхъ отвлеченныхъ всеобщностей. Религія не становится выше любви въ отношеніи брака; религія говоритъ: люби твою жену, потому что она Богомъ тебѣ данная подруга. Религія связываетъ лица связью неразрушимой; здѣсь бракъ есть таинство, совершающееся подъ благословеніемъ Божімъ. Формализмъ разсуждаетъ не такъ:

„Ты, какъ свободно разумная воля, вступилъ въ бракъ съ сознаніемъ его обязанностей въ нравственномъ и спеціальномъ смыслѣ—пади же жертвой этой обязанности, запутайся въ цѣпь, которую добровольно надѣлъ на себя; плати всѣми годами твоей жизни за прошедшій фактъ, быть можетъ основанный на минутномъ увлеченіи. Никакой взглядъ на міръ, ни развитіе, ни опытность ничего не помогутъ, потому что принесеніемъ тебя въ жертву идея брака укрѣпляется и поднимается. Тебѣ, какъ личности, выхода нѣтъ; да и гибни себѣ, ты, случайность. Необходимъ человѣкъ, а не ты". Формализмъ топчетъ ногами всю сторону естественной непосредственности; религія и тутъ его побѣждаетъ, ибо она, признавая семейную жизнь, считаетъ ее естественною непосредственностью въ свою очередь передъ жизнью въ высшемъ мірѣ. Да, религія снимаетъ семейную жизнь, какъ и частную, во имя высшей, и громко призываетъ къ ней: „кто любитъ отца своего и мать свою болѣе меня—тотъ недостоинъ меня". Эта высшая жизнь не состоитъ изъ одного отрицанія естественныхъ влеченій и сухаго исполненія долга: она имѣетъ свою положительную сферу во всеобшихъ интересахъ своихъ; поднимаясь въ нее, личныя страсти сами собою теряютъ важность и силу — и это единственный путь обузданія страстей — свободный и достойный человѣка. Сдѣлаемъ опытъ оглянуться на нашу драму съ этой точки зрѣнія.

Жизнь лицъ, печально прошедшихъ передъ нашими глазами, была жизнь односторонняго сердца, жизнь личныхъ преданностей, исключительной нѣжности. Небосклонъ ея тѣсенъ; намъ въ немъ неловко дышать, человѣкъ требуетъ больше; комнатный воздухъ для него нездоровъ. Мы чувствуемъ себя чужими жежду этими

людьми и личностями, другъ въ другѣ живущими, сосредоточенными на себѣ и довлѣющими другъ другу во имя своихъ личностей. При такомъ направленіи духа, начала кроткаго, тихаго семейнаго счастья лежали въ пихъ; они могли бы быть счастливы, даже нѣкоторое время были — и ихъ счастье было бы дѣломъ *случая*, такъ же, какъ и ихъ несчастіе. Міръ, въ которомъ они жили — міръ случайности. Частная жизнь, не знающая ничего за порогомъ своего дома, какъ бы она ни устроилась, бѣдна; она похожа на обработанный садъ, благоухающій цвѣтами, вычищенный и прибранный. Садъ этотъ можетъ долго утѣшать хозяевъ, особенно если заборъ его перестанетъ колоть ихъ глаза; но случись ураганъ—онъ вырветъ деревья съ корнями и затопитъ цвѣты, и садъ будетъ хуже всякаго дикаго мѣста. Такимъ хрупкимъ счастіемъ человѣкъ не можетъ быть счастливъ; ему надобенъ безконечный океанъ, который волнуется ураганами, но чрезъ нѣсколько мгновеній бываетъ гладокъ и свѣтелъ какъ прежде. Судьба всего исключительно личнаго, не выступающаго изъ себя, незавидна; отрицать личныя несчастія нелѣпо; вся индивидуальная сторона человѣка погружена въ темный лабиринтъ случайностей, пересѣкающихся, вплетающихся другъ въ друга; дикія физическія силы, непросвѣтленныя влеченія, встрѣчи,—имѣютъ голосъ, и изъ нихъ можетъ составиться согласный хоръ, но могутъ двигать и раздирающіе душу диссонансы. Въ эту темную кузницу судебъ свѣтъ никогда не проникаетъ; слѣпые работники бьютъ зря молотомъ налѣво и направо, не отвѣчая за слѣдствія. Чѣмъ болѣе человѣкъ сосредоточивается на частномъ, тѣмъ болѣе голыхъ сторонъ онъ представляетъ ударамъ случайности. Пенять нѣ на кого: личность человѣка не замкнута; она имѣетъ широкія

ворота для выхода. Вся вина людей, живущихъ въ однихъ сердечныхъ, семейныхъ и частныхъ интересахъ, въ томъ, что они не знаютъ этихъ воротъ, а остальное, въ чемъ ихъ винятъ, — обыкновенно дѣло случая.

Случайность имѣетъ въ себѣ нѣчто невыносимо противное для свободнаго духа; ему такъ оскорбительно признать неразумную власть ея, онъ такъ стремится подавить ее, что, не зная выхода, выдумываетъ лучше грозную судьбу и покоряется ей; хочетъ, чтобъ бѣдствія, его постигающія, были предопредѣлены, т. е. состояли бы въ связи съ всемірнымъ порядкомъ; онъ хочетъ принимать несчастія за преслѣдованія, за наказанія: тогда ему есть утѣха въ повиновеніи или въ ропотѣ; одна случайность для него невыносима, тягостна, обидна; гордость его не можетъ вынести безразличной власти случая. Эта ненависть и стремленіе выйдти изъ подъ ярма указываютъ довольно ясно не необходимость другой области, *инаго міра*, въ которомъ врагъ попранъ, духъ свободенъ и дома. Еслибъ человѣкъ не имѣлъ никакого выхода, въ немъ не было бы и потребности выйдти изъ міра случайности, какъ у животнаго, напримѣръ. Поднимаясь, развиваясь въ сферу разумную и вѣчную всеобщаго, мы стяжаемъ возможность и крѣпость переносить удары случайности: они бьютъ тогда въ одну долю бытія, они не такъ обидны. Надобно было большое совершеннолѣтіе, большое развитіе своей индивидуальности въ родовое, чтобъ съ яснымъ челомъ сказать: „*есть* міръ; въ немъ мы развиваемся; какая судьба насъ постигнетъ, все равно (да и судьбы вовсе нѣтъ); дѣло въ томъ, чтобъ мы *пришли въ себя*, остальное безразлично“. Хвала великой Еврейкѣ, сказавшей это!*)

*) Рахель — Briefwechsel.

Не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство — всеобщему, но раскрыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности, работать столько же для рода, сколько для себя, словомъ, развить эгоистическое сердце во всѣхъ скорбящее, обобщить его разумомъ, и въ свою очередь оживить имъ разумъ... Человѣкъ безъ сердца какая-то безстрастная машина мышленія, не имѣющая ни семьи, ни друга, ни родины; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую основу духовнаго развитія; изъ него пробѣгаетъ по жиламъ струя огня всесогрѣвающаго и живительнаго; имъ живое сотрясается въ наслажденіи, радо себѣ. Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преображается, теряя свою дикую, судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ расширенія интересовъ, уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Въ самомъ колебаніи между двумя мірами — личности и всеобщаго, есть непреодолимая прелесть; человѣкъ чувствуетъ себя живою, сознательною связью этихъ міровъ, и теряясь, такъ сказать, въ свѣтломъ эѳирѣ одного, онъ хранитъ себя и слезами и восторгами и всею страстностью другаго. Человѣческая жизнь — трудная статистическая задача; безчисленныя противоположности, множество борющихся элементовъ ринуты въ одну точку и сняты ею. Природа, развиваясь, безпрестанно усложняется; проще всего камень, за то и жизнь его состоитъ въ одномъ мертвомъ, косномъ покоѣ. Человѣкъ не можетъ отказаться безнаказанно отъ участія во всѣхъ обителяхъ, въ которыя онъ призванъ своимъ временемъ. Человѣкъ развившійся равно не можетъ ни исключи-

тельно жить семейною жизнію, ни отказаться отъ нея въ пользу всеобщихъ интересовъ. Было время для каждаго народа, когда семейная жизнь удовлетворяла всѣмъ требованіямъ; для насъ европейцевъ это время миновало; мы живемъ шире, богаче. Въ патріархальный вѣкъ, дѣтская простота, односложность отношеній, физическій трудъ и психическая неразвитость отстраняла всякую возможность скорбныхъ катастрофъ, поражающихъ нѣжныя одухотворенныя существованія развитыхъ странъ. Удары случайности были тѣ же; грудь, на которую они падаютъ, измѣнилась.

Лица нашей драмы отравили другъ другу жизнь, потому что они слишкомъ близко подошли другъ къ другу, и, занятыя единственно и исключительно своими личностями, они собственными руками разрыли пропасть, въ которую низверглись; страстность ихъ, не имѣя другаго выхода, сожгла ихъ самихъ. Человѣкъ, строющій домъ свой на одномъ сердцѣ, строитъ его на огнедышащей горѣ. Люди, основывающіе все благо своей жизни на семейной жизни, ставятъ домъ на пескѣ. Быть можетъ, онъ простоитъ до ихъ смерти, но обезпеченія нѣтъ, и домъ этотъ, какъ домы на дачахъ, прекрасны только во время хорошей погоды. Какое семейное счастіе не раздробится смертію одного изъ лицъ? Мнѣ отвѣтятъ: а утѣшеніе религіи? Но религія есть по преимуществу выходъ въ иной міръ. А тамъ, гдѣ религіозная и гуманическая сторона бытія слаба, гдѣ она подчинена чувствамъ, подчинена частному и личному, тамъ ждите бѣдъ и горестей... Въ этомъ положеніи наши герои. Они сводятъ насъ въ преисподнюю, въ міръ сердца, разорваннаго съ разумомъ, въ подземный міръ обезумѣвшихъ естественныхъ влеченій, готовыхъ пожрать все вокругъ себя. Это страшная изнанка

жизни человѣческой; тутъ опредѣляются личныя гибели, дробятся однимъ ударомъ песчинками собранныя достоянія; тутъ раздаются глухіе стоны отчаянія, яростные крики боли; тутъ индивидуальное доведено до послѣдней крайности, до нелѣпости, и царитъ объ руку съ безумнымъ самоотверженіемъ и съ наглымъ эгоизмомъ. Тутъ люди сражаются съ призраками порожденными ихъ болѣзненной фантазіей, рвутъ въ клочья свою грудь и грудь ближняго, бѣснуются, ненавидятъ, ревнуютъ, лишаютъ себя жизни, влюбляются — все это ни разу не давши себѣ отчета въ томъ, чего хотятъ...

Не засмѣяться ль имъ, пока
Не обагрилась ихъ рука?

Если человѣкъ, попавшись во власть адскимъ силамъ, найдетъ твердость пріостановиться, подумать—онъ, безъ сомнѣнія, засмѣется и, еще вѣрнѣе, покраснѣетъ. Главное сумасшествіе состоитъ въ какой-то чудовищной важности, которую приписываютъ событіямъ, именно потому, что они не знаютъ что въ самомъ дѣлѣ важно. Не факты отдѣльные — смертные грѣхи, а грѣхи противъ духа и въ духѣ. Возьмемъ, напримѣръ, драму Бомаршѐ „La mère coupable“. Человѣкъ, годы цѣлые съ злою ревностью отъискивавшій улики противъ своей жены, наконецъ находитъ ихъ. Теперь-то онъ отомститъ, теперь-то онъ бросится со всею жестокостью невинности, со всею свирѣпостью судіи на преступную, которая двадцать лѣтъ, не осушая слезъ, оплакиваетъ свое паденіе. Онъ точно пользуется первымъ случаемъ, чтобъ положить на благородное чело ея печать позора; при этомъ онъ ждетъ увертокъ, ждетъ горькихъ словъ — и встрѣчаетъ кроткое сознаніе вины, и его жесткая душа мягчится, онъ *протрезвляется*, изъ мужа-мстителя дѣлается мужемъ-человѣкомъ. Сердце, полное жолчи и

злобы, раскрывается снова любви. А между тѣмъ доказательства найдены, и то, что въ подозрѣніи онъ не могъ вынести, онъ забываетъ при достовѣрности. Почти всѣ злодѣйства въ мірѣ происходятъ отъ нетрезваго пониманія. Бентамъ говоритъ, что всякій преступникъ дурной счетчикъ. Если обобщить эту мысль и взять ее не въ тѣхъ матеріальныхъ границахъ, въ которыхъ она высказана имъ, то это будетъ одна изъ величайшихъ истинъ. Но возвратимся къ нашей драмѣ. Закулисная вина несчастія этихъ людей, тѣснота и неестественная для человѣка жизнь праздности; преступное отчужденіе отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человѣческому внѣ ихъ тѣснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе. Другихъ винъ не ищите, вотъ больное мѣсто! Еслибъ въ нихъ было развито *живое* религіозное чувство, еслибъ *человѣчность* ихъ не ограничилась первой ступенью, т. е. семейной жизнью,—катастрофы этой, конечно, не было бы. Еслибъ Эмиль, сверхъ своихъ личныхъ привязанностей, имѣлъ симпатію къ современности, любовь къ родинѣ, къ искусству, къ наукѣ, остался ли бы онъ сложа руки, въ ничтожной праздности, разжигая бездѣйствіемъ страсти, истощая силы души на противодѣйствіе несчастной любви. Можетъ быть, эта любовь и посѣтила бы его сердце, какъ мимолетная гостья, но она не стащила бы его въ преисподнюю, не нарушила бы мира съ женой, потому что онъ былъ бы сильнѣе всего той стороной бытія, которой онъ не развилъ. Еще разъ, ихъ жизнь была бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула. Словомъ, *любовь* оправдываетъ все. Но нынче, когда нѣтъ авторитета, подъ который духъ критики не дѣлалъ бы опыта подкопаться, можно и самую злато-

власую Афродиту потребовать къ трибуналу, если судья только не боится ея красоты. Я съ своей стороны готовъ быть лучше Антоніемъ, нежели Октавіаномъ, и навѣрное не велю покрыться Клеопартѣ, лишь бы встрѣтиться съ нею; однакожь, осмѣливаюсь звать на правежъ ее, изъ пѣны морской рожденную!

Существовать — величайшее благо; любовь раздвигаетъ предѣлы индивидуальнаго существованія и приводитъ въ сознаніе все блаженство бытія; любовью жизнь восхищается собою; любовь — апоѳеоза жизни. Лукрецій всю природу называетъ торжественнымъ праздненствомъ любви, брачнымъ пиромъ, для котораго цвѣты развертываютъ свои прекрасные вѣнчики, наполняютъ благоуханіемъ воздухъ, птицы покрываются красивыми, перьями, и проч. Любовь человѣческая — еще болѣе апоѳеоза самой любви, такъ какъ вообще человѣческое есть апоѳеоза естественнаго. Природа оканчивается взоромъ юноши и дѣвы, любящихъ другъ друга. Этимъ взоромъ она страстно понимаетъ всю безконечную красоту свою, имъ она *оцѣнила себя;* далѣе она идти не можетъ — далѣе другое царство; она совершила свое, подняла форму до соотвѣтствія духу, раздвоилась, и, взглянувъ высшими представителями своего дуализма, она поняла выразительность своей красоты; личности, въ нѣмомъ восторгѣ другъ отъ друга, въ торжественномъ упоеніи взаимнаго созерцанія отрѣшились отъ себя. Они сняли противоположность свою любовью и между тѣмъ не совпадаютъ для того, чтобъ наслаждаться другъ другомъ, для того, чтобъ жить другъ въ другѣ. И съ этимъ мгновеніемъ восторга и поклоненія бытію соединена великая тайна возникновенія, обновленія юнымъ отжившаго. Любовь — пышный, изящный цвѣтокъ, вѣнчающій и оканчивающій индивидуальную

жизнь; но онъ, какъ всѣ цвѣты, долженъ быть раскрытъ одною стороной, лучшей стороной своей къ небу — всеобщаго. Цвѣтокъ питается изъ земли и изъ солнца; отъ этого, въ немъ земное такъ чудно хорошо. Любовь — одинъ моментъ, а не вся жизнь человѣка; любовь вѣнчаетъ личную жизнь въ ея индивидуальномъ значеніи; но за исключительною личностью есть великія области, также принадлежащія человѣку, или, лучше, которымъ принадлежитъ человѣкъ и въ которыхъ его личность, не переставая быть личностью, теряетъ свою исключительность. Монополію любви надобно подорвать вмѣстѣ съ прочими монополіями. Мы отдали ей принадлежащее, теперь скажемъ прямо: человѣкъ не для того только существуетъ, чтобъ *любиться;* неужели *вся* цѣль мужчины — обладаніе такою-то женщиной, *вся* цѣль женщины — обладаніе такимъ-то мужчиною? — Никогда! Какъ неестественна такая жизнь, всего лучше доказываютъ герои почти всѣхъ романовъ. Что за жалкое, потерянное существованіе какого нибудь Вертера, — чтобъ указать на знаменитость; — сколько сумасшедшаго и эгоистическаго въ немъ, при всей блестящей сторонѣ, которую всегда придаетъ человѣку сильная страсть. Не должно ошибаться: это блескъ очей лихорадочнаго; онъ имѣетъ въ себѣ магнетическое, притягивающее, а между тѣмъ онъ выражаетъ не огонь жизни, а пламя, разрушающее ее. При всѣхъ поэтическихъ выходкахъ Вертера, вы видите, что эта нѣжная, добрая душа не можетъ выступать изъ себя; что, кромѣ маленькаго міра его сердечныхъ отношеній, ничто не входитъ въ его лиризмъ; у него ничего нѣтъ ни внутри, ни внѣ, кромѣ любви къ Шарлоттѣ, не смотря на то, что онъ почитываетъ Гомера и Оссіана. Жаль его! Я горькими слезами плакалъ надъ его послѣдними письмами, надъ

подробностямя его кончины. Жаль его,—а вѣдь пустой малый былъ Вертеръ! Сравните его, или Эдуарда, и всѣхъ этихъ страдателей съ широко-развернутыми людьми, у которыхъ субъективному Кесарю отдана богатая доля, но и доля обще-человѣческая не забыта; сравните ихъ съ Карломъ Мооромъ, съ Максомъ Пикколомини, съ Теллемъ, наконецъ, съ этимъ добрымъ патріархальнымъ отцемъ семейства, съ этимъ энергическимъ освободителемъ своего отечества. И, чтобъ не обидѣть Гёте, сравните съ архитекторомъ въ „Wahlverwandtschaft“ и вы ясно увидите, что я хочу сказать. Любовь вошла великимъ элементомъ въ ихъ жизнь, но не поглотила, не всосала въ себя другихъ элементовъ. Они любовью не отрѣзались отъ всеобщихъ интересовъ гражданственности, искусства, науки; напротивъ, они внесли все одушевленіе ея, весь пламень ея въ эти области, и наоборотъ, ширину и грандіозность этихъ міровъ внесли въ любовь. Оттого любовь ихъ, счастлива или нѣтъ, но не выраждается въ помѣшательство. Помнится, Тиссо, въ извѣстной книгѣ своей о нѣкотораго рода самоудовлетвореніи, сказалъ: „Природа жестоко мститъ оскорбляющимъ ея законы; эта месть лежитъ въ самомъ отступленіи отъ бытія, въ которое долженъ развиться организмъ, и есть физическое послѣдствіе его.“ Великая истина! Человѣкъ долженъ развиться въ міръ всеобщаго; оставаясь въ маленькомъ, частномъ мірѣ, онъ надѣваетъ китайскіе башмаки: чему дивиться, что ступать больно, что трудно держаться на ногахъ, что органы уродуются? чему дивиться, что жизнь, несообразная цѣли, ведетъ къ страданіямъ? Самыя эти страданія—громкій голосъ, напоминающій, что человѣкъ сбился съ дороги.

Но я предвижу возраженіе: этотъ міръ всеобщихъ

интересовъ, эта жизнь общественная, художественная, сціентифическая, — все это для мужчины; а у бѣдной женщины ничего нѣтъ, кромѣ ея семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцемъ; ея міръ ограниченъ спальней и кухней... Странное дѣло! девятнадцать столѣтій христіанства не могли научить людей понимать въ женщинѣ человѣка. Кажется, гораздо мудренѣе понять, что земля вертится около солнца, однако поспорили, да и согласились; а что женщина человѣкъ, въ голову не помѣщается! Однакожь участіе женщины въ высшемъ мірѣ было признано религіею. „Марѳа, Марѳа, ты печешься о многомъ, а *одно* потребно. Марія избрала *благую часть*“. На женщинѣ лежатъ великія семейныя обязанности относительно мужа — тѣ же самыя, которыя мужъ имѣетъ къ ней, а званіе матери поднимаетъ ее надъ мужемъ, и тутъ-то женщина во всемъ ея торжествѣ: женщина больше мать, нежели жужчина отецъ; дѣло начальнаго воспитанія есть дѣло общественное, дѣло величайшей важности, а оно принадлежитъ матери. Можетъ ли это воспитаніе быть полезно, если жизнь женщины ограничить спальней и кухней? Почему Римляне такъ уважали Корнелію, мать Гракховъ?.. Во вторыхъ, ея семейное призваніе ни коимъ образомъ не мѣшаетъ ея общественному призванію. Міръ религіи, искусства, всеобщаго — точно такъ же раскрытъ женщинѣ, какъ намъ, съ тою разницей, что она во все вноситъ свою грацію, непреодолимую прелесть кротости и любви. Вся исторія Италіи не совершилась ли подъ безпрерывнымъ вліяніемъ женщинъ? Не доказали ль онѣ мощь геніальности своей и на престолѣ, какъ Екатерина II, и на плахѣ, какъ Роланъ? Нужны ли доказательства людямъ, которые своими глазами видѣли Сталь, Рахель, Беттину и теперь еще ви-

дятъ исполинскій талантъ геніальной женщины?.. Но въ сторону эти исключительныя явленія: обращаю вниманіе на фактъ, извѣстный всѣмъ, находящійся у каждаго передъ глазами. Откуда дѣвицы имѣютъ необыкновенный тактъ поведенія, умѣнье себя держать, вѣрный смыслъ въ дѣлахъ жизни? Воспитаніе ихъ ограничено гаремнымъ заключеніемъ, и между тѣмъ ихъ быстро понимающей натурѣ достаточно нѣсколько шаговъ по полю жизни, чтобъ выразумѣть ее, чтобъ пріобрѣсти esprit de conduite, до котораго мужчина вырабатывается пол-жизни самымъ скорбнымъ путемъ паденій, разврата, разореній, обидъ, униженій и богъ-знаетъ чего. Этотъ фактъ, совершенно всеобщій, доказываетъ ли подчиненность женщины мужчинамъ въ отношеніи ума, или напротивъ? Какое же мы имѣемъ право отчуждать ихъ отъ міра всеобщихъ интересовъ; я скажу какъ Розина, когда ей Бартоло доказывалъ, что мужъ можетъ распечатывать письма жены: „Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne?„ („Севильскій Цирюльникъ“). Въ дикія времена феодализма (которыя представляются такими поэтическими, чистыми у нашихъ романтиковъ), рыцари имѣли обыкновеніе въ своихъ помѣстьяхъ выбирать маленькихъ дѣвочекъ, обѣщавшихъ красоту, и запирать въ особое отдѣленіе, гдѣ за ихъ *нравственностью* былъ строгій надзоръ; изъ этихъ разсадниковъ брали они себѣ, по мѣрѣ надобности, любовницъ. Такъ разсказываетъ очевидецъ Брантомъ. Нынче такого грубаго и отвратительнаго уничиженія женщины нѣтъ. А не правда ли, что-то родственное этимъ хозяйственнымъ запасамъ осталось въ воспитаніи дѣвицъ исключительно въ невѣсты? Мысль, что она сама въ себѣ никакой цѣли не имѣетъ, кромѣ замужства, право, не нравственна и не пристойна.

Я почти все сказалъ, что хотѣлъ сказать по поводу одной драмы: слѣдовало бы остановиться; но характеръ Grübeleien именно таковъ, что они до тѣхъ поръ тянутся, пока внѣшняя причина натолкнетъ на что нибудь другое, или напомнитъ, что пора кончить. Теперь, когда слѣдовало положить перо, мнѣ пришло въ голову еще кое-что о любви.

Любовь почти всегда поэтами поется сквозь слезы, покрытая какою-то траурною мантіею, замѣнившею алое покрывало. Вмѣсто радостной улыбки, у нихъ скрежетъ зубовъ; вмѣсто юнаго румянца—блѣдныя щеки. Откуда взялся въ любви, въ этомъ торжественномъ, радостномъ чувствѣ, мучительно грустный, раздирающій душу характеръ? Это наслѣдіе мечтательности среднихъ вѣковъ и германизма; для романтизма нѣтъ счастія выше несчастія, нѣтъ радости выше скорби и грусти; все человѣческое получило тогда судорожно болѣзненное направленіе: такъ простыя южныя болѣзни получаютъ на сѣверѣ чрезвычайно сложное нервичное, жолчевое свойство. То было время убіенія всего естественнаго и развитія всего противоестественнаго, время вѣчнаго противорѣчія словъ и дѣла; оно — мрачное, сосредоточенное, вѣчно обращенное на себя, занимающееся собою, раздуло въ струи адскаго огня кроткій пламень любви. Міръ дѣйствительный былъ въ пренебреженіи: жили въ мечтахъ, отреклись отъ естественныхъ влеченій и воцарили вмѣсто ихъ новыя, порожденныя отъ беззаконной смѣси крови и духа:—таково понятіе чести, доведенное до безумнаго себя обоготворенія; такова платоническая любовь—натянутое одухотвореніе истинной любви. Словомъ, романическое воззрѣніе представляетъ, какъ телескопъ, весь міръ вверхъ ногами; внутренное у него поставлено вдали, духовное исполнено чувственности, чувственность одухотворена. Съ такимъ настроеніемъ души, при вѣчномъ разрывѣ съ истинною жизнію, страсти получили тѣмъ ужаснѣйшее развитіе, что

онѣ были неестественны. Нельзя отрицать сильную увлекательность романтизма; туманность его, бѣгущая ясности и разума, стремленіе, не знающее предѣла и цѣли, искусственная чистота, восторженная нѣжность, рѣчь, которая, какъ музыка, больше намекаетъ, нежели высказываетъ,—все вмѣстѣ захватываетъ душу особенно юную, дѣвственную. Романтизму шла такъ же хорошо платоническая, несчастная любовь, какъ романтизмъ шелъ среднимъ вѣкамъ. Но время его миновало, поэты-романтики знать этого не хотятъ. А между тѣмъ, представьте вы себѣ вмѣсто изящнаго образа рыцаря Тогенбурга закованнаго въ желѣзо, съ крестомъ на груди — представьте г. Тогенбурга въ пальто и резинковыхъ калошахъ, проводящаго жизнь гдѣ нибудь въ Парижѣ, Лондонѣ, Брюсселѣ на улицѣ, дожидаясь „какъ стукнетъ окно,“ — и вамъ сдѣлается ужасно смѣшно...

Мечтательность, романтизмъ, платоническая любовь, — все это въ наше время очень хорошо при переходѣ изъ отрочества въ юношество. Душа моется, расправляетъ крылья въ этомъ фантастическомъ морѣ, въ этомъ упоительномъ полумракѣ. Но остаться на вѣкъ мечтательно вздыхающимъ, страдающимъ безнадежно *по ней*, стремящимся и возносящимся — не видя, что подъ ногами дѣлается, что надъ головою гремитъ!... Какъ люди вѣчно занятые суетою ежедневности, безсознательно влекомые общимъ движеніемъ, совершенно внѣшніе и ограниченные вышли, съ одной стороны, изъ жизни истинно человѣческой, такъ мечтатели, исполненные неопредѣленной тоски, сердечныхъ страданій, боящіеся грубыхъ прикосновеній дѣйствительности, въ другую сторону вышли изъ жизни. Первые возвратились въ состояніе животныхъ или не дошли еще до человѣческаго; они довольны своею жизнію на скотномъ дворѣ. Вторые вышли изъ человѣческой жизни въ какую-то степь, по которой сколько ни пройдешь, столько же остается. Тѣ не могутъ прійдти въ себя, эти выйдти

изъ себя не могутъ. Жизнь не для нихъ; это два берега ея: она величественно течетъ между ними. На мечтателей часто клеплятъ глубину души, неизвѣстную намъ, профанамъ: тамъ „покоится не одна прекрасная жемчужина,“ да они ее выковырять не могутъ, и словъ нѣтъ высказать и звуковъ нѣтъ спѣть... Знаете ли, что мнѣ подъ часъ приходитъ въ голову? глубина эта похожа на то, что еслибъ выкопать колодезь до центра земли и все продолжать копать, каждый шагъ глубже былъ бы шагомъ ближе къ поверхности. Центръ тяжести — граница глубины; еще разъ, жизнь — статистическая задача — ни troppo, ни troppo poco. Troppo poco — человѣкъ въ толпѣ съ низкими желаніями безгласенъ; troppo — человѣкъ внѣ дѣйствительности въ сферѣ праздной и безполезной... Возвращаюсь къ любви. Мучительная любовь не есть истинная, а... „Знаешь ли ты,“ сказалъ мнѣ одинъ ученый другъ, которому я читалъ эту тетрадь, „знаешь ли ты условіе, чтобъ не дурную, да и не хорошую статью прочли?“ Я навострилъ уши. „Надобно,“ продолжалъ онъ съ важностью ученаго и съ участіемъ друга, точно въ статистической задачѣ жизни человѣческой: „чтобъ было сказано ни troppo, ни troppo poco. Въ послѣднемъ ты предостерегся, я первой отдаю полную справедливость; подумай о второмъ; вспомни историческую воздержность Сципіона.“

Подумавъ и вспомнивъ историческую воздержность Сципіона, я остановился; тѣмъ болѣе не осмѣлюсь заставить благосклоннаго читателя (если Богъ пошлетъ его) читать продолженія безсвязныхъ Grübeleien.

10 октября, 1842.

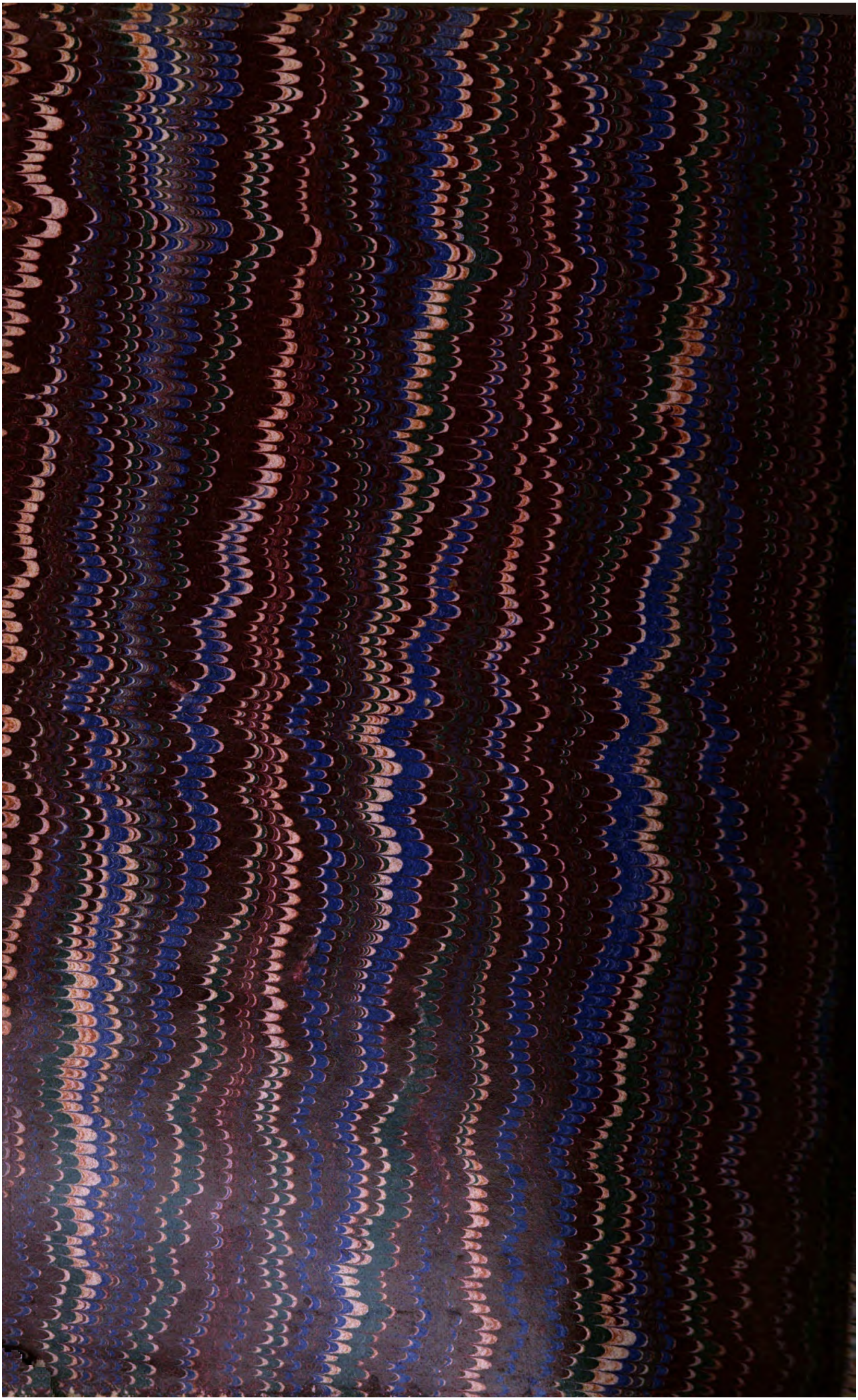
ОГЛАВЛЕНІЕ

стр.

РАННІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ (1834—1840)

Знаменитые современники: Гоффманнъ. 3
Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библіотеки 27

ЖУРНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ (1840—1845)

Письма объ изученіи природы. 33
Разсказы о временахъ меровингскихъ *(Предисловіе)*. . . . 301
По поводу одной драмы 308

971031
T-185